



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

3(31)'2019

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Александр Карпенко (Москва), Андрей Костинский (Харьков),
Татьяна Лингута (Одесса), Марина Матвеева (Симферополь),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2019

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Юлия Петрусевичюте. Тёмная музыка воздуха. Стихотворения	4
Одесса – Санкт-Петербург: Ирина Дежева. Увеличиваю Землю. Стихотворения	9
Одесса: Юлия Мельник. Там пространство, как женщина. Стихотворения	14
Одесса – Санкт-Петербург: Ксения Александрова. Нельзя принцессу спасти от зверя. Стихотворения ...	18

ПРОЗА

Одесса: Ольга Ильницкая. Кафка отдыхает. Рассказ	21
Евпатория: Николай Столицын. Хроники Харона. Кино-проза	27
Одесса: Анастасия Зиневич. Маленькое солнце. Сказки	37
Одесса: Галина Соколова. Лабиринт. Рассказ	41
Москва: Левон Осепян. Велосипедист. Рассказ	47

ПОЭЗИЯ

Москва: Станислав Айдинян. Необъятный бушующий дом. Стихотворения	53
Ростов-на-Дону: Ольга Андреева. В доисторическом двухтысячном году. Стихотворения	58
Ташкент: Вячеслав Карижинский. Ночные поезда оркестром ритмий. Стихотворения	63
Измаил – Дюссельдорф: Наталия Хмельёва. Между криком и зовом. Стихотворения	68

ДРАМАТУРГИЯ

Одесса: Александр Хинт. Что случилось в хронотопе? Пьеса	72
---	----

ПОЭЗИЯ

Москва: Елена Кацюба. Звезда. Поэма	76
Москва: Юрий Ряшенцев. В сотне метров друг от друга. Стихотворения	79
Москва: Виктор Хатеновский. Восторженный скрежет бессонниц. Стихотворения	84

ПРОЗА

Москва: Николай Железняк. Русская мама. Рассказы	89
Баку – Новый Уренгой: Эльдар Ахадов. Воспоминания о Латинской Америке. Куба	98

ПОЭЗИЯ

Санкт-Петербург: Елена Тихомирова. Параллельно о ста вещах. Стихотворения	105
Москва: Арина Грачёва. Липы ненаглядные мои. Стихотворения	110
Москва: Надежда Бесфамильная. Под толстым слоем снега. Стихотворения	114
Москва: Татьяна Аксёнова. Листовками в календаре. Стихотворения	119

ПЕРЕВОДЫ

Пауль Вашкау. Стихотворения. В переводах с английского Алёны Шербаковой	124
--	-----

ПРОЗА

Одесса: Сергей Осташко. Как стать Терминатором. Рассказы	126
---	-----

«ОКОЕМ»

Павел Сушко: Молодёжное творческое объединение «Студия «Автор» . <i>Вступительная статья</i> 142
Дмитров: Павел Сушко. Стихотворения 143
Тирасполь: Алексей Захарчук. Стихотворения 145
Дмитров: Владимир Никулин. Стихотворения 146
Тирасполь: Виктор Грабко. Стихотворения 148
Дмитров: Виктория Чернова. Стихотворения 150
Тирасполь: Елизавета Ковач. Стихотворения 152

«ЛИТМУЗЕЙ»

Дмитрий Святополк-Мирский. А.С. Пушкин (из биографии) . <i>Одесса. К 220-летию со дня рождения</i> 156
Москва: Елена Погорельская. Парижские встречи Исаака Бабеля . <i>К 125-летию со дня рождения</i> 169

«СЕТЧАТКА»

Судак: Алексей Тимиргазин. «Узорник ветровых событий» . Поэты Велимир Хлебников и Григорий Петников 174
Москва: Иосиф Рухович. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: прочтение иронии 183

«ФОНОГРАФ»

Москва: Юрий Мамлеев. На границе сна и мироздания . <i>Стихотворения</i> 192
Киев: Татьяна Аинова. И время теряет свой вектор . <i>Стихотворения</i> 196

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Переведи меня на свет» . <i>Рецензия на книгу Евгении Ажен Барановой «Хвойная музыка»</i> 205
Дар благодарности. Единственная – о единственной . <i>Рецензия на книгу Веры Зубаревой «Тайнопись»</i> 208
«Эта мера – по мне» . Эстетизм и дерзновение Татьяны Аксёновой . <i>Рецензия на книгу «Преломление света»</i> 209
Vita Nuova поэта Анны Маркиной . <i>Рецензия на книгу «Сиррекот, или Зефировая гора»</i> 212
Рифмы неистой Риммы . <i>Рецензия на книгу Таисии Вечериной и Лолы Звонарёвой «Труды и дни Риммы Казаковой: «Отечество, работа и любовь...»</i> 214
«Я на земле стою двумя ногами...» . <i>Рецензия на книгу Ольги Харламовой «Утренняя кофе»</i> 216
«Спешу в себя корнями прорасти» . <i>Рецензия на книгу Татьяны Кайсаровой «Созвучье снов»</i> 218
«Память – моя лагуна» . Пушкинская лира Александра Мельника . <i>Рецензия на книгу «Поэтамус»</i> 220

«ШКАФ»

Севастополь: Валерий Гаевский, Юлианна Орлова. Добро с хорошей памятью против райской невинности . <i>Рецензия на книгу Марины Матвеевой «Асуров рай»</i> 224
Санкт-Петербург: Арсен Мирзаев. Одухотворение жизнью . <i>Отклик на книгу Эльдара Ахадова «Облако воспоминаний»</i> 228

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

ТЁМНАЯ МУЗЫКА ВОЗДУХА

Далеко-далеко, на молочной и сладкой реке,
Долька белого яблока тонет в парном молоке.
Серебристым ковшом зачерпни из реки тишины –
И увидишь во сне отражение белой луны.
Говорят, по луне бродит ветер нездешних дорог,
Из ладони в ладонь сыплет лунный холодный песок.
То ли снег, то ли соль, то ли пепел сгоревшей звезды
До земли долетает и тает, касаясь воды.
Дома не было, дома не будет во все времена.
У молочной реки ни истока, ни устья, ни дна.
В мире нет ничего, что бы мы называли своим.
Только ветер сожжённой дороги, и пепел, и дым.

Нам начинают сниться пустые гнёзда.
Обрывками сна под утро играет ветер.
Мы знаем только одно на этой планете –
Затерянный где-то в будущем белый остров.

Мы улетаем утром, прощайте, вишни.
Небо грохочет синими поездами.
Нам выходить на станции Березани,
А дальше – своим ходом, все выше и выше.

Выше цветущих вишен, за облаками,
В яблочный тёплый край, к селениям звёздным,
Через реку и дальше, в открытый космос,
Дальше, – туда, где реки сплелись берегами.

Все это будет в следующей жизни –
Холодный вечер за окном, и море,
В котором растворились маяки,
Черновики стихов, и восемь тысяч книг –



Гудящий улей, дом живых историй,
А между ними – чьи-то дневники,
И перелётных птиц простые письма,
В две быстрые летучие строки

О том, что пели солнечные стрелы,
Что в мокром ветре – запахи земли,
Что корабли ушли по Млечному пути
За все пределы. Вишни зацвели,
И небо белым светом закипело,
И выплеснулось вишней из груди.

В белом лесу тишина утонула во сне.
В лунной воде по колено стоят облака.
Мне бы, наверно, хватило глотка молока,
Если бы лодка уже не лежала на дне.

Яблоня, яблоня, спрячь меня в белом лесу.
Съешь моё дикое яблоко и засыпай.
Видишь – в реке молоко потекло через край.
Время закинуло сети и ждёт на мосту.

Время закинуло сети и ловит луну,
И голоса над водой еле-еле слышны.
Мне бы, наверно, хватило кусочка луны,
Если бы лодка уже не плыла в глубину.

Ты помнишь, как снег под ногами горел, не стгорая,
Как ветер в дыму задышался и путал дороги?
Расколотый мир покидали крылатые боги,
И стаи текли во всё небо, от края до края.

Ты помнишь, как чёрная память земли остывала,
Земля забывала, зачем в неё падают зёрна,
И царства сметало с ладоней порывами шторма,
И время сломалось – настала усталость металла.

Рассыпался весь механизм, проржавел и распался
На сотни осколков без крови и памяти рода.
И первой ушла, как вода из колодца, свобода,
И боги бежали за ней, и никто не остался.

Только тот, кто узнает своё отражение, выйдет живым.
Кто не помнит себя – в лабиринте зеркал растворится,
Как в осенних ветрах без следа растворяется птица,
Или в зимних ветрах без следа растворяется дым.



Глубина поглощает и краску, и свет без следа,
И рогатая тень поднимается, тени темнее.
Я как соль – растворяюсь в воде, а потом каменею.
Дай мне руку, Тезей. Лабиринт – это просто вода.

Тёмная музыка воздуха. Дождь где-то бродит,
Перебирает задумчиво клавиши листьев,
С каждой ступенькой уходит всё выше и выше.
Медленный звук – человек его вряд ли услышит –
Из тишины создаёт лабиринты мелодий,
Полные древних чудовищ и яростной мысли, –

Мысли, насквозь пробивающей каменный космос
Нитью, протянутой к выходу, к чистому вдоху,
К белым слезам, открывающим двери свободы.
Дождь до утра. В сильных пальцах живые аккорды.
Музыка ищет дорогу в незримую область,
Царство в песчинке, в последней минуте – эпоху.

Белые руки дороги дождём умывала,
Свадебной солью посыпала красную глину,
Горстью разорванных бус рассыпала калину
Красным узором по праздничному покрывалу.

Гости неделю летели из дальних пределов,
Из-за реки, из-за моря, из тёплого края.
Все перелётные стаи на свадьбу позвали,
Всех пригласили, а мы раньше всех прилетели.

Бога дороги венчали с весной-журавлихой,
Сыпали соль на дорогу, на крылья, на воду.
Нам подарили такую слепую свободу,
Что даже девочка Смерть удивлённо притихла.

Что для тебя попросить у бога дороги?
Мы это небо пьём, как синюю воду,
Мы этим ветром сыты, как тёплым хлебом.
Что я ещё могу попросить у бога?
Мы на лету целуемся в губы с летом,
Мы обнимаем, как землю, свою свободу.



Что попросить у камня, дерева, птицы? –
Мягкого ветра тебе, лёгкого неба,
Острой, как нож, тебе богатой дороги.
Знаешь, здесь ходят босыми ногами боги,
Всюду их руки, их голоса и лица.
Нам будет снится небо, полное хлеба.
Я попрошу нам небо, полное хлеба.

Я ножом начерчу алфавит на песчаной странице.
Начинайте учить меня, чайки, изменчивой речи.
Я хочу вечерами трещать, как сверчок и кузнечик,
Я хочу отвечать полуночному ветру, как птица.

Под ножом на песке расплываются красные пятна.
Время ранено памятью. Время пробито словами.
Я умею читать по слогам звёзды, ветер и пламя,
И в ответ отзывается кровь горячо и невнятно.

Небо насквозь промыто, в нём светятся дыры.
Яблочный ветер гуляет всю ночь по саду.
Яблочный ветер целуется сладко в губы.

Хочешь, выйдем и спросим, кого он любит?
Что он прячет здесь, в самом сердце мира,
На перекрёстке Нибиру после заката?

В доме тепло и тихо, уснули мыши.
Чуть шагнешь за порог – унесет дорога.
Яблочный свет молоком заливает веки.

Пьют из молочной реки обычные реки.
Слышишь, о чём по ночам печалются вишни?
Сердце, как вишню, губами берёт тревога.

Белым снегом неделю мело, заболело любовью,
Одинокое небо слепую метель полюбило.
Липким соком калины поило, крылом голубиным
Обнимало и грело холодные щёки зимовью.

Приходили замёрзшие звери, просили ночлега.
Небо прятало их в снеговую свою рукавицу.
Над полями летела метель – перелётная птица,
На прозрачных губах поцелуи мешая со снегом.



Стеклянные часы на яблонево́й ветке
Отсчитывают такт монетами по льду.
А я губами снег хватаю на лету,
Прозрачный, и безжизненный, и редкий.

Стеклянный шар, а в нём стеклянный сад,
И тень от ветки тяжелей, чем память.
Бесплотный снег застыл, не смеет падать,
И яблоки стеклянные звенят.

ИРИНА ДЕЖЕВА

УВЕЛИЧИВАЮ ЗЕМЛЮ

...начинают и...

В коненеизбежнике водятся кони
Мы их защитим
Мы знаем породы конёк недоверчивый
Запах конки
Помнится, жаждем, мстим, льстим
Наверное, коневодчикам
Возможно, гнедым...
Пойдём, пойдём
От края болот
Возьми парусины
Отрезок красивый
И ворот – монашеский сорт
Любимых яблок
Пойдём, погребём
От звука икот
Где бар и наводчики
Младые сорочечки
Кто выжил и знает
Ферзи-коновалы
И птицы у них сидят на предплечьях
О Боже, отбери мелочи
Чьи-то и наши
В стране предтечи
Скрой мою любовь... отбой
Просол, пробег
На цок, на вкус, на свет
Помол
Пусть в рамке
Оптик, химик
В ляжке краевед
Пусть ангел на затылке ткнёт
Не оставляя снег следов утопит
Где я и он – так, оберег
Суёмся телом по земле
То бесполезно
То спустя любезно
Углы скрываем
Пеплом отмолчитесь, ураганы



Рвёт понапрасну ль?
Отмойте ковш
Да отписки нагрейте
Оттесните грусть
И крыт кто в прелесть
И посети его (имя)
С сна и шпидрома
Вдруг
Вечность!

КОЛЯДКА ЧЕМПИОНАМ

Будь ко мне
Как будто будешь
Был и есть
И ставишь чайник
Будут гор большие реки
Будет чай двух нежных мам
На муслиновой салфетке
Были спешки, стали салки
Миллионы триллионов
Чемпионы мы по жизни
Елей прииск
Свет и спутник
Соток
Всех цветов подряд
Плавать? Прыгать?
Драться? Бегать?
Пострелять?
Потанцевать?
Будь по мне
Как правды доли
Флаг как должно
Смех и совесть
Будто будом
Сапом к терну
По смарагдовой дорожке
Подтянуться
Сном и жерлом
И забавать панк и этно
Композитору Земля!

Нас нет
И густ рассвет
И окон содраны рептильи
Милый человек! о нет!
Мы замерли? замёрзли? загрузили?

И тот не затянулся вечер крепом
Отстал народ
И стало быть не в брод
А стайкою смиренной



Склепом у чьего-нибудь Востока
Всплыть
Не повод око
Нашим душам говорить
И надобно горит
И херес ветер
Скит пуст
Проклятых невстреч
Застынет *любая* коза
Вишневых косточек пальба
Забудется очаг на запах
Эх, тонет плот
И некому погреться...

АКВАРЕЛИ

Ты бел, коричнев, сер и зелен
Ты рус отделка плевел
Прус соборка рёбер
Ты зол и чёрен
Грусть и ревер
Сквозь пяльцы
Бдит и плачет Он
И радость где свывает
Стон. И славен сад
Где бронь
Мы сказость и приёмка
Пустых кефилов
Бирюза да пропасть
Страшных стёкол
Не даст
И не бери
Ты жёлт и верен
Ты юга гроздь и привкус зёрен
Ты смел, и Пруст, и Пушкин
В чём-то Юджин, с кем-то Аристарх
Сапожник, гул и прах
Всё это брочка, чирк и притча
То я с очередной молитвой
Звени во град
Так мысли-мышы
Разбегаются под взгляд
И дышло спит
Прииди
Я верю вереск
И увеличиваю Землю
Нам
Чтоб разбежаться
И сраспинаюся
И спогребаяся
И стражду по тебе
И царствую, и мру
И в древе согреваюсь
Спаси во град
Я оживу



Он будет рад
 И виноград поди среди камней натопчет
 И стадо всех моих телят
 За солью поведёт
 Достойно есть
 Я знаю точно
 Тех млечных в срок теней отряд
 Медком сольются в серебро
 И дань кратка
 И в зоне прочно
 Ни у кого нигде нисколько и никак
 Ни у амброзии, ни в плавь
 Прошло дыханье
 И на плацо густо
 За щепой забора
 Только пьёт сейчас
 Слепой понятой
 Ничего не понял
 Никому не должен
 Мир в посуточном соответствии
 С утра – мятой, с обеда – матом
 Срисует прыжок в явь
 Без воды
 На попятных...

С. Росовскому

Ты Елисей
 Скот непричастен
 Годует тело
 Друже не горит
 Вода моя, как нежность
 Нырнула в жидкий квас
 Голая математика
 Падения вниз
 Ты пария
 Почав зерно
 И почитающий за так-т
 За плевру
 Жующий собственный кадык
 Когда смердит
 Поёт и пляшет
 Скверна
 Вода моя, как вежливость
 Вырвись
 Не заметив промех
 Блеф
 Не за горбех
 Будто
 Ты умирал – я рисовала
 Хоть не умею рисовать
 Играть, спать, плавать и падать
 Вверх



За что – не вопрос
 Зачем – не вопрос
 Когда, где, с кем, откуда – вопросы?
 Кто я – Вы спросите
 Как – в опросе вопросов – вопрос ли?
 Люди, пообщайтесь с Петровичем!
 Кто это? – не вопрос
 О чём это – не вопрос
 О, чёс, я загибаюсь от паники
 Ответьте же
 Счастливы?
 Любите? – вопрос
 Живы вы? – ответ
 Здравствуйте, наверное, панегирики
 Тех и этих лет...

Жизнь моя – зеро, каркас
 Спуск не прапасть, не упасть
 Чисто выбрать наколенник
 И на гавани отпасть
 От возни, Муратти пасти
 На канате
 Слег и слёз
 Не только слов живых не хватит
 Жизнь мою за пылью парт
 Пересказать...
 Три бурды
 Скрипят паркеты
 Сочень-совесь Парка ест
 И созвездья не приметив
 Смотрит в лес
 Жизнь моя – подарок вишни
 Выше вишен не запать
 Прусь, и замок этот где-то вышит
 И вытягивает снасть
 И места нет
 И азимут
 И вымерли деды, собаки
 Рухнул дом
 И заводское море
 В разноцветных трёх волнах
 Исчезло
 Потомкам-предкам да услышать новость
 Увидать, поверить, ахнуть
 Жизнь моя – фонарь, горизонт
 Вне пространства
 Вне времени
 Вне драки...

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

ТАМ ПРОСТРАНСТВО, КАК ЖЕНЩИНА

Человек рождается обнажённым,
Ни жарою, ни ветром не обожжённый,
Он выходит на свет, покидая мрак,
Ничего не пытаясь зажать в кулак.

Он пронзает молчание звонким криком,
И становится миг – самым первым мигом.
В толчее первобытных, людских страстей
Он сейчас самый главный среди гостей.

А когда он уходит последним гостем,
Он уже никого ни о чём не просит.
Он летит в лоно света из темноты,
И опять ладони его пусты.

Глубже этой реки... Что ещё глубже этой реки?
Для неё мы мальки, что растят в темноте плавники.
Что мы знаем о ней и зачем так беспечно глядим?
Мы вчера ещё были икринками в синей горсти.

Глубже этой реки – только горечь седого песка.
Глубже этой реки – только страх не понять языка,
На котором она нам впервые даёт имена,
И толкает со дна, и толкает с уютного дна

Прямо в солнце. Там птица неловко, впервые летит.
Там пространство, как женщина, учит ребёнка ходить.
Там не спрятаться в ил, не прижаться к прохладным камням.
Там из глины и боли она выжигает меня.

Нам к себе возвращаться не раз – по траве ли, по снегу ли...
Из напрасных походов, в изодранных в клочья плащах
нам к себе доплывать по весне полноводными реками,
нам к себе возвращаться, как будто долги возвращать...



Нам не раз убегать из толпы в молчаливые дворики,
 где летят над платанами голуби, снег и зима...
 Потому что по сути своей мы с тобою паломники
 в те святые места, что душа выбирает сама.
 Наугад, наобум, стрекоча тротуарными плитками,
 по неясным маршрутам, с которыми не совладать...
 Далеко-далеко, чтобы сердце внезапно окликнуло,
 вдруг забилося под курткой – так близко, рукою подать...

Не клюй цыплёнка за то, что чёрный,
 Смирись, наседка, твой строг отбор.
 Один – пушистый, другой – проворный,
 А этот – словно наперекор

Всем ожиданиям, и ты сердита,
 Его бы снова вернуть в яйцо...
 Не золотое, оно разбито,
 И что поделать с таким птенцом?

Поди попробуй понять природу...
 Несносен, дерзок и нелюдим.
 И вдруг он смело ныряет в воду
 И уплывает совсем один.

Вылетает птица из гнезда,
 словно первая попытка снега...
 Чтоб лететь – неведомо куда
 И рисунок зыбкий видеть с неба...
 Все её занятия – это блажь,
 Поважнее есть дела на свете...
 Но порою кажется – отдашь
 Всё, что хочешь, за занятия эти...
 Делает она прозрачный знак
 В воздухе крылом неосторожным,
 И взлетает, так и не узнав
 Нас, рассыпанных средь хлебных крошек.

Что там, в небе высоко? Там тучи столпились гурьбой.
 Это мама моя – с белозубых туристов толпой
 Звонко ходит по небу, смеётся, стучит каблуками,
 И меня заслоняет от ветра и солнца руками.

Тучи в небе ступились и можно грозы ожидать.
 Это мама моя улыбочивых двоек в тетрадь
 Понаставила дерзким студентам. Сказали пророки:
 «На земле, как на небе»... А, значит, там тоже уроки.



Что там снова? Там близится ночь и горит горизонт.
 Это мама моя две тяжёлые сумки несёт.
 Это мама моя небосвод подпирает плечами.
 А со мной – всё в порядке. Я просто безумно скучаю.

Не напасёшься неба впрок,
 Ведь небо каждый раз впервые.
 Лучистый вяжут звёздный стог
 Ладони облаков живые.

И в небе колосом сорвав
 Польнно-горькое, хмельное
 Молчание, пойду средь трав
 В ненастившее, в иное...

Ночь обступила пеннем сверчков,
 Как будто сотни маленьких смычков
 Коснулись струн и в унисон запели...
 И покатила жёлтая звезда
 В траву, под камни, в прорубь, в никуда,
 Неуловимо, как дыханье в теле...

И от неё остался влажный след
 Среди рассыпанных зерном планет,
 Он притаился в гуще многозвёздной
 Загадочней чернильного пятна,
 Прозрачнее овечьего руна,
 Светлей и легче пуха в птичьих гнёздах.

Не заводи себе кота,
 Ему захочется на волю...
 Чтоб в мире было меньше боли,
 Не заводи себе кота.

Его придётся отпустить,
 Дверь распахнёшь и он умчится,
 Стремглав по лестнице помчится...
 Его придётся отпустить.

Вот он под дверью не орёт
 И не царапает обоев...
 Ну что ж, ты можешь быть доволен,
 Что он под дверью не орёт.

Рука, что гладила кота...
 (Коты – ужасная морока!)
 Опять пуста и одинока
 Рука, что гладила кота.



Разрезаешь воздух крылом.
А в кошачьих глазах – стекло.
Вдруг поймёшь – ни добро, ни зло.
Такова кошачья природа...
Улетаешь от цепких лап.
И поёшь. Такие дела...
А в кошачьих глазах – игла.
Капля горечи – в ложке меда.

Но пока на Земле тепло,
разрезаешь воздух крылом.
Кто-то в небе белым веслом
терпеливо дожди отводит.
И, рассыпавшись янтарём,
ты поёшь. Это всё твоё:
Это солнце. Это жнивье.
Этот маленький пешеходик.

Кошка смотрит тебе вслед.
Ты вдруг веришь, что кошки нет.

На раны Земли так же тихо слетает снег,
Как птица надежды – в ладони седого Ноя.
А раны всё так же тревожат, а раны ноют.
И ветка оливы шуршит на ветру, во сне...

И голубь летит. И пора повернуть ковчег
К знакомому берегу, вывести лошадь с ланью,
Овцу и телёнка – на травы, не на закланье...
Зачем небу жертвы и раны, и боль – зачем?

Акации рассыпанное кружево
И тополей оброненную шаль
Намочит дождь. Серебряными лужами
От всех и вся – так просто убежать.

Как залпы в тире по толпе игрушечной,
Случится дождь – слепой и не всерьёз...
Но вдруг заплачет медвежонком плюшевым
Душа, не устыдясь внезапных слёз.

Победы нет, но нет и поражения.
Мир юн и горек, каплями блестя.
Какими же открытыми мишенями
Бываем мы для майского дождя!

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

НЕЛЬЗЯ ПРИНЦЕССУ СПАСТИ ОТ ЗВЕРЯ

Довелось ли увидеть суженую в Самайн?
Что прекрасна настолько – сил никаких смотреть,
Что остра словно правда, ласкова как зима,
Хороша как смерть.

Удалось ли узнать, что с той поры навсегда
Каждый камень в ладони – на погребальный холм,
Что стал вечным огонь, до боли живой вода
И покрытым мхом

Постаревший колодец памяти, где нет дна,
Где потушен костёр и ночь остудила смех.
Где осталась лишь та, прощальная, что одна
Тяжела словно жизнь,
Но, право, красивей всех.

Помни, малыш, нельзя – это только слово,
Нет ни в какой любви ничего дурного,
Мёртвой вода не станет из родниковой,
Даже когда сомкнётся над головой.

Рыцаря сын, со временем тоже рыцарь,
Ты был рождён с любым негодяем биться,
Долго творится, быстро лишь говорится,
Годы пройдут, пока твой наступит бой.

Дочке же короля вышивать на пальцах,
Пальцы колоть иголкой, любить паяцев,
Вырасти, чтоб чудовищ любых бояться,
Чтоб ожидать спасителей – вот закон.

В общем-то эта сказка тебе знакома:
Тот, кто спасёт принцессу, убьёт дракона.
Но иногда ломаются все каноны,
Мальчик мой, ты ведь понял, что сам дракон.

Я обещал лишь правду и только правду,
Замок твой здесь – от полной луны направо.
Та, что придёт однажды тебя исправить,
Знает – совсем неважно, кто победит,



То, что не все ключи открывают двери,
То, что порой и правде не стоит верить
И что нельзя принцессу спасти от зверя,
Если тот зверь сидит у неё в груди.

*

Тот, кто рождён драконом, устал бороться,
Вот бы закрыть навечно глаза-бойницы.
Я ведь совсем не тот, кого все боятся,
Я ведь совсем не тот, с кем ты хочешь биться,
Я же сам в этой крепости под замком.

Жжётся крапива в сердце – не удивляйся,
Раны цветут красивее эдельвейса.
Боль побеждает, сколько ты с ней не бойся,
Страх побеждает, но ты меня не бойся,
Бойся принцессу – ту, что внутри дракон.

*

Несмотря ни на что, ты слышишь, слышишь! – мы не похожи,
И когда буду падать в воду, не нужно меня ловить.
Из всех сказок о смерти – самая страшная о любви
Между зверем снаружи и тем, что живёт под кожей.

Звезды стреляют сверху легко и метко,
Ночь, как у шизофреника на рисунке,
Даже луна – серебряная монетка.
Мне за неё продали всего лишь сутки,
Хронос, как помнишь, та ещё злая сука.

В общем-то и любовь – это тоже деньги,
Хоть и дешёвка, но по углам как грязь.
Целую жизнь копил – и всего на день мне,
Знал бы, как мы паршиво здесь все увязнем,
То б заводил побольше случайных связей.

Нас тут толпа – пусть новеньких, но помятых,
Слушай, продай любого, пока не поздно.
Хочется матом, но не всё время ж матом,
Хочется прозой, но не умею прозой...
Помни меня – и я наскребу на дозу.

К востоку от солнца, к западу от луны,
Где дни как в тумане, ночи без снов – пьяны,
Спасения нет от тягостной пелены,
От плотной фаты печали.

Смотри, подвенечный саван тебе к лицу,
Не жалуйся сёстрам и не перечь отцу –
Жених вырвет сердце каждому храбрецу,
С которым тебя встречали.



Запомни, внутри у принца живёт медведь,
 Читай по губам, которым не розоветь:
 Когда он уйдёт, ты станешь о том жалеть,
 Искать его будешь запах.

Где замок плющом и мёртвой травой увит,
 Где чистое зло прекрасней добра на вид,
 К востоку от солнца, к северу от любви,
 От лунной тропы на запад.

Ай, у неё луна под рукой и солнце под волосами,
 Ай, её сердце спрятано там, где искры костра плясали,
 Ай, она видит то, что однажды будет и не случится,
 Ай, у неё луна под рукой и звёздочка на ключице.

Эй, не играй с огнём, не смотри ей вслед, не иди навстречу,
 Эй, не бывают правы, что говорят, будто время лечит.
 Сердце твоё – звезда, никакой одеждой его не скроешь,
 Сделаешь шаг – не станет пути назад, не зови на помощь...

Ай, у неё глаза горячей углей и темнее сажки,
 Ай, она знает главное, но, поверь, никому не скажет,
 Ай, она видит то, что однажды будет и что случится.
 Сердце её – змея, что спокойно спит на твоей ключице.

Зацвели у меня подснежники на плече.
 Я всё думала: станешь мой, а ты стал ничей,
 Всё гуляешь: морозный ветер, лихой сквозняк.
 Я всё думала: мне никак без тебя,
 Оказалось – с тобой никак.

Под замёрзшей водой становится глуше смех.
 Я всё думала, что не хватит тебя на всех,
 Но ты – вьюга снаружи, ты же – внутри очага,
 Никакого не хватит срока, чтоб ты зачах.
 И седьмую весну расцветают твои подснежники
 На плечах.

Смерти нет.
 В прошлом месяце вся истратилась, новой больше не завезли.
 Есть ноябрьский дождь и насыщенный запах сырой земли,
 Предраассветный туман и немного тоски по чужому дому –
 Кроме этого нет ничего, увы.
 Возвращайся домой и в ответ говори любому:
 Смерть закончилась,
 Можно стать наконец живым.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

КАФКА ОТДЫХАЕТ

рассказ

НАЧАЛО

На завалинке. На скамье. На диване с подломленной ножкой – мог лежать этот человек. И прислушиваться сторожко. Я могу за ним наблюдать. Мы могли говорить годами. И веками могли молчать – столько было горя меж нами. Столько было намыто беды – проливными, как страх, дождями.

А в это время стрелки его усов отразились в зеркале. Хозяин усов решил посмотреть, не умер ли, есть ли остатки дыхания в нём? Зеркало, отразив усы, застывшие на без четверти три, не запотело. Так узнал, что время готово покинуть его и пойти в обратную сторону. И время пошло.

Я не знаю, не знаю мгновенья, отразившего мой покой. Повернулась к нему – но Кафка, на прощанье махнув рукой, отошёл.

Отошёл от своей кушетки, от дивана, скамьи, завалинки – вставив белые ноги в нелепые, повывавшие виды валенки. Я огромных таких не видела, не примеривала никогда. Из кармана Кафки тянулись ярко-белые провода. И горели цветные лампочки белых глаз Франца Кафки, лапочки... И усы стали в пол-лица.

Так завязывался сюжет, где есть смысл. А надежды нет. Так ушёл мой приятель Кафка, попросив передать привет: «Теперь-то я знаю, кем хочу быть в следующей жизни, кошкой, – сказал Франц, – кошкой в белых сапожках. Напиши слова – следующая глава».

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА. ИГРА

Это было, было на Севере, где леса в завихрах посеяны, где морозы круты и рассеянны. Был мангал. И беседа звучала, где конец есть – не видно начала.

О желании приятеля Франца и прощальном его привете.

И в момент, когда было нолито – раздалось мяуканье страшное, и из леса вышел потерянный чей-то кот. В сапогах прекрасных, белых-белых. Сам – черно-мыров. Юморлив безо всякой меры. Приводить не стану примеров. Кот нас выбрал себе в хозяева. Видно, нравилась цифра «два». Если ум одинок в печали, дваум эту печаль приумножит, чтобы легче делить на двоих. Говори нам, кот, говори! Нам не выйти теперь из игры.

– Надо же, – сказал критик Латунский, – всего ожидал, но чтобы Франц отдыхал, а вместо нам подставою стал Платон. Понапишут,... что делать потом?

Написала толстенную книгу. Но Латунский считал лишь фигу.

Ненавижу Латунской природы рядом с гордой платонов породой. Говори, мой кот, говори.

РАССВЕТ

Заговорил он в полшестого. Второй раз. А первый был в полчетвертого, когда рассвет расковыривал тьму, продираясь сквозь дыры чёрные.

Я спала. Кот потрогал меня за голову лапой, укусил за руку, подрал раскрытую на 98-ой странице книгу и, открыв глаза сердито, я прочитала: «Так и слышишь, а не сговорились ли испытатель с испытуемыми, а не шептал ли он им что-нибудь?»

Для того чтобы поверить в происходящее, надо было видеть. Это теряется при рассказе».

– Наталью Бехтереву читаешь? – неудивлённо сказал Платон, цитируя следующую, 99-ю страницу: «Проясняется тайна Бермудского треугольника, и он, ещё не потеряв полностью оболочки тайны, потихоньку переходит в ряд материальных явлений».

Но не слушайте котов на рассвете!

ГРОЗА

Идёт гроза. Замкнуло где-то, и свет погас. Надо посмотреть на дом снаружи, все ли окна темны. Взявшись левой за притолоку, правой – дверь на себя и – шагнула. Под ногой не оказалось опоры, отшатнувшись, вглядываюсь в балконный провал.

Хозяйка, передавая ключи от квартиры, не предупредила, сволоочь, что за балконной дверью – пропасть четвёртого этажа.

Утром съехала с квартиры, оставив хозяйке деньги, ключ и записку: «На диване труп. Он шагнул в дверь, на которой не висело предупредительной надписи: «Осторожно, балкон отсутствует, не выходить».

Съёмная квартира осталась в Праге, а меня много лет разыскивает Интерпол – до сих пор пытаюсь опознать труп. Я читала в прессе, он удивительно похож на Франца. Но с усами.

И вот что замечательно, Кафка отдыхает, давно, уж я-то знаю. Значит, похож? Личность трупа на игрушечной пражской улочке в маленьком домике с надписью «Здесь жил Кафка» до сих пор не установлена.

ИНТЕРПОЛ

Что, Франц Кафка он, в самом деле, труп? Сняла с полки Кафку, открыла и задумалась... Кот вот – мурлычет, отвлекает, говорит: «Чего лезешь, Кафка отдыхает, мало тебе ещё?»

Мне – много. Мне с каждого утра всё больше и больше. Мне уже никогда мало не покажется – когда друзья отдыхают, поговорить не с кем, не читать же, в самом деле, их книг. Мало ли, на какой странице откроешь – подойдёт кот, вздохнет, отчеркнёт нужное и станет лапой по голове хлопать, за ногу кусать, жить мешать.

Не наслушаешься всех платонов, кафок, а тут ещё Интерпол. Сегодня позвонили с утра. Спрашивают:

– Есть у вас Кафка?

Осторожно отвечаю:

– Есть.

– Где он?

– Да вот, лежит, раскрыт, Платон на нём лапу держит.

А из трубки:

– Какой Платон?

– Афинский, – отвечаю, – Афинский его фамилия.

– Нет, – говорят, – афинского не нужно, дайте трубку Кафке.

– Не могу, – говорю, – он ведь раскрыт.

– Вот именно! – рявкнула трубка, – у вас раскрыт, а у нас труп неопознанный.

Что на это ответить можно с утра? Я так и не ответила.

А кот – вот он, мурлычет по вечерам, вздыхает утром, дерёт открытую книгу на очередной странице, отчеркнув необходимую для жизни в новом дне фразу: «Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы, в противовес тому лучшему, что в нас есть. Нашей надёжной практической сметке – мы иногда ведём себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети, бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и всё это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы».

Платон на то и кот, чтобы привносить в мою жизнь упорядоченность бытия, а ненужные звонки способны свергнуть в абсурд быта да ещё с криминальной отдушкой. В гробу я видела Интерпол с их трупом. Ну не писатель же он, в самом деле. Уж я-то точно знаю.

Вот и сейчас я читаю отчеркнутую дугой когтя строку: «Книга выдержала второе издание и переведена на другие языки. Но до этого Касаткин долго боролся за свою вполне материалистическую концепцию этих идеальных явлений. А что, если человек видит во сне с точностью до деталей и лиц события, отдалённые от сна будущими днями и неделями?». И разговаривает об этом по телефону, зачем-то позволившему с утра...

Именно на рассвете следует слушать своего Платона и доверять ему. А не тому, что не надо слушать своего кота по утрам.

Я набрала номер следователя и, поперхнувшись, сообщила: «Вам, господа, стоит поискать господина Касаткина. Обратитесь в Институт мозга человека Российской Академии наук».



БЕХТЕРЕВА И ПЛАТОН

Так расскажи, откуда взялась пурга и завируха северного леса, кот говорящий, из строгой книги цитаты о том, куда идём в изучении мозга человека? – спросил меня Франц.

– Это всё Наташа Бехтерева. Не верит она в простоту, «Магия мозга и лабиринты жизни» покоя не дают, подвигли написать труд на 380 страниц – ты отдыхаешь.

– А Платон?

– А что Платон? Тоже отдыхает. Вот лежит, голову свесил, валенки разглядывает.

– Какие валенки? – настороженный Франц посмотрел на ноги.

– «Не подшиты, стареньки», – запела Кафке, попросила не заморачиваться и закрыла книгу, поставив на полку.

На диване остался бэйджик: «Исполняющий обязанности», – прочитал Платон. И как после этого доверять коту своему? Все коты – мистификаторы.

Сегодня в полночь кот включил настольную лампу и не объяснил, зачем разодрал конверт с письмом. Письмо смогла прочитать до конца, он был. А вот начало кот сожрал без всяких объяснений. Мы поругались, и я, проверив по привычке, есть ли что-то за балконной дверью, успокоилась. За балконной дверью был балкон, на балконе – зима. Вышвырнула кота, чтоб не мешал, и Платон утонул в сугробе. В доме наступил покой. В эту ночь я спала и снов не видела, а утром...

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Кафка отдыхал и ему снился сон.

Небо над Адриатикой золотое было в тот день. По берегу моря шли отец с матерью и сын. Молодой человек был длинноног, строен и красив красотой не обыкновенной, а праздничной.

Небо отражалось в глазах синим, глаза отражались в синеве моря, смуглый закатный луч золотил лицо. Вид был отрешённым. Такие погружённые в себя лица иногда встречаются в суете праздника, привлекая внимание.

Молодому человеку оставалось жить еще два с половиной часа. Ни отец, ни мать не знали об этом.

– В следующей жизни я хотел бы быть кошкой, – сказал юноша.

– Почему? – спросила мать.

– Даром говорят, «кошкина жизнь», – усмехнулся.

Долго, задумчиво разглядывал собаку.

– Не гладь её, – сказала мать строго, – помнишь, Неточка потрогала – до сих пор уколы делают от бешенства.

Он не тронул.

Босым вошёл в прибой, туфли поставив на волну.

– Шестьдесят долларов стоят, – возмутилась мать, – уплывут.

Он ответил, обуваясь:

– Будет теперь море необутым из-за тебя.

Мать сказала испуганно:

– Срочно кофе пить, отогреваться, до утра не высохнут! Что ты наделал! На Пасху босым оказался, как теперь в мокрых?

– Не мелочись, – огрызнулся.

Больше не разговаривали. Собирали камушки. 39 – потом сосчитает она.

КНИГА

У всех свои книги. Эта книга – на стене. На обоях.

«Иисус Христос. Не понимаю!

Понимаю.

Пошла на хрен, Богиня.

Я мать убийцы?

Дождливо. Потому, что мой сын умирает. В чуде!

Видно и слышно. Били?.. Не знаю. Возможно ли это? Возможно!

Получал по голове от Богини не один раз.



Не интересно».

Рукопись под выключателем. Чтоб каждый, зажигая свет, прочитал:

«Тишина. Звук. Любовь.

Не тренируюсь.

Я тебя люблю.

Любовь...

Пистолет. Нож. Подручные средства.

Зубы. Точу. Преступление.

Нормально. Чувство. Глупость.

Не знаю!»

Подошла, прильнула к плечу:

– Если посмотреть из окна – мама, смотри! – фонарь мигнет. Видишь, мигнул два раза. Будет мигать столько раз, сколько будешь вглядываться. Не боишься сойти с ума? Ко мне прилетает голубка белая. Ходит по подоконнику. Как думаешь, мама, голубка и фонарь знают друг о друге? Когда гаснет фонарь, я видел, свет горит в голубке. Светится...

По утрам прилетала голубка, за стеклом голосила. Я не знаю вестей, что сыну на рассвете она приносила.

– Мама, не бормочи! Что ты всё выпрашиваешь?

– Разве я о чём-то спросила?

– Знаешь, – ответил, – в стихах каждое слово вопросом. А ты ищешь в них ответа. Смысл имеют только ироничные стихи. Остальное всё о чувствах и для чувств. Очень утомительно.

...Когда я захожу в его комнату, хожу вдоль стен, вчитываясь в недописанную книгу жизни его, мне не страшно. Мне одиноко его одиночеством – это вне определений, это такая данность.

«Чтоб быть вместе с мамой.

Сын!

Временно.

Временно на расстоянии.

Мужчина.

Не пью... 2007, ноябрь. Не время.

Знание!».

Подвёл черту под этими стихами. Скорописью, уже на выходе из квартиры – в коридоре под выключателем: «Свободен».

И решительно, жёстко зачеркнул.

У меня кружится голова от тишины в его комнате.

Обрывается сердце, когда он говорит:

– Хочу быть зеленоглазым. Как ты.

Но – синеглаз. А иногда глаза серые, прозрачно-лучистые. Смотреть в них становится невыносимо, пронзительные глаза: взгляд насквозь. Вдаль...

Он проживёт до Пасхи, 28 апреля 2008 года.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: «СОН» КАФКИ

«Йозефу К. снился сон.

Был отличный день, и ему захотелось погулять. Но он и двух шагов не прошёл, как сразу же очутился на кладбище. По всей территории кладбища разбегались дорожки, искусно проложенные, но несообразно извилистые. Однако, став на одну из них, К. уверенно и легко заскользил вперед, словно подхваченный стремительным течением. Уже издали внимание его привлёк свежий могильный холм, и он решил держать на него путь. Холм словно манил его к себе, и К. не терпелось поскорее до него добраться. Порой холм исчезал из виду...

Он поспешил прыгнуть в траву, но, едва нога его оттолкнулась от убегающей вперед дорожки, потерял равновесие и упал на колени у самого холма. За холмом стояли двое, держа в руках могильную плиту. Увидев К., они воткнули камень в землю, и он стал намертво. Тут из-за кустов выступил третий – судя по всему, художник... в руке он держал простой карандаш и уже на ходу чертил им в воздухе какие-то фигуры.

Этим-то карандашом художник и принялся чертить на плите...

Кто-то, должно быть, заранее обо всём подумал; холм был насыпан лишь для виду. Под тонким слоем земли зияла большая яма с отвесными стенками и, повернутый на спину каким-то ласковым течением,



К. послушно в неё погрузился. Когда же его поглотила непроглядная тьма, и только голова ещё тянулась вверх на судорожно поднятой шее, по камню уже стремительно бежало его имя, украшенное жирными росчерками.

Восхищённый этим зрелищем, К. проснулся.

ДИАЛОГ

– Итак, о смерти, – сказал Франц. – Ты думаешь, она существует.

– Они уходят, да, и мы не видим их больше.

– Ну-ну, – хмыкнул Франц. – Так они уходят! И мы не видим их больше. Где же смерть? Причём здесь смерть?

– Есть кладбища. Твой Йозеф К. «сразу же очутился на кладбище», как только захотел погулять. Я уже не говорю про жизнь – как только нам захочется пожить, наше внимание неизбежно привлекает свежий могильный холм, и мы решаемся «держать на него путь». Не ты ли сам – об этом? Смерть есть в нас. Нам предстоит дожить до неё. Твой сон тебе приснился, кто такой Йозеф К.?

Франц возмущенно заёрзал рукой по страницам, потом захлопнул книгу со своим рассказом «Сон», потом вскочил с дивана и резко сказал:

– Большой цирк, где бесчисленное множество людей, зверей и механизмов без конца сменяет и дополняет друг друга.

– Не надо. Ты не сможешь уйти от неё – в жизнь. Придёт твой художник к надгробной плите и изобразит....

Но Кафка перебил:

– Мой художник изобразит, и это будет искусство слов. А твоя героиня завоюет – и это будет искусство вой. Что ближе смерти?

– Конечно, слово, – ответила.

– Неправда! – закричал Кафка, – ты все время подразумеваешь конец. Конец был. Но вначале было Слово, ибо Слово – процесс, значит, в начале – живая жизнь.

– Э нет, – ответила, – слово было в начале конца, то есть в начале смерти. Всё есть смерть, а не жизнь, конец главнее – а начала и вовсе не будет. Есть только продолжения, потому что мы многожды возвращаемся и ничего не знаем об этом. Значит, нас нет, всё, как бы впервые – какие же начала? Всё есть продолжения смерти.

Я вообще подозреваю, что нам снится всё. Но снимся мы – кому? Вот в чём вопрос. Да кто такой твой Йозеф К.? Причём тут Йозеф с вашими снами?

Имеет смысл только тот общий сон, что вбирает все наши разрозненные сны. И он снится тому, кто не во сне, но в жизни живой. Значит, вечной. И ты знаешь имя, но Он говорить перестал. Разбилось Слово – на слова. Потому что снов Он больше не видит. На полке стоит, на стене висит, в небесах парит вечно. Только Он и жив среди всех.

Вот и ты уже на полке, и я скоро стану рядом. Он по домам разошёлся – один во многих лицах, текстах, книгах, памятниках надгробных. Нет и Его, раз больше сны ему не снятся. А все мы – в Нём, в них, разошедшихся – на наши тиражи, раз Он – в каждом из нас. И бессонница форма вечности.

Абсурдность этого явления настолько очевидна, что имена значения утрачивают. Он, ты, я, они – какая разница? Если вначале было Слово – и слово было Бог

Нам не о чём с тобой говорить. Мы всё сказали друг другу.

Придёт моя героиня и свяжет свитер пушистый, чтобы накрыть могилу. И будет вой и скрежет зубовой. А кроме – ничего и нет.

– Да, – сказал задумчиво Франц, – пожалуй, свитер на могиле лучше надгробной плиты. Пока ты не стала ещё рядом на полку, не свяжешь ли и для меня? Если можно, пусть он будет зелёного цвета.

– Нет, – ответила, – «Свитерок» уже написан, и он не для тебя. Мало тебе травы?

– Да не знаю я, – ответил, – что там надо мной.

– Покоя нет, и воли тоже – это я знаю точно.

– А что же осталось? – удивился Франц.

– Я пока осталась, – ответила. – А дальше – не знаю. Может быть, я уже последнее, что осталось.

– Покажи «Свитерок», – сказал Франц.

НИКОЛАЙ СТОЛИЦЫН

ХРОНИКИ ХАРОНА

кино-проза

1, ПРОЛОГ

Хэм печатает на машинке...

Довольно активно.

Сумерки ещё не ступились, и все клавиши на машинке – видны, и готовы принять – удары его пальцев.

Хэм приподнимает очки, перечитывает, щурясь...

– Гм.

Печатает дальше...

– Кхе-кхе, мистер...

– Что?!

Из сумерек выступает старик с рыбацкими снастями и яркими, удивительно яркими синими глазами.

– Ты...

Хэм не узнает старика, и старик отвлекает его от дела...

Чёрт! Хэм обещал «Гайму» – небольшое эссе о рыбной ловле. И чертовое эссе не желало появляться на свет.

Хэм колотил по клавишам, вырывал исписанные страницы, орал на машинку, себя и редактора «Гайм»...

И в бессилии напивался – джином, водкою, всем, что ни попадало в его бессильные, корявые руки.

И теперь... этот старик!!

Хэм набирает полную грудь воздуха... пахнущего морем и ветром, и готовится наорать на старика.

– Что это, мистер?

Старик уже извлёк лист из машинки и читает, шевеля сухими губами...

Со снастей старика капает вода, капает на письменный стол, на чудесные ковры, лежащие на полу...

– Ах, твою мать... – начинает Хэм, но старик опережает его и – комкает лист, и отшвыривает его за спину, и хохочет, оскаливая белые не стариковские зубы:

– Старый дуралей, что за чепуху ты написал о рыбаках и рыбацком искусстве?

– Ты...

– Ты же обещал мне... отправиться за прекрасною, самую лучшую рыбой, а сам...

– ТЫ, МАТЬ ТВОЮ...

– Неужели ты обманул – доверчивого Сантьяго? И твоя писанина дороже – твоего обещания?

И глаза старика... их синева выплескивается наружу и окатывает, захлестывает оторопевшего Хэма, и Хэм барахтается в ней и чувствует, что ему не выбраться...

И под ногами его... ни ковров, ни чёртова пола, только синяя – холодная – бездна, полная неясных движений...

И Хэм тонет в синеве и запрокидывает башку, и видит, как отдаляется от него рабочий стол с застывшею машинкою, и кричит...

И крик его – огромными пузырями поднимается вверх и – лопается у ног старика...



– Мистер!!

Хэм кричит и распахивает глаза.

Убогонькая лодчонка, старик с черпаком...

И чёртова, чёртова синева...

И вверху, и внизу!!

– Ты?!

Старик, окативший его водою из черпака, смущённо оправдывается:

– Мистер, вам напекло голову, вы уснули... и вдруг – завопили, стали тянуться руками к раскалённому Солнцу... Казалось, ещё немного, и вы – окажетесь наверху...

Хэм утирается рукавом, приходит в себя.

– Ты... Я не помню, ни черта не помню. Помню... ни строчки, ни дельной строчки – о чёртовой рыбной ловле... Но ты...

– Я – Сантьяго. Я обещал тебе – самую большую и прекрасную рыбу. Или нет... это – ты обещал.

– Рыбу?

– Самую большую.

– И самую прекрасную?!

– Да.

– Не помню. Ни черта не помню.

– Ты уговорил меня, ты обещал мне, что мы – поймем её. Вдвоём. С тобою.

– Мы?!

– Да. Сантьяго и мистер!! Мы.

Старик тычет пальцем в грудь Хэма, потом – в собственную.

На его обожжённой Солнцем физиономии написано запредельное счастье...

– Чёрт бы подрал – и тебя, и твою рыбу.

– Тсс!!

– Что ещё?

– Рыба может обидеться, и тогда мы её не поймем.

– Мы...

– Обычно я...

Слышится... нежное постукивание клавиш, и Хэм перебивает старика, зажимает ему рот.

– Тсс!!

– СТАРИК РЫБАЧИЛ ОДИН.

Это звучит отовсюду, вкупе с постукиванием, и это звучит голос самого Хэма...

– Старик рыбачил один, – повторяет за голосом Хэм и – впервые улыбается.

Строчка – ведь это же строчка!! – действительно хороша.

– Рыбачил один, – талдычит Хэм на разные голоса.

– Враньё, старина.

Сантьяго морщится и налегает на вёсла.

– Ты о чём?

– О том, что один.

– Почему же – враньё?

– Во-первых, я рыбачу с тобой. А во-вторых, какая кому разница, с кем рыбачил старик? Главное – рыба.

– Самая-самая...

– Туристы видят, как я ухожу в море, видят, как я возвращаюсь... с огромною рыбою. Остальное – касается только меня.

– Разве ты не хотел бы, чтобы они увидели, как ты... работаешь вёслами?

– Они – спугнут мою рыбу.

– Спугнут?!

– Я не хочу, чтобы мне мешали... разговаривать с моею рыбой... Это – как с Морем. Или – Богом. Или – собою. Ты – только настроишься... на честный и простой разговор.



Старик оставляет вёсла, складывает – молитвенно – руки.
 И, кажется...
 Всё застывает. В ожидании слов – от старика.
 И лодка, и Море, и...
 – Бог?!

Хэм с удивлением оглядывает старика.
 Старик чертыхается:
 – Хватило – даже тебя. Чтобы они испугались.
 – Они?
 – ОНИ.

И Море, приходя в движение, ударяет в корму...
 И Солнце чуть быстрее катится в густой синеве...
 И ветер чуть сильнее треплет волосы Хэма...
 И Бог...
 – Рыба, Море и Бог, – вышёптывает Хэм.
 – И два старика, – ещё тише вышёптывает Сантьяго... и кричит в синеву:
 – ЭЙ ТЫ!! МЫ ИДЁМ К ТЕБЕ!!
 И синева бросается прочь. Вкупе с Солнцем и редкими облаками.

4

– Слушай...
 Старик сравнивает свои грубые мозолистые руки – с руками Хэма.
 – Ты – стучишь по клавишам, а руки... Видишь? Какие мозоли!! Да, мои руки не отличаются от твоих,
 но я всю жизнь ловил рыбу, а ты...
 Хэм двигает пальцами, словно ударяет по клавишам любимой машинки.
 – Писать о рыбалке, щёлкая клавишами, и непосредственно ловить рыбу... И такие... похожие мозоли?!
 Пальцы Хэма двигаются всё быстрее, но звуки – совершенно не соответствуют движениям пальцев.
 Плещется морская вода,
 покашливает удивлённый старик,
 поскрипывают допотопные снасти...
 Старик следит за пальцами Хэма, склонив голову набок. Старику интересно.
 Плещется,
 покашливает,
 поскр-р-р-р...
 – Щёлк...
 Это – клавиши?
 Под пальцами Хэма?
 В чёртовой лодке?!
 Чёрт знает где?!
 – Щёлк!!
 О, чёрт...
 Это – старик.
 Улыбается и – щёлкает языком.
 Хэм собирается разбранить его и заставить свои пальцы – остановиться.
 Но в глазах старика плещется не только мальчишеское веселье, но и любовь.
 И Хэм приноравливается к щёлкающему языком старику.
 – Щёлк-щёлк!!
 И пальцы Хэма удар-р-ряют...
 – ЩЁЛК!!
 УДАРЯЮТ!!

Старик работает вёслами, поглядывая исключительно в небеса.

– Ты хоть знаешь, куда мы плывём? – интересуется Хэм.

Всё вокруг – одинаковое.

Ни одного ориентира.

Синее море, синее небо.

Ни одного...

– А Солнце? – смеётся старик. – Я плыву – прямо к нему.

– К Солнцу?!

– Да.

– Зачем?!

– Моя... наша рыба, самая-самая среди остальных рыб, поднимается со дна, привлечённая его полуденными лучами...

– Самая-самая среди остальных?

– Ха!! Ну, конечно.

– Гм.

– И она поднимается – с самого-самого дна... Но и Солнце, оно становится – самым-самым – в единственной точке...

– Самое-самое дно, самое-самое Солнце... Что ты несёшь?! Я хотел посмотреть, как ты ловишь – самую... тьфу ты, обыкновенную рыбу – в самом... о, Господи... обыкновенном море, а ты...

– Обыкновенный старик ловит обыкновенную рыбу... Тебе – интересно?

Старик еле сдерживает зевок.

– Самый обыкновенный старик...

Старик оставляет весла...

– Ловит, ло-о-о...о-овит...

Первым зевает – всё-таки Хэм.

Зевает, выворачивая челюсти, зевает, проклиная – разглагольствующего старика, обыкновенного, чтоб его, разглаго-о-о...

Старик же – хитро подмигивает далёкому, безмятежному небу и, напевая о рыбе... о самой-самой прекрасной рыбе, яр-р-ростным рывком бросает лодку – вперед.

Лодка движется с невероятной скоростью. Но старик – даже не потеет.

Равномерно работая вёслами, старик напевает о рыбе, о самой-самой...

– Ты знаешь... мне нравится – твоя песня.

– Откуда ты взял, что она – моя?!

– Ты же поёшь... Вот же – прямо напротив меня – работаешь вёслами и поёшь. О самой-самой...

– Во-первых, кха... уже не пою.

Старик прочищает горло, собирается сплюнуть в море... сплевывает в кулак.

– А во-вторых... Я только открывал рот, предоставив ветру – ловить в моей глотке... слова и мелодию...

– Ты хочешь сказать...

– Не люблю я писателей. Сплошные намёки и виляния. Ты хочешь... Нет. Я – говорю.

– Ну, хорошо... хорошо... Ты... говоришь, что это – не ты...

– Не я...

– Предположим, не ты...

– Опять в тебе проснулся писатель?!

– Прости.

– Я говорю, что позволил ветру...

– Ветру?!

– Ветру!!

– И если я...

Старик только кивает.



Хэм открывает рот...

Ни-че-го.

Хэм зажмуривается и открывает рот – ещё шире.

НИ-

Запрокидывает голову...

-ЧЕ-

Высовывает язык...

-ГО!!

– Ха-ха-ха!! – смеется старик. – Ему не нравится твоя писательская глотка. Слишком чистая, слишком правильная писательская глотка.

Хэм дёргает плечами и, отвернувшись от старика, начинает насвистывать джазовый шлягер...

Назло – старику... и проклятому ветру, не оценившему его писательской глотки.

7

Солнце печёт...

Хэм всё ещё насвистывает, но ему жарко... и хочется – заткнуться, и глотнуть холодной воды, и просто молчать, глядя на... чёрт бы с ним, певучего старика. Обожаемого, чёрт бы с ним, ветром.

– Уф...

Сейчас он повернётся к такому же мокрому от пота, такому же... опалённому Солнцем...

– Уф...

Хэм поворачивается...

– Чтоб тебя!!

Старик – совершенно прежний, ничуть...

– налегает на весла –

не потный, не опалённый,

– подмигивает Хэму –

не досадующий на Хэма?!

– кивает на проклятое Солнце, тычет в него кончиком весла...

И всё это – без тени притворства.

Естественный, обыкновенный... улыбающийся – и Хэму, и морю, и чёртову Солнцу...

– Уф...

А Солнце – увеличивается в размерах, заполняет собою – небосвод...

– Уже скоро, – бросает старик. – Уже – совсем скоро.

А Солнце – увели-и-и-и...

– Самое-самое? – ужасается Хэм.

– Самое-самое, – умиляется, улыбается старик.

И Солнце – улыбается тоже. Естественную, обыкновенную улыбку – самого обыкновенного старика.

Улыбается, улыбается, у-у...

8, СНЫ

– У-у!!

Хэм ковыряется в салате, ковыряется – в отвратительном и свежем салате...

– Чёртова диета... Что я напишу, сожрав эту чёртову зелень?

В салате есть все. И все это – свежее и политое оливковым маслом. И всё это...

– Тьфу!!

Хэм отставляет салат.

– Я напишу... напишу... о старике, что умиляется, глядя, как марлины режутся в солнечной прохладной воде... о старике, что выбрасывает за борт – свои любимые... хе-хе, единственные снасти... Зачем они – старику?!

Хэм зажмуривается, Хэму не нужна – его чёртова машинка, Хэм – уже пишет.

ПИШЕТ!!

ЧЁРТ ПОБЕРИ!!



Обычное...

– За обыкновенною машинкою – выполняю обыкновенный заказ...

– А я...

– Читателю, тоже обыкновенному, интересны подробности... Ему хочется – заглянуть в мою лодку...

– А я... – начинает старик и... обрывается, и прикладывает палец – к губам.

– Тсс!!

Хэм осекается.

Тсс?!

Старик кивает на море...

Море – недвижно.

Откуда же – эти еле слышные...

И что это?

ЧТО ЭТО?!

Как будто тысячи, миллионы внимательных, слишком внимательных... затаив дыхание, наблюдают...

За обыкновенными...

Боже...

Тысячи!!

Миллионы!!

Сейчас – они... вы...дохнут...

ВСЕ!!

РАЗОМ!!

Внимательные...

Слишком внимательные...

– Пфр-р-р!! – вырывается из задницы старика. – Пфр-р-рух!!

И Хэм вздрагивает, и первые слёзы катятся из его глаз...

ОНИ?!

Ни-ко-го.

Только Хэм и – проклятый старик, и чёртова ненаписанная статья, и постылое – одинокое – море...

Да и старик...

Откуда он взялся?!

С его бороною?

Снастями?!

И жалкой лодчонкою?!

Никого-о-о-о-о...

Ведь старик... это не человек.

Нет.

Это – ветер, наполненный словами и мелодией, это – море... и небеса... это – желание Хэма...

Тайное желание Хэма...

Увидеть в море – безнадёжно, бессмысленно прекрасном – подобного себе старика.

На море обрушилось небо. Или дождь. Или небо – с дождём.

Откуда?!

Только что – совершенно чистое, безразличное небо...

Гм...

Как будто ему захотелось поплакать?

Или, нет...

Слёзы – сами собою – хлынули вниз.

На одинокого Хэма.

Ледяные, одинокие слёзы – одинокого неба.

– О-ох, брр...

Хэму неуютно в утлой лодчонке, он озирается – в поисках берега.



Но, чёрт, старик, сидящий напротив, принимается за наживку...

– Чёрт бы тебя побр-р...рал, – лязгает зубами мгновенно продрогший Хэм. – Я не говорил тебе, что ненавижу проклятый дождь...

Старик кивает.

– Ненавижу – отсутствие Солнца...

Снова – кивок.

– И выпивки.

Старик, не глядя, двигает – откуда она в лодчонке? – канистру – в сторону Хэма...

– Чёртово небо, холодное небо, дождливое... как одиночество и смерть.

Старик хмыкает. Показывает одними глазами.

Хэм видит у ног своих – канистру, придвинутую стариком. Преображается:

– Ты – славный старик. Ты... поймал свою самую-самую рыбу... Я – знаю.

Хэм хватает канистру. Встр-р-ряхивает её. Вслушивается – в чудесное бульканье.

– Не веришь?!

Открывает канистру... делает основа-а-ательный глоток.

Старик уважительно щёлкает языком. И, тем не менее, не верит. Ни единому слову.

– Ух!!

Хэм отставляет канистру, смачно облизывает сладкие губы и – кричит прямо в навалившееся небо:

– Самую-самую чёртову рыбу!! Потому что... я так хочу!!

Хэм хохочет и подмигивает удивлённому старику, пытающемуся разглядеть, с кем это разговаривал Хэм.

– Я!! ТАК!! ХОЧУ!!

И небо отступает... от моря и лодки, и старика, и хохочущего Хэма.

– Ну, забрасывай чёртовы снасти... но знаешь, давай лучше я... А я хочу... поймать... не просто рыбу... больше чем рыбу!! И твоя жалкая наживка...

Хэм закусывает губу и – с явственным усилием вырывает из собственной груди горячий окровавленный комок, и взвешивает его в руке, и споласкивает вином... и насаживает – на крючок, и забрасывает его – не в море, но в небо... уже недостижимое, вернувшееся на привычное место, и застывает с запрокинутой головой... глядя на прыгающий в небесной воде поплавок.

– Но Солнце... ещё не самое-самое...

– Плевать.

– И море...

– Плевать.

– И небо...

– Пле-вать.

– Она не поднимется, её попросту нет... самой-самой...

– Ты что, не понимаешь?!

– Она останется в другом месте, под самым-самым...

– Ты действительно не понимаешь?!

– Твоя самая-самая...

– Ах, ты ж... сукин ты сын...

– Моя...

– Боже правый...

– Наша...

– Я...

– Самая...

– Я – УЖЕ – ПОЙМАЛ – ЕЁ.

Это – гром, расколовший далёкие небеса? Или ревущий в небеса – Хэм?..

– Боже, – рвётся из его опустевшей груди. – Бо-о-оже...

Хэм разбрасывает руки и, запрокинув голову, смотрит в разорванное молниями небо...

– Я – уже – поймал – её.

– Самую-самую?!



- Да.
- Под самым обыкновенным небом?
- Самую-самую – под самым обыкновенным... и безо всяких снастей...
- Ты...

Старик оглядывает лодчонку.

Всё – на месте.

Снасти, канистра...

Но рыба...

– И где же она, ты... чертов сумасшедший писатель?

Нежнейшая улыбка озаряет хэмово лицо, или это – обыкновенное Солнце, прорвавшееся сквозь тучи – единым лучом...

– Где же она?!

И Хэм обнимает непонятливого и такого необыкновенного старика...

– Где же твоя самая-самая рыба?!

И Хэм хлоп-п-пает старика – между лопаток.

– Наша самая-самая...

И Хэм взъерошивает – чудесные седые волосы старика...

Самого-самого...

Самый-самый.

13, ЭПИЛОГ

– Самая-самая, – шепчет старик, глотая горячие слёзы и хлопая Хэма – между лопаток.

– Самая-самая, – вторит ему Хэм, щурясь... на очень уж яркую лампочку, что светится под потолком кабинета.

– Ты – поймал её.

– Нет, не я. Мы.

– Ты.

Старик всхлипывает.

– Ничего. Ну, что ты?

Хэм утешил бы – обыкновенного старика, но этот...

Какого чёрта?!

– Эй, хватит уже – сырости!! Ты что, не доволен – своим... нашим уловом?!

– Что ты, – отмахивается старик. – Просто...

Старик отстраняется от Хэма, тычет пальцем в стопку исчерканной, исписанной бумаги, в заглавие...

– Ты – уже поймал свою рыбу, а я...

Хэм перечитывает заглавие...

«Старик и море»...

Чёрт...

Ну, разве это – не хорошо?!

Старик трогает его за плечо.

– Я всё понимаю. И спасибо – тебе. За всё. Ты – самый-самый... И ты – поймал свою...

– Нашу.

– Пускай нашу, но ты – поймал её.

Старик вскидывает на плечо мокрые... всё ещё мокрые снасти.

– Прощай.

– Ты – уходишь? Так быстро?!

– Зачем я – тебе?

– Ты...

– Только не надо – сырости.

– Хочешь...

Хэм хватается рукопись, собирается – разорвать...

– Зачем?

– Чтобы начать всё сначала. Чтобы написать: Хэм печатает на машинке...



– Довольно активно, – улыбается старик.

– Да!!

– Не надо.

– Но я не хочу расставаться.

– Ты думаешь...

Хэм прижимает рукопись к сердцу...

Оно же... на месте?!

Да?!

– Ты думаешь, это – единственная рыба? Самая-самая единственная рыба?

Хэм с надеждою заглядывает в глаза старика. В синее-синее море, что плещется – в них.

– Старый ты дуралей, да мы... с тобой...

И море – рвётся наружу.

– Поймаем...

– Поймаем...

– Ещё не одну...

– Не одну...

– Самую-самую...

– Самую-самую...

И рыбина-Солнце выскакивает из моря и – поднимается всё выше и выше...

АНАСТАСИЯ ЗИНЕВИЧ

МАЛЕНЬКОЕ СОЛНЦЕ сказки

МАЛЕНЬКОЕ СОЛНЦЕ

Жило-было солнышко. И было оно очень пугливое. Особенно вечером, в темноте. Идёт оно, шарается от каждого шороха.

– Посвети мне! – крикнула птичка. – У меня дочка выпала из гнезда. Её нужно срочно найти!

– Никак не могу!

– Но ты же солнышко.

– Так если я посвечу – все узнают об этом.

– Но дочка может погибнуть.

– А кто спасёт меня, когда меня увидят и попытаются поймать?

И солнышко убежало.

– Посвети мне! – взмолилось деревце. – Мне кто-то подтачивает корни, нужно его напугать!

– Ну ты даёшь. Я – и напугать? Да я сама кого хочешь испугаюсь. Прости уж.

– Посвети мне! – взмолилась бабочка. – Я попала в сети паука – если посветишь, он и отпустит.

– Нельзя мне. А вдруг паук ядовитый? Да и вообще, много всяких тут по лесу ходят. Только и ждут, когда обнаружусь.

– Но ты же солнце... никакая лесная тварь на твой свет не осмелится выйти... посвети!

Но солнце не поверило.

Тут напал на неё сон и стало солнце думать, где б ей спрятаться поспать. И увидело оно в кустах человека. Почти околёвшего совсем.

Человек сказал:

– Я потерялся в лесу и сейчас умру от холода. Согрей меня!

– А если согрею, ты, очнувшись, меня не обидишь?

– Глупое... и кто вас солнц такими глупыми и трусливыми делает.

– Мама солнце, папа-месяц... да ты меня обижать вздумал. Сейчас папино время – вот как позову его, он придёт и тебя накажет, если что.

– Что ж ты боишься каждой тени, если у тебя папа такой сильный? Может, он никогда не приходил?

– Не приходил, – призналось солнце, – и кто меня только за мои лучики не бил. А я ведь хотела светить всем на свете...

– Эх, всем может не получиться. Рано тебе светить и для злых, и для добрых. Не доросла ещё. А вот мне посвети. Иначе сама угаснешь. И тебя на небе спросят: «Какое же ты солнце, никого не согрело, не осветило?». И скажут: «Быть тебе болотным фонариком, призраком падших солнц».

И солнце устыдилось и стало светить для человека. Потом они подошли к дереву и прогнали крота. Потом подошли к птичке и нашли её птенца. А бабочку... С бабочкой солнце впервые узнало, что наши поступки необратимы. Как и упущенное время.



ЛЕННИЦЕ

Жила была девочка. С первыми лучами солнца она вскакивала и первым делом шла будить своих родителей. Родители отмахивались и закутывались поглубже в толстые одеяла. Потихоньку девочка усвоила, что родителей трогать не стоит. И девочка шла играть с куклами, читать непонятные взрослые книги. Когда ей все это надоело, девочка принималась мыть засыхавшую в раковине посуду. А пару раз даже помыла на кухне пол. Но девочке стало скучно: всё одна да одна. И тут как тут появился у неё новый друг. Назвался он Ленью, или просто Ленькой.

– А в какие игры ты играешь? – спросила девочка.

– Во взрослые, – ответил Ленька.

– А как это?

– А ты пробовала не вскакивать с первыми лучами солнца?

– Нет, но разве это интересно?

– А посмотри на родителей. Как они мурлычут, нежатся. Сон – это такое блюдо! Его надо как следует посмаковать.

– Но разве не скучно лежать вот так плашмя, когда всюю солнце...

– А ты попробуй.

И на следующее утро девочка впервые... проспала.

День сразу пошёл какой-то бестолковый. Девочка не успела ровным счетом ничего. Ни книгу дочитать, ни уколы куклам поставить. А ночью до-олго не могла заснуть.

– Ну что же мне делать! Никак не усну! – пришла в ужас девочка. Даже жарким потом облилась... – не усну, а значит вовек завтра не проснусь! Караул!

– А друзья на что?

– А, это ты, Ленька. Видишь, что ты наделало.

– А ты успокойся, и я буду тебе показывать картинки. Готова? Представь, что ты принцесса...

– Фу!

– Ну ладно. Представь, что ты принц, едешь на коне в латах. Вот кто-то кричит, звуки битвы, вперед! Мечи к бою!

Через час девочка с трудом уснула.

Следующий день начался ещё позже. И уже было поздно вообще что-то делать. И почему-то всё время хотелось спать...

– Привет. Что хандрить? Понравилось вчерашнее кино?

– Ну да.

– Ну так повторим.

– Что, прям днём?

– Ну а что же. Приляг, расслабься. На чем мы там остановились.

И девочка прилегла. Картинки понеслись – как заведённые. Прошло 5 лет, картинки неслись всё те же, только девочке теперь нравились отрицательные персонажи: злые колдуны, разбойники.

Тут родители притащили телевизор. Плазменный. С кабельными каналами. И были таковы. У каждого родителя пошла своя отдельная жизнь. А дома и днём, а то и ночью никого не было.

– Ну, держись, – сказала Ленька.

И пошла фильм за фильмом. Мультик за мультиком.

Так Лене стукнуло 16, и было оно уже не Ленька, а самое настоящее Леннище. А девочка по-прежнему была маленькой.

Идёт Леннище, большое, толстое – живот висит, аж болтается. И подбородище в такт. Из носа Леннища всё сопли какие-то текут: «зачем из дому-то выходить – болеем мы!». А рядом семенит ма-аленькая девочка. И засыпает на ходу.

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ГЛАЗЕ

Эта история не о храбром пирате, потерявшем свой глаз в сражении с испанцами. Нет. Это история о самой обычной девушке.

Как известно, на каждого из нас – выделено по два глаза. Один видит хорошее. А второй – плохое. Один всему верит, а второй – всё критикует, подвергает сомнению.



Однажды девушка проснулась и обнаружила, что в одном глазу потемнело. К врачу было некогда, потому что девушка проспала и очень опаздывала. Выходит, слышит: кто-то успел вызвать лифт. Ну точно, это соседка сверху мстит мне за то, что я по вечерам музыку слушаю!

Спускается по лестнице: навстречу идёт сосед. И не здоровается... Ну точно, имеет что-то против меня. Вот и я не поздоровалась.

Выходит на улицу: ужас! Как же все люди друг друга не выносят! Вон бабки на скамейке – наверняка меня обсуждают, как я одета. А вон идёт парень – наверняка меня мысленно раздевает... или нет – думает какая я уродина! А вон целых три парня! А вон собака...

Вернулась девушка как из пекла: вся вспотела и обессиленна. И стало ей невозможно.

И пустилась девушка на поиски лекарства для своего утерянного глаза. Тут попалась ей пачка «Зелёных газет» и на первой же странице объявление: «возвращаем внутреннее зрение!».

Пришла – видит: целая очередь – явно к какому-то к гуру попала.

– Э-э нет, так ничего у тебя не выйдет, – сказал гуру. – Нужно этот твой ненавидящий глаз обезвредить!

– Как же так, я же тогда совсем ослепну...

– Зато третий глаз откроется.

Нечего делать. Придётся пожертвовать последним глазом.

Идёт бедная девушка по улице. И не видит – куда идёт. Никогда она не была так незащищена! Открыта любому удару! И захотелось ей упасть на землю и заплакать. Вдруг чувствует: кто-то взял её за руку – так нежно, так ласково! Девушка осторожно дотронулась... Оказалось, это была рука мужчины.

– Девушка, вам помочь? – сказал бархатный голос. Впервые она услышала в чьём-то голосе такую доброту!

– Да... – робко сказала она. – Знаете, я ведь совсем ничего, никого не на... не вижу!

А про себя подумала: кто б он ни был, как бы не выглядел – я выйду за него замуж!

И тут открылся глаз. Не третий, а тот, потерянный.

ЧАСОВЫЕ

Видели настоящие часы с бомом? Никогда не хотели попасть вовнутрь, как в волшебный замок? И узнать – есть ли у них дно? Я хотела всегда. У нас стояли дивные часы, прямо башенные, ростом с маму. Говорят, они остановились вместе с сердцем прежнего хозяина. Открывать мне их строжайше запрещалось. Однажды ночью просыпаюсь, – а из часов такой гул доносится, будто шепчутся на дне колодца:

– Тик. Так. Ты тут. Я тут. А он – там?

– Там-там. Уже двадцать лет как там. Бом. Пуст мой дом, – явственно различалось два шепотка.

Тут шёпот замер. Наверно, услышали, как я подкрадываюсь. Но дело было слишком уж важным, и двое продолжили. Второй зашептал лихорадочно:

– Нужно сочинить про нашего прежнего хозяина сказку. Представь сюжет, в котором было бы две истории про одного и того же человека.

– Ну, придумаешь тоже. Хочешь из нашего старого хозяина психику сделать? Мол, он днём на работу ходил, а ночью с чертями разговаривал?

– Да нет, не про то. Я опишу его таким, каким он был. Самый обычный себе человек. Обыкновенный недо-гений. Как я, или вот ты. Представь себе, родился ты, но вовсе не живёшь. Ни в чём не участвуешь. Лежишь на диване. Уставившись, нет, даже не в книгу. В телик. Жизнь проходит мимо. Какая там разница – что за окном: какое время дня, время года... Постепенно стираются грани – меж утром и ночью. Меж сном и явью. Календарь не значит ничего. Есть только гать, грязная гать. Но перейти её нет никаких сил. Ведь чтобы идти – нужно направление. И вот – ты только представь! – что пустого места нет. Что где-то там, в параллельном измерении, невидимый он – живёт и дышит в полную меру. И в той невидимой реке времени, что текла мимо него – в ней он подлинный. Прежний, юный. Верующий.

– Какая чепуха. Эдак можно домечтаться, что время обратимо. Или что есть некое зазеркалье, где мы существуем подлинно, а здесь – так, понарошку. Увы, голубчик! Одна у нас жизнь, одна!

– Ну конечно, конечно река времени необратима. Но это дивная река. Она ведь живая. Всё чувствует. То тут, то там манит, обнажённая: войди! То в мелодии Баха, то в случайном стихе – напоминает о себе.

– Ну ты прям женщину нарисовал. Муж ушёл, а она всё ждёт, пока не состарится. Солвейф!

– Слушай дальше. К старости наш хозяин очнётся. Скажем, наткнётся на фотографию матери. Или молитвенник. Свою детскую пшагу. Да мало ли что! Очнётся – и войдёт в эту реку. Вначале осто-



рожно, по щиколотку. Ощутит, как пощипывают минутки за кончики пальцев. «Ух, – скажет он, как свежо!». Потом попривыкнет и войдёт по пояс. И станет ему радостно, заплачется, как дитя... И тут – тут он вспомнит, что умрёт. Совсем скоро. И пожалеет на минутку, что сдался. Не схоронился в своей скорлупе подальше от этой реки. «Я стал живым и теперь обречён умереть» – вздохнет он. И выпьет из реки времени горсть воды.

– И тут ты сочинишь, будто наш хозяин прожил всю жизнь – как тень в Аиде, на берегу реки Леты, а стал живым, только помирая. Испил водицы из реки жизни – и все вспомнил? А вспоминать-то – нечего!

– Детство он вспомнил! Как же ты не понимаешь...

– Эх, часовые твои мозги. Вот дочка наших новых хозяев – сидит весь день у компьютера. Нечего ей будет вспомнить! Ни каков свет весеннего солнца, ни каковы деревья на ощупь. Так и состарится, не поплавав в твоей реке.

– Прости, но ты так и не понял...

– Рассказывай лучше ей свои басни. Оправдывай! Пусть надеется, что поправит всё «завтра»! В конце! А я говорю – ничего не поправимо, ничего! Время, что раздавленные мотыльки. Сыграл в видеоигру – и нет мотылька. Вот что детям надо рассказывать. И посадить в руку бабочку. Самую прекрасную, бархатного махаона. А потом велеть «сожми! Понял? Ты – убийца времени».

– А что прикажешь делать с теми, кто уже состарился?

– Ну что ж, тогда попробуй... Узнай, чего они упустили, какую минутку убиенную больше всего оплакивают. Дай-то Бог, оживут.

...

– Мама, я когда вырасту – буду возвращать людям детство.

– Придумаешь тоже. Опять приснилось что-то?

– Два часовых человечка.

– Часовые? Солдатики? Что же они сторожат?

– Наше время. Они прячутся там, за стрелками наших часов. Ох, как же быстро тикает время!

– Да ведь часы поломаны давно!

– Да не в часах. А здесь, слышишь? Прямо внутри меня: Тик-так. Тут-там.

– Как же ты быстро взрослеешь, доча... что-то ты к компьютеру сегодня не бежишь.

– Некогда мне.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ЛАБИРИНТ

рассказ

Вокруг были стены и только стены – справа, слева. И узкий проход, который гнал и гнал вперёд, нимало не заботясь о желании по нему бежать. А ведь кинулся в этот проклятый лаз всего-то с пару часов назад. За котом, который истошно звал на помощь. Может, надо было плюнуть – сам забрался, сам и вылазь. Но за месяцы жизни на пару с ним так привык к уютному мурлыканью возле уха, что предать хвостатого в голову не пришлось.

– Кысь-кысь, – звал Тёмка серого разбойника. Но того и след простыл. Однако Тёмке и самому выбраться уже не было возможности – слишком далеко завёл его этот провал в стене. Говорили, что весь Кёнигсберг стоит на древнем подземном городе, и по его зигзагам можно плутать неделями, пока не выведет. Казалось, чёртов лабиринт нарочно уводит от спасительного выхода. Чтобы на сей раз в историческом поединке «Минотавр-Тесей» победил именно постыдный плод Пасифаи. По крайней мере, так казалось.

«Да ведь я сплю», – успокаивал себя Тёмка, не выпуская из рук традиционно-спасительный пузырьёк с тёмной жидкостью. За годы плаваний по северным и южным морям привык к береговым пьянкам и даже теперь не расставался с их главным атрибутом. Разве что, открестившись от плебейской привычки пить простую горькую, прикладывался к рому. Бывшему моряку это пристало больше.

А сон явно крутил шарманку. То чудилось, что уже проснулся и топает на работу, где до ночи гоняет по редакционным коридорам, чтобы пристроить очередной опус. А то вроде как чья-то рука выдёргивала его из этих стен, чтобы закинуть в другую бесконечную пуганицу, границы которой были уже чуточку шире и потому мог пригрезиться Дон.

Ах, Дон! Священный Танаис. В щетине кранов он был похож на загнанную змейку, которая исхитрилась улизнуть в плавни. А уж оттуда, преисполненный мифической мощи, Дон рвал всеми своими 422-я тысячами километров водосбора в не менее мифическое Меотийское озеро. Впрочем... может, и наоборот – смазывал пятки в обратную сторону. Теряя при этом широту рукавов и тесня собственные луки. Ибо с этим Меотийским лучше не связываться. Чёртова баба – Тимкина жена – тоже из тех злополучных мест. С Меотийского озера. Где когда-то сидели воинственные девы, о которых писали ещё Гесиод и Геродот. Иметь дело с амазонками даже эллину было не с руки. Утверждают, будто царил у них невысказанный обычай – ни одна из их окаянного племени не могла вкусить любовных утех, пока не пристегнёт к седлу три мужские головы. Представляете?!

А звали Тёмку Семёнова кликухой Тесей (краткое производное от имени и фамилии). Он так привык к этому прозвищу, что иногда даже задумывался, не ведёт ли его род от Афин – мать-то по бабке вроде гречанкой была! Да и сам как-никак в тренде – пока плавал, снимал у чаровниц пояса девственности древним умением вовремя улизнуть от брачных уз. Совсем как Тесей. Он и в Ростовский университет поступил. На филологический. Чтобы однажды описать свои подвиги. Почему Эдуарду Лимонову можно, а Дмитрию Семёнову нельзя?! Факультет филологии на Дону пользовался славой кузницы писательских кадров. Семёнов же бредил собственной книжкой. С историей своих половых битв. Особенно с женой. Которая поначалу так умело притворялась.

Живое и коварное отродье! То-то оккупировавшие когда-то Пантикапею безгрудые ведьмы держали в трепете мужское население цивилизованного мира. Но из флибустьеров перекавалифицироваться в писатели не так-то просто. Потому к третьему курсу о писательстве он и думать забыл. Его идеалом на тот час стала не какая-то там шлёндра без правой груди, а совершеннейшая Елена. Пречистая! Богиня. От нежнейших пяток до золотых волос, скромно прикрытых тёмным хлопковым платом.



Мифы-то сказывали, будто козопас Тесей ещё до знаменитого Париса похитил свою Елену двенадцатилетней и застолбил в качестве невесты. Но, похоже, мудрый старикан Протей, взявшийся сохранить её до свадьбы, так засекретил Елену, что через тысячи лет уловить её черты стало практически невозможно. Хотя на пару с бражником Паном можно было зарудить к любой, но – увы. Принцесс на горошинах или таких, как трансформаторная будка – «Не влезай – убьёт!», – и в помине не случилось. Тем паче, что искал-то нимб и крылышки, а в реальной жизни такое – что иголка в сене. Но хоть бродить бродил, однако, в отличие от своего божественного предка, особо не бесчинствовал и без обоюдного согласия моральных норм не нарушал. Не его вина, что на месте Елены появилась Полина. Откуда было знать, что она своего рода древняя Ишполита? Ну кто не с тыквой на плечах всерьёз поплёр бы к такой? По традициям Тёмкиного рода в жёны полагалось брать женщин умильных, отзывчивых. Не тех, что Крым и Рим прошли. Но судьба иначе распорядилась. Утверждают, будто, когда Тесей с Гераклом к ней завалились, Ишполита на радостях собственноручно отдала им свой драгоценный пояс. Забыв о собственных же инструкциях (тоже мне – царича!). Изголодалась девка по... хмм... мужскому плечу. Тем более, что на выбор было четыре плеча, и на каждом двух по одному не такому уж пустому кумполу.

Впрочем, кто сейчас анализирует подробности той давней истории! Он – парень молодой, пылкий. Где надо, выпирает, где надо – наоборот. Кроссворды хрумкает, что яблоки Гесперид. Анекдоты опять же. А целоваться ещё в детстве научился. В общем, погуляли над Доном, выпили по бокалу «Амстеля» (греческого пива). Потом ещё местной чачей разбавили. Тут-то она и шандарахнула его всеми своими мощностями, одним махом отделив его собственный черепок от остальной, сразу завядшей, его части, вплоть до новеньких ботинок. Спрессовав все Тёмкины достоинства в крохотный шарик плазмы, который тут же и испарился под раскалённым металлическим каблучком, что отстукивал победный ритм.

Знаете, как вытанцовывают друг перед другом птицы в весенний гон? Это было из той же серии. Только кроме инстинктов бушевала в ней ещё и некая казуальная несоразмерность – она хохотала над тем, что ещё не было сказано, что не обрело ещё словесной формы. Она ловила Тёмкины мысли на лету, как бы считывая их прямо над его модным в ту пору ёжиком, и куролесила, и неистовствовала в своей победительной экспансии, шурша над его задеревеневшими останками упругим муаром подола с нейлоновыми оборками нижней юбки. Напрочь упразднив принцип золотого сечения в человеческих отношениях. Или... может, тогда над ними синхронизировались частоты вечности? И понеслось...

Влюбился? Трудно сказать... Потерял голову? Это точнее... Но слишком уж она другая была, эта Полина, показавшаяся сначала Еленой. Как непроглядный, затягивающий омут. Как колкий электрический скат. Как иссушающий песок пустыни египетской. И не было от неё спасения. Она высмактывала его, как влажноватую мякоть устрицы из хрупкой раковины. Как оранжевый сок из рачьей клешни. Он ещё не распрощался со своей внутренней несвободой провинциала, он всё ещё искал в ней Пречистую, а она уже влетала в его сны тугим шорохом шёлка и обращённым к нему зовущим лицом, медленно потопуплывавшим, подобно поплавку в сливном бачке.

Взнуздали его, взяли в оборот и с обидной бесцеремонностью повергли ниц вместе со всеми внутренними протестами и маской тонкогубой ироничности, которая прежде так хорошо оберегала его от этих чертовок. Он даже самому себе не мог теперь ответить на вопрос: что это? Конец всему? Или начало? Плоды его нерешительных раздумий были изъедены жирным червем бесконечных сомнений...

Потому что ни ледяного взгляда, чтобы язык прилип к нёбу, ни чётко ограниченной демаркационной линии с нацеленными в него жалами отравленных стрел – ничего этого не просматривалось в смене её личин. Да и вообще, что можно было разобрать в закрутившем их вихре? Всё смешалось, будто в шляпе иллюзиониста, откуда выскакивают мартовские коты и августовские голуби, атласные ленты и благоухающие цветы. И золотые водяные шарик в струе фонтана, возле которого с ней когда-то стояли... Смят. Раздавлен. Уничтожен. И унижен. Ибо оказалось, что под гипотетическим седлом Полины уже до него болталось с парочку чьих-то доверчивых мужских черепушек. И хоть с обладателями тех подседельных голов она, по её словам, не жила, гром, ахнувший в нем буквально среди ясного неба, уничтожил даже так и несостоявшуюся поправку к той мизерной, но всё-таки надежде на полинину святость. Рухнул целый мир! И возродиться ему было не суждено, потому что загулял Тёмка и запил по-чёрному.

Примерно с такими мыслями и скитался он сейчас по каменным ловушкам подземелья, периодически впадая в сон и путая его с явью. Ведь, как человек пишущий, не мог он отказать себе ещё и в воображении. А подстёгнутая алкалоидами фантазия неумолимо возвращала его к той самой плахе, на которой так неосторожно расстался со своей головой.



– Фрррр-чщщщщ! – внезапно послышалось в темноте, и отменный кусок коридора осветился синеватым фосфорическим пламенем. В котором – вот ей-ей так и было! – возникли пышущие жаром рога и вздыбленная холка могучего чудовища. Минотавр! Как ни готовился к подобной встрече, Семёновы колени враз ослабли и зубы сами по себе взялись выстукивать что-то вроде армейской дроби, в след за которой ходуном заходило и где-то в районе солнечного сплетения.

– Хрррр, чщщщщ...

– Д-добрый вечер, – холодея от ужаса, постарался он быть вежливым. Длительность мутаций, которая основательно подпортила божественную природу людей, не давала позитивных надежд. Да и сражаться с чудовищем как ни верти, а было нечем. После долгих упражнений с авторучкой прежней силы в спортивных мышцах уже не ощущалось. Пожалуй, стоило показать пятки. Но время упущено – чудовище шумно дышало и, судя по храпу, рыло копытом землю.

– Добрый-добрый, милстдарь, – буркнуло оно простуженным басом шурыка Вовки. Отлегло от сердца. Никакой не Минотавр. Это Вовка. Нацепил рога и хвост и прикалывается. Артист! Погорелого театра, блин.

То, что и мир – театр, он понял раньше, чем прочитал Шекспира. Когда юного Тёмку за какую-нибудь провинность охаживала скрученным полотенцем мамаша, её мгновенные метаморфозы перед возникшим на пороге отцом заставляли его искать по углам её женские котурны ещё тогда. Наверное, это именно в них она представлялась ему тогда большой и грозной. Рядом же с отцом семенило обычно что-то улыбочивое и кроткое, на коротеньких ножках и в затрапезном фартуке. Так впервые и открыл для себя лукавые законы сцены. И хоть сейчас не мог взять в толк, с какой такой радости полинкин братан вздумал корчить из себя мифического быка, всё же маскарад этот воспринялся им куда лучше, чем возможная встреча с реальным быком.

– Не трусь, дружбан, – снова раздался сильный кашель, и озаряемая синими вспышками расплывшаяся неправдоподобность достаточно ощутимо ткнула Тёмку в бок. – Расслабься.

Тёмка шумно выдохнул. В своё время, разобитенный Полиной, он немало покутил с её братцем, уповая на то, что в своих загулах рано или поздно встретит Пречистую и бросит эту чёртову куклу к чёртовой матери. Но то, что доставляло ему лишь бесплодные хлопоты, прохиндей шуринов всегда получал как Божий дар. Он даже снискал себе негласный псевдоним – Парис: ядовитая тёща и то смотрела на сына с видимым обожанием. Вовка был высок, златокудр, ладно сложен и, хоть глаза имел жёсткого скифского разреза, так проникновенно распевал под гитару о любви, что растроганные дамы вместо чепчиков бросали в воздух собственные бюстгальтеры. Своих поклонниц он щедро заливал шампанским и забрасывал шоколадками и солёными орешками под греческое пиво. И всё это – сияя глазами цвета непостижимой долины Амфиарая. Правда, иногда он начисто забывал обо всех и погружался в какие-то, только ему известные, глубины собственного «я». И о чём думал, какие вселенные представляли перед его замутнённым взором, оставалось лишь предполагать. Но, очнувшись, говорил себе: всё это – вздор и значит не больше, чем вчерашний сон или прошлогодний снег. И бабахал серией предельно незамысловатых анекдотов про армию, от которых дамы, смущённо переглядываясь, млели и вертели пальчиками дырки в салфетках.

В своё время шуринов окончил какое-то престижное военное училище и даже участвовал в неких боевых операциях, но теперь погоны не носил и на работу не ходил. И щеголял в потасканной штормовке, на спинке которой можно было хоть и слабо, но различить витиеватое «В» – всё, что осталось от бывшей надписи «ВДВ». Правда, наиболее романтичные принимали это за след его личной монограммы, что придавало образу условного грека особую пряность. Тем более, что сам он то таинственно исчезал, то таким же образом появлялся, а куда и откуда – всегда оставалось загадкой, ещё больше прельщая женские грёзы. Ибо никто из сильной половины подобного себе не позволял – жёны и подруги о своих мужчинах знали даже то, о чём те не догадывались. Кудреватая же «В» стала спусковым крючком к полёту фантазии многих. Тем более, что Вовка был В-сюду В-хож и В-сегда готов к экстриму. Опасался он только дантистов. Когда его доставала зубная боль, он так искусно отбодрялся от Тёмки тем, что у него... радиостанция в зубе, что... Впрочем, в остальном он вполне соответствовал своему славному эталону и, случись бы ему присудить кому-то из богинь золотое яблоко, он без сомнений бы тоже предпочёл самой могущественной самую красивую.

Сегодняшний inferнальный облик шурина вызвал в Тёмке хоть и тщательно скрытое, но весьма злорадное удовлетворение. Втайне он всегда завидовал шурыку и в нелепом нынешнем его образе усмотрел некий внутренний коллапс. Если бы у златоглавого покорителя сердец всё было «окей», он непременно предстал бы самим собой. Но рога на голове есть рога на голове. И Тёмка с изрядной долей издёвки изобразил перед ними что-то вроде прониического полупоклона.

– Ваше царское величество изволит пригласить меня на поединок?



Величество не отозвалось и, судя по усилившемуся колыханию вспышек, то ли взмахнуло хвостом, то ли нагнуло голову.

– Хрррр...

Пожалуй, рычание всё-таки добра не сулило.

«Ч-чёрт! Не спалось, а привиделось...» – с досадой подумал Семёнов, для храбрости глотнув из шкалика. Вдруг чудище вовсе не шурин? А даже если и он, кто знает, что ветрогону взбредёт в башку? Ведь они в глубине этого каменного мешка один на один. А когда у таких везучиков в головах рушатся равновесные связи... Ооо... Незадолго до развода с Полиной, когда вдвоём с Вовой бражничали в одном забудыжном кабаке, они таки наткнулись на Тёмкину Пречистую. Правда, крылышек и нимба у неё не обнаружилось, но то, что это была она, оба поняли сразу. Таких пшеничных волос и глаз, из которых один был синь-вода, а другой что южная ночь, не могло случиться больше ни у одной. Но, как и следовало ожидать, рядом с богиней восседал её бритоголовый Менелай, и шансов на рога не усматривалось. Опечаленный, Тёмка уже вознамерился утешиться девицей за соседним столиком, но тут этот ветреник без тени сомнения отмаршировал к досадно замужней Пречистой и в какие-то четверть часа, напоив её Цербера вусмерть, оставил будущего писателя с носом. Он увёл Елену, не удостоив сокрушённого соискателя даже победного клнча.

«Подлец!» – как и тогда, грохнуло в висках, и негнущиеся от волнения пальцы Тёмки осторожно нащупали бутылку. Врезать фигляру промеж глаз – и дело с концом!

Но коридор был узок и, если что-то не сработает, рогатая скотина вмиг растопчет его. В своей искажённой трансформации он и не вспомнит, что когда-то оставил бедного Тёмку у разбитого корыта!

– А чем тебе не понравилась первая идиома, приятель? – вдруг заржал Минотавр, и синие фосфорические искры, снова озарив лабиринт, взметнулись к сводчатому потолку. То ли это плясало воображение, то ли так всё и было, но бык почему-то основательно уменьшился в размерах и сейчас напоминал скорее собаку с полыхающей пастью. Про такую Семёнов где-то читал. Или в телеке видел.

– Ты кто? – озадачился он. – Ты, вроде, только что был Минотавром...

– Какая разница, – беспечно отмахнулся пёс. – Я – инстинкты в формах. А формы бывают разные. Особенно во сне. Я есть ты, и он есть ты. В сущности, мы разные, потому что мысли у нас разные. Но вообще-то мы – одно. А общее у нас – наличие носа.

Собака шумно задышала, вывалив огненный язык.

Семёнов представил себя и Пречистую в одном теле. Носов получалось, естественно, два – её и его. Да и тела, надо признать, друг в друга как-то не вполне вписывались.

– Ленка? Ленка немного другое... – согласилась собака. Ленка, конечно, твоя идея-фикс, братец.

Собеседник задумчиво посмотрел на Тёмку, будто прикидывая, поймёт ли он то, что сейчас ему поведают. Наверное, вывод оказался в его пользу.

– Но сама-то идиома для нашего с тобой случая вполне подходящая. На Земле оставить друг друга с носом – закон выживания. Большая рыба ест малую, а сильный отбирает кость у слабого. Ведь так?

– Но мы с тобой друзья, – напомнил помрачневший Семёнов.

– Друзья? – рассмеялась собака, и с её языка хлынул фосфоресцирующий водопад. – Дружба – карман-обманка. Он скрывает прожжённую дыру на штанах. А под ним голая задница.

Они свернули в боковой отросток коридора, и Тёмка ощутил запах близкой зелёной травы – выход был где-то недалеко.

– Но мы ушли от носов. Ты, кажется, утонул в частностях, дружок, – разглагольствовал пёс. – А ведь именно носы – главный атрибут мироустройства. – Собака фыркнула, как если бы попыталась засмеяться.

– А помнишь, какой нос был у Менелая? – вдруг поинтересовалась она и, задрвав заднюю ногу, клацнула блоху. – Знатный был нос. Не хуже ослиных ушей Траяна. Ты, кстати, понял причину Троянской войны? Не понял? Ну как же! Парис натянул нос Менелая, и тот бросил под его стрелы тысячи спартанцев. Менелай-то был родом из Спарты. Улавливаешь связи, писатель? Если хочешь писать, умей увидеть то, что не видят другие.

– Другие – это белковая масса, – сочла нужным пояснить псина, потому что Семёнов недоумённо хлопал глазами. У собак зрение способно это различить даже в полутьме – собаки куда совершеннее людей.

– Масса вообще ничего не видит, она подчиняется, – всё тем же Вовкиным голосом глаголило странное животное, рассыпая искры, поминутно освещающие стены, поросшие мхом. – Ну возьми хотя бы выборы. Любые. От президентских и до сельсоветов. Кому есть дело, кто будет на посту? Только тем, кто знает, что за это получит. А масса – что? Она идёт туда, куда ведут. И в этом смысле нос – главный.



Как штурвал у корабля. Чем он мощнее, тем лучше. Загляни-ка в Википедию – какой гипнотический нос был у Наполеона. А у Гитлера? И у Сталина. Даже... у Андропова. У Андропова он помельче, но тоже... Этот небольшой выступ на лице клюёт серое вещество каждой человеко-единицы. И вдальбливает ей то, что потом оставит с носом миллионы. Назови это парадигмой, национальным самосознанием или того проще – патриотизмом, – термин сути не меняет. Идея, главное. А дальше только набат, гнев Божий и воинский долг. Нос – это знамя, под которым сейчас убивают в Сирии. Как до того убивали в Ираке и Ливии. И ещё раньше, когда тоже кроили планету. А в истоке движения – желание натянуть кому-то нос. Масса воспринимает это как гнев Божий. Вспомни Сараево. 28 июня 14-го: убийство Франца Фердинанда Гаврилой Принципом. Кстати, с такой фамилией он и не мог поступить иначе. Миром управляет слово и число. Принцип – он и в политике принцип. А принцип в политике – это система чисел. 23 июля: австрийский ультиматум Сербии. 25 июля: австрийская частичная мобилизация. 27 июля: русская частичная мобилизация. И вот тебе 4 августа. Грянул гнев Божий – воевал почти весь континент. Началась Первая мировая. А в результате? Европу покروили по новому фасону, порезали в угоду нескольким носам, а миллионам – носы натянули. Чтoб умнели. И только потом, позже, когда на всяких очередных хитрых идеях подрастут новые, носы которых не нюхали пороха, всё повторится. И за Первой мировой придёт вторая, за второй... Белковая масса сродни тараканам. Эти твари тоже, небось, почитают дихлофос за гнев Божий, а в промежутках между экзекуциями даже строят всякого рода мальтузианские теории. Носы у них слишком короткие, чтобы на вещи взглянуть чуть шире.

– Ты, вроде, раньше был по девочкам, – пробормотал несколько ошарашенный Семёнов.

– Разумеется, – весело оскалилась собака. – Девочки – это совсем другое. Но когда сунешь свой нос в акупунктуру планеты, кое-что начинаешь дотумкивать. К примеру, что вся наша жизнь – выдутый чьим-то носом пузырь. И мы на нём только верхняя плёнка. Потому я предпочитаю вино. Когда я пью, я вижу суть мира.

И собака деловито шмыгнула за Тёмкину спину. Ему даже показалось, что она что-то лакает.

– Не зря я пью вино на склоне лет, – подтвердил догадку голос шурина.

Заслужена его глухая власть.

Вино меня уводит в глубь меня,

Туда, куда мне трезвым не попасть.

Девочки – кайф, это конечно. Хотя и они – тот самый пузырь. И, кроме того, Семёнов, так много учений! Кому следовать? Моисей сказал: всё от Бога. Соломон сказал: всё от ума. Иисус сказал: всё от сердца. Марк сказал: всё от потребностей. Фрейд сказал: всё от секса. А Эйнштейн и вовсе заявил: всё относительно!

Животное с любопытством посмотрело на Тёмку.

– Возьми даже меня, милстдарь: в одном случае я – человек, в другом – призрак человека. А в третьем и нет меня вовсе. И всякий раз я разный. И мысли у меня разные. И цели... Да и сама жизнь – согласись... Один нажим на сонную артерию – и ты в лучшем из миров.

Внутри фосфорических вспышек за плечом Семёнова гулко рассмеялись. Показалось, что голос прозвучал сразу со всех сторон.

– А ты всё «Елена-Елена». Мечешься вокруг своих рогов, тьфу... Кстати, Ленка, когда я от неё сбежал, тут же снова сошлась со своим Менелаем. Потом нашла помоложе. Потом – постарше, и стала состоятельной вдовой. У них ведь – как? Кто-то собирает кошек, а кто-то – мужиков. И никаких нимбов с крыльцами! Дело Елен – увеличивать народонаселение, а герои, вроде тебя, сочиняют мифы. А масса хавет и верит. Ей надо во что-то верить. Впрочем, не будь и этого, на Земле остались бы только животные: лошади, быки, коты... Люди бы давно перебили друг друга. Мы ведь все великие надуватели пузырей, приятель... Впариваем всякую муть в чужие мозги, а сами друг другу носы натягиваем. Правят миром обман и деньги. А говорят, только деньги. Не верь!

В сумерках заскрежетали проржавевшие петли, пахло землёй и лёгкой затхлостью. Часть стены, словно декорация на театральной сцене, ушла куда-то вбок, явив Тёмкиным глазам освещённый невидимой лампой зал. Он был уставлен какими-то ящиками, тюками и запечатанными коробами, из прорванных обшивок которых что-то тускло поблёскивало. Возле нескольких бутрились горстки золотистых кружочков, присыпанные густой пылью.

– Смотри! Это же деньги. Тысячи наполеондоров и лудиров, – раздалось за спиной. – Сам великий Наполеон ссыпал в эти подземелья золотые слитки, которые украла его армия. А ещё через век здесь же запрятал янтарную комнату и всё золото из русских сокровищниц небезызвестный тебе Гитлер. Тысячи



тонн золота и бриллиантов, на которые можно было бы накормить планету. А что в результате? У непобедимого Бонапарта полегла вся армия. А имя Гитлера до сих пор под запретом. Хотя под боевые фанфары немцам обещали новый Иерусалим и Эдемские кущи. Тщета, Семёнов. Всё тщета и суeta суeta, замешанная на обмане.

Собакобык фыркнул. Наверное, рассмеялся. Ах, нет, животные не умеют смеяться. Говорят, нет у них чувства юмора.

– Кто сказал? – сурово спросил странный собеседник. – Я готов доказать обратное. Может, он даже вернётся в реальный мир... Если, конечно, я не сумею его убедить.

– А может, и не вернётся, – добавил он после короткого раздумья. – Не гарантирую. Пришла пора... как это в Писании... отделять овец от козлищ. В XIV-XVI веках в Европе было взрывообразное увеличение человеческой популяции. Жизнь тогда ничего не стоила... Но всё разрулилось с помощью освоения Америки и Австралии. А сейчас *ex oriente lux* (свет с востока), снова лавинный рост популяции, только уже в странах арабского мира. Это серьёзнее – те сожрут или я, разницы нет... Вот и держи нос по ветру, приятель. Нос – это мостик между вчера и сегодня.

– Но для будущего...

– В будущее ещё надо попасть, – мяся лапами землю, заметил... кот. Он появился из-за спины так же внезапно, как перед тем собака. И показался Тёмке неправдоподобно большим, больше собаки. И глаза у него были ледяные. Как глаза киллера.

Гигантский кот улыбнулся и подмигнул.

– Держись за меня, писатель. Если что, я здесь все входы и выходы просёк. Пока этот чёртов пузырь не лопнул. Да и в случае проблем с арабским или русским миром... Да хоть бы и с американским! Мы с тобой отлично вложимся в Землю. Её ведь больше уже некому сотворить. Мы с тобой друзья, и я даже хвост подберу, чтоб тебе места хватило. И главное, в этой трижды грешной Земле, как и в твоей Греции, всё есть, даже стратегические запасы алкоголя. Я их уже нашёл. На наш век хватит. А захочется снов, выдзем с тобой и Пречистую. Только не вздумай засматриваться на её нос!

– Ну и дела... – хмуро бубнил себе под нос Семёнов, выбираясь на поверхность вслед за котом, который вдруг снова оказался обычных размеров и привычно-дымчатого цвета. – Хорошо ещё, что в рейсах я читал только греческие мифы. А то бы и не такое привиделось!

ЛЕВОН ОСЕПЯН

ВЕЛОСИПЕДИСТ

рассказ

Часть I.

МОНОЛОГ, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ...

Он был тучен, как, впрочем, и большинство тридцатипятилетних.

– А что вы, собственно, имеете против?

– Я вам дорогу перешёл?

– Что за печаль о моём весе? А хоть и сто... Могу и больше потянуть после лета!

Жизнь его пристокала без особых происшествий.

– Если не считать развода с женой!

– Впрочем, шума особенного не было.

– Как мужчина я её не устраивал!

– Так она заявила в суде...

– И, между прочим, поверили!

– У меня, возможно, действительно не очень мужественный вид...

– Но зачем так грубо!

– Я ведь всё-таки интеллигент...

Некогда получил он высшее образование...

– Теперь уже поздно жалеть.

– Лжёншь!

– Работа не в сладость!

– Да я ведь ничего другого не умею!

– Вкальваю за свои 180. Очень прилично. Для провинции, разумеется, особенно, если учесть, что платить этой стерве (то есть бывшей жене) по алиментам не приходится. Благо, детей завести не успели...

Жил в отдельной квартире.

– Двухкомнатную не дали.

– Да и зачем мне, холостяку (в нынешнем моем положении), двухкомнатная квартира?

– Кто её убирать-то будет?

– А ведь одних книг – тыща! (Конечно, можно сказать и тысяча, но «тыща» мне как-то больше нравится!)

– И не приставайте ко мне со своей «культурой речи».

– Нравится и всё!

– Вот только вода протекает, когда из крана, когда из труб...

– И нет на неё никакой управы.

– Всё, всё проржавело в этом доме!

– Это просто невыносимо!

– Кап, кап... по мозгам.

– Кап, кап... из кармана...



- Только телевизор и выручает. А то бы...
- Нет... на это я не решусь...

Он был нерешителен во многих ситуациях...

- Во-первых, – с водопроводчиками.
- Во-вторых, – с женой.
- В-третьих, – с начальством... и ещё, и ещё, и ещё...
- А ведь можно было бы с ними и поругаться! (Сядут, ей богу, сядут на шею! А, может, уже сели?)
- Но, с другой стороны: 180 плюс премия на квартал, путёвка какая достанется. Вроде на всё хватает... Чего ещё надо?
- Правда, есть «подстрекатели»: «Друзья твои уже – О! где ворочают делишками – а ты, рохля (это я-то рохля!), всё в старших инженерах... Да мы бы на твоём месте...
- Так бога ради, «залазьте» на моё место! Поживите недельку, другую... небось на своё захочется!

К женщинам относился он категорически...

- Это после моей стервы (то есть бывшей жены).
- Ох, и стервозная баба! Как она помыкала мною!
- Вспомнить тошно!
- И сейчас пытается! Только на – выкуси! Не выйдет!
- Нет, надо же до чего мужика довела, два слова нормальных о ней выдать из себя не могу... так и тянет сказать что-нибудь крепкое...
- У меня через неё неприятие к женскому полу...
- В голове звон, а виду напустят!
- И все они такие!
- Вертихвостки!
- На данный момент отношусь к ним настороженно.
- Особенно к этим молокососкам: как бы не женили!
- Это они здорово умеют, а характер у меня вы сами знаете какой...

Характер был у него неважнецкий.

- Жена ушла – раз!
- Фигура округла – два!
- Одышка – три!
- И вы хотите, чтобы без комплексов?!
- Нет, вы покажите мне интеллигента без комплексов?!
- А предки у меня какие были, знаете?
- Во какие! В кулаке держали, царство им небесное.
- До сих пор отца с дрожью вспоминаю.
- Лихой на расправу был.
- Лупил и не раз лупил. Боялся я его...
- И сейчас боюсь.
- А особенно, когда ночью приснится! Высокий, статный, злой...
- Вот так ночами и гоняется за мной с топором.
- Порешу! – кричит. – Пришел твой черёд!
- Нет, пусть уж эти друзья, что обо мне так заботятся, лезут на моё место. Уж я бы посмотрел, как они взвыли!

Впрочем, друзей у него не было (как и у многих сейчас).

- А если б и были, что толку?
- Разве расскажешь им о себе правду?
- Что – на уме, что – на сердце...

**Скучал...**

- Скучно!
- Друзей у меня нет. Впрочем, их никогда и не было.
- Предки боялись дурного влияния...
- И потому мой почтовый ящик пуст.
- Мне неоткуда ждать писем.
- Газет я не выписываю. Пользуюсь общественными, если придётся.
- Ящик пуст. Пуст каждый день.
- И зачем только я привесил его к двери?

Велосипед.

- Я вижу этих детишек, когда возвращаюсь с работы.
- Они беспечно гоняют на своих разномарочных двухколесных чудовищах, грозясь меня задавить!
- Всё быстрее и быстрее крутятся их колёса!
- Когда-то и у меня была такая машина!
- Только на улице выезжать запрещалось. И я «выпиливал» виражи, повороты в нашем небольшом и ухоженном дворе...
- Зачем они купили мне велосипед?!
- Я прохожу мимо этих детей каждый день, и каждый раз они проносятся рядом со мною, через меня и даже насквозь! С таким восторгом, нажимая на педали и крича что-то своё, непонятное, детское!
- Я завидую им?
- Может, и мне?
- Да, вроде, неудобно. Солидный человек. На детском велосипеде?!
- Дурацкая мысль!
- Там за домом – проспект – адское движение в часы пик!
- Туда нельзя! Опасно...
- Зачем же я беру оставленный кем-то велосипед?
- Сиденье маловато для моего зада.
- Давно не колесил я по свету!
- Крути, крути, подлец, педали!
- Но зачем же я еду туда?
- Там ведь смерть!

Он был тучен (как, впрочем, большинство тридцатипятилетних)...

Жизнь его проистекала без особых происшествий...

Некогда получил высшее образование...

Жил в отдельной изолированной квартире...

Был нерешительным во многих ситуациях...

К женщинам относился категорически...

Характер был у него неважнецкий...

Друзей не было вовсе...

Скучал...

Наконец, украл детский велосипед...

По поводу обстоятельств смерти имелось три версии:

- покончил жизнь самоубийством,
- жертва случая,
- погиб, спасая людей от автомобильной катастрофы (версия, которая, впрочем, была очень сомнительной).

Часть II
ГРАНИ

Антология документов, слухов, разговоров, показаний, проливающих свет на некоторые обстоятельства...

Из служебной характеристики (за подписью парторга, предпрофкома и начальника учреждения, где покойник проработал последние пятнадцать лет жизни): «...выдержан. В отношениях с коллегами ровен. Политически грамотен, систематически повышает уровень своей квалификации. Дисциплинарных взысканий не имеет. Судимостей и родственников за границей – тоже...»

Показания отца «пострадавшего» (украден велосипед стоимостью 120 рублей) мальчика...

– Смотрю я в окно: где там мой Юрка – ужинать время – и вижу, как этот самый, покойник теперь, подходит к нашему велосипеду (а Юрки-то, балбеса, нет: ушёл куда-то), подходит, значит, так боязливо, оглядывается по сторонам, это чтоб, значит, не заметили, и хватъ велосипед (а у самого-то руки дрожат от страха) и покати... да как! Смех один, а, с другой стороны – на нашем велосипеде да на проспекте... Ну, думаю, пропала машина... Ну, думаю, Юрка, всыплю тебе за угробленное добро, а если ничего не случится, всё равно всыплю, впрок...

Из анонимки (листок в клетку, вырванный из школьной тетрадки, почерк женский, старческий) «...пьянки устраивает, баб водит, подлец! И вообще, не отвечает моральному кодексу нашего советского человека...»

Из показаний прохожего (интеллигент, сорока шести лет, лысоват, тучен):

– Вылетел прямо передо мною.
– Что-то бормотал.
– Нет, на самоубийцу похож не был.
– Скорее, одержимый. Какой-то идеей.
– На повороте его «зацепил» грузовик (удар был сильный, тело пролетело метров пять, ударилось о стену, шлепнулось об асфальт).

Из письма матери к сыну (10-летней давности): «Почему ты не пишешь, сынок? Знаешь ведь, как жду от тебя каждой весточки. А без тебя трудно. Одиноко. Если б ты был (или стал – неразборчиво) маленьким!»

Человек, который назвался его другом (пожелал остаться неизвестным):

– Он всегда чего-то боялся.
– Как мне кажется – смерти...

Голос в толпе зевак:

– Самоубивец!
– Да я сам видел! Он так и юркнул под колесо.
– Сперва огляделся, это чтоб наверняка, и юркнул...

Полуслепая старушка:

– Молодой касатик-то был, царство ему небесное...
– Кому как не молодым жить, а они мрут, как мухи...

Профессор (руководитель его дипломной работы):

– Мямлей он был.

Семилетний малыш, перебежавший улицу, ничего не мог рассказать следствию: он просто увидел огромную машину о десяти колесах и большие удивлённые, а затем – испуганные глаза велосипедиста.

Малыш не мог рассказать, как случилось, что этот взрослый дядя взял да и свернул руль налево, под колёса машины, навстречу смерти. Никто не заметил этого малыша. Только удивлённые, а затем испуганные глаза велосипедиста. За секунду до смерти...



Часть III
ДНЕВНИК

24 января 1979 г.

Хмурое утро. И день не из радостных.
Поругался с начальством. По мелочи.
Из-за каких-то водопроводных труб.
Мне бы стерпеть, не поднимать эту треклятую телефонную трубку...
Не было бы и разговора. И неприятностей тоже.
Теперь лишат премии...

3 февраля 1979 г.

Так и есть! С премией прокатили!
Начальство теперь не здоровается. Так-то!
Сиди и не рыпайся.
Впрочем, наплевать.
Обойдусь и без премии, и без этой фальшивой улыбки директорской...
В зеркало бы глянул, когда улыбается – смотреть тошно!

8 марта 1979 г.

!!!
Если всех поздравлять...

18 апреля 1979 г.

Сегодня был в Москве.
Какая капель у «Лермонтовской»!
Чудо! Стоял минут тридцать.
Смотрел, поражался и слушал.
Везде лужи. Промок до нитки.
А обсушиться негде.
Как всегда людно.
И одиноко – даже в этом людвороте...

Май 1979 г.

На днях встретил школьного друга.
Сидели, можно сказать, за одной партой.
Хронический алкоголик. Безнадёжен.
Глуповато улыбается. Осознает, что подонок...
Но сил изменить себя нет.
Ещё года два-три... и сдохнет в придорожной канаве.
Живём в одном городе (можно сказать – городке), а я только сейчас узнаю об этом...

18 мая 1979 г.

Эта квартира меня довела!
Опять текут краны!
Опять приходили эти алкаши-водопроводчики и вымогали на бутылку.
Не могу смотреть на их противные рожи.
К тому же – от них разит перегаром.
И как!..

26 мая.

Полетела прокладка! Сколько можно её менять!



27 мая.

К чёрту!

3 июня 1979 г.

Опять спешился с начальством (теперь это частая картина).

По поводу пятиминутного опоздания!

А то, что мне три пересадки в пути, так это всем до лампочки!

15 июня.

Опять приходила эта стерва (бывшая жена) и вымогала деньги на новую стиральную машину.

Однако, она подурнела!

4 июля 1979 г.

Сегодня один из малышей в нашем дворе чуть было не наехал на меня на своём двухколесном велосипеде.

И я почему-то испугался.

5 июля 1979 г.

Опять он проехал мимо меня с каким-то воплем.

Этот одиннадцатилетний мальчуган.

И снова я испугался. С чего бы?

6 июля.

Смотрел «Безымянную звезду».

Какая-то чушь собачья.

А всем моим на работе понравилось!

23 июля.

Эх!

24 июля.

Письмо, что ли кто бы написал?

Стал перебирать по памяти, кто бы мог...

Не вспомнил.

Грустно так жить.

25 июля.

День обещает быть солнечным... а, значит, и радостным...

Дневник (если он когда-либо существовал на самом деле) в тот же день он отослал на главпочтамт, до востребования, но почему-то забыл указать фамилию получателя...

ЭПИЛОГ

Велосипед не пострадал и после выяснения обстоятельств дела был возвращён владельцу, одиннадцатилетнему школьнику...

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

НЕОБЪЯТНЫЙ БУЩУЮЩИЙ ДОМ

Просыпайся от стука опасных, скрипучих дверей.
Ветер странствий устал и пришёл отдохнуть в отчий дом,
Отдаляясь от гавани старых, больших якорей,
Мы вливаем во времени тёмный, ветвистый разлом...
Мир – песком на ладони, он здесь потеряться бы рад,
Он бы здесь же разъял, раздробил на кристаллы зарю,
Мы найдём амулеты из города Тонущих Врат
У песков золотых, в Атлантиды подводном краю...

ЯРОСЛАВНА

Тяжко развеяно горе твоё, Ярославна.
Коли ослепнешь, – руками простор прибереги;
Горше оставленной князем скорбящей земли
Взгляд твой окрест – по кочевьям щемящие дали
Старцам и девам молящимся чутко внемли,
Ты под высоким, под небом, не плачь, Ярославна...

Пойдём, погуляем, поищем небесной воды,
В которой плывут, в отраженьях небес, корабли.
Пойдём, погуляем, поищем ночью порой,
Как движется ветер, плененный небесной игрой...

Как рыбы, лишённые *моря*, мы *неба* рабы,
Мечтаем о тайнах небесной заветной игры,
Болтливые рыбы молчат в океане ночном,
Который для них – необъятный бушующий дом...

Лиманы, ночь, где тростники поют,
Мерцают огоньки. Небозримы
затоны, заводи утерянных минут,
и рыбы-тени проплывают мимо....



Лист грозовой пусть трепещет на ветке,
Жизнь, как гроза, полыхает вдали,
Светятся в небе мгновенные сетки
Молний, пронзающих тело Земли...

КАК СПЯТ СЛЕПЫЕ...

Не ужасайся – просто погляди,
На тех, кто *слеп*, им ломкий страх неведом,
Явления внутри себя изведав,
Они парят над городом в тиши...

Они летят без времени внутри,
Они почти что призраки живые;
Не ужасайся – просто погляди,
Как спят слепые...

НА МОТИВ БОРХЕСА

Вы читали «Праведников»?..

Воздвигать сады, как завещал Вольтер,
И радоваться музыке, комете,
И удивляться единенью сфер...

В кафе на юге двое за игрой...
Прихлопнуть зазевавшуюся муху,
Что злобно кружит над моей ладьёй...

Горшечник форму находивший в цвете,
Печатник, перебравший строки эти –
Ему не нравится их странный строй...

И ты, писавший мрачные романы,
Коснёшься пальцем спящего шакала,
Как это делал старый Стивенсон...
Все мы в самозабвении полном
Спасаем мир.
Дыханье наше – волны,
Которым не знаком сухой застой...

В ГОРОДЕ МАЛОМ

В Бежце

Чудесно обрётённый град!
Какие малые домишки,
Они как мишкины коврижки
И пряники сто лет назад!..



И к каждому домишку – сад,
Запущенный и опустелый,
Как будто бы простилась с телом
Душа тут много лет назад...

И в запустеньи – старина,
Которая – в резьбе под крышей,
Под нею притаились мыши,
Их сторожит котов чета...

У бормочущей гулко бессонной воды
Вспоминаются смутно иные миры,
Будто кто-то покинувший старый вигвам
Долго шёл вдоль реки по утерянным снам,
По земным, полустёртым следам...

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ АБАЕВОЙ

*Не пойму я, что творится, –
то ли долгим клювом птица
за полночь стучит в стекло,
то ли небо протекло
и теперь на крышу плещет,
то ли ветер веткой хлещет
в тёмное мое окно...*

*Взглянешь – мёртво, тени длинные,
за озябшею осиною
светит тихая звезда
ниоткуда в никуда.*

Л. Абаева

Отстучала клювом птица
В полночь небо протекло
В темное твоё окно...
И душа твоя девица
В небо взмыла
Засветилась
В небе новая звезда
«Ниоткуда в никуда».
Не бывает в небе света
Каждая душа – комета,
Каждая душа – звезда.
Вот откуда и куда...
Плещет крыльями Жар птица.
Глянешь – это
Царь-Девица
Глянешь – это
Царь-Звезда.
Вот откуда и куда.



ЛЬВУ БОЛДОВУ

*С той поры, как я узнала его стихи, не было дня,
чтобы я не вспоминала его две строчки стихотворения «Ключи отрая»:
«Земную жизнь, пройдя до середины,
Я постоял и повернул назад...»*

А. Миллер

Ты постоял и повернул назад,
Земною жизнь не вняв до половины,
А Бахус-Пан всё выгибает спину
И в чаще прячет свой тяжёлый взгляд.
Ты постоял и повернул назад,
Ларису Миллер ты едва увидел,
Тебе бы чашу подносил Овидий,
Когда б у времени сбывался ход назад...

ВЗГЛЯД ГЕКУБЫ

По мотивам графики В. Чурика

Мой меч и во сне не дремлет,
Он посохом прорастает...
Пусть вдаль поглядит Гекуба,
Я буду сновидеть вновь...
Пусть пальцы из тьмы протянет
Таинственная Тиана;
Тиана – моя цыганка,
Тиана – моя любовь.

В МИНСКЕ

Вад. Салееву

*Русь Белая – владычица теней
II город бел и стены белотканны...*

Кресты церквей – как истинный исток,
Небесный свет – и запад и восток, –
Единины здесь, священно перевозданны.
Над нами облака, – белеет неба свод,
А солнце тени тёмные кладёт
От дерева до дома, до фонтана, –
Кто лебедя водой поить идёт?..
Тень мальчика тихонечко поёт
И лебедь шею изогнул так странно...
Журчит вода, день яркий настает,
Я тени прочитал сумел спонтанно...¹

¹ «...В центре города ...В Александровском саду, в 1874 г., появился оригинальный памятник скульптуры – небольшой фонтан из скульптурной группы – мальчик и лебедь» (Вадим Яр, «Силуэты Минска», Минск, 2017, с. 9).



У каждого дома своя тишина,
Никто не глядит из окна.
Над домом свечение лунных полей,
У дома огни фонарей.
У каждого света своя тишина,
Никто не глядит из окна.

Авву Прыгунову

На наковальне дремлет молот,
Сказав стеклу своё «Прости!»,
А за окном и грязь и холод,
И не проехать, не пройти...

Всё взорвётся в слепом повороте
Надорвавшимся солнцем планет,
Разольётся мерцающий свет
Над крестом затонувшей Голгофы...

ОЛЬГА АНДРЕЕВА

В ДОИСТОРИЧЕСКОМ ДВУХТЫСЯЧНОМ ГОДУ

Каким языческим богам
молиться, чтобы солнце встало,
тумана мягкие кристаллы
осели вниз, к моим ногам?

Я не одна, когда пишу.
Мысль не нова – и слава богу.
Парадоксальную тревогу,
когда не пишется – ночью

на лгущем радостном лице,
не поднимаясь вверх из трюма,
зане поэты – это цех
избыточных, живых, угрюмых.

Не тесен мир – да узок круг,
прекрасен, да недолог праздник.
И выскользнет кольцо из рук –
потом свеча, дрожа, погаснет.

Но – утвердить стихом свой бред,
раздвинуть стиснувшие кольца
и нанести посильный вред
морально-неподъёмной пользе.

Глумится явь, блазнится даль –
будь пристальнее, соответствуй.
И надо всем плывёт миндаля
дрожащей горечью из детства.

Вот и дом мой становится домом,
а не временным стойбищем чукчи,
ожиданьем. Здесь даже уютно
разным пришлым, пришельцам,
поскольку



даже те, кто совсем за кордоном,
не упустят в лице моём случай
утвердить свои мантры прилюдно –
я ведь с ними не спорю, что толку.

Я купила в Косом переулке
или может быть, где-то скачала
увертюру воскресного утра, –
в этой музыке звуки Начала,
в шесть утра моя верная Букля
вносит почту посредством принтскрина.
Небольшая прополка в фейсбуке –
мой цветник, бастион и витрина.

Научилась спасаться работой –
отупение вылечит душу,
вечный сон – неплохой анальгетик,
только это уже переборхес.
Надо мною довлееет суббота,
время Ч, эти кошки-кликлуши,
браконьерский нежнейший букетик,
частокол черенков вдоль заборов.

ДОРОГА В ОБХОД УКРАИНЫ

Я когда-то умела одна уходить в ноябри,
вот бы вновь научиться –
и пусть перемочат друг друга
все Дантесы, неважно, а значимо то, что внутри,
утро больше не просит пощады, срывается с круга,

власть фальшивит донельзя – наверное, будет война,
что ты, я ж пацифистка, я даже футбол не смотрела,
я когда-то могла, в ноябри уходила одна,
только как тут уйдёшь – отвлекает гипноз перестрелок...

Взять дорогу за шкуру и вытащить вдаль, за бугор –
это, в общем, несложно – но душу в объезде не направишь,
сквозь фантомную боль – неизбежный себе приговор
отовсюду – устами детей, и рассветов, и клавиш.

Пётр казнил бы меня – я всё время пишу, запершись,
а у нынешних хватка не та, комильфо – а туда же,
скрепы ищут – и степлером ржавым прошьют твою жизнь,
никуда не взлетишь – на обрезанных крыльях лебязьих.

Не успевает вылиться слеза,
от глаз назад отторгнутая словом.
Жизнь коротка – и всё-таки нельзя
всё время в ней захлёбываться новым.

Я не успела надышаться тем,
предутренним, рассветным впечатленьем,
но наполнили десятки новых тем,
и каждой срочно нужно разрешение.

Уйдите все! Хочу наедине
с единым образом в себе остаться,
чтоб до конца, до чёртиков, вполне
наговориться или разрыдаться.

«Я птица, птица, птица, птица» –
меня разбудит в полшестого,
и невозможно притвориться,
что это щебет, а не слово,
что не слежу, как Луч на листья
льёт изначальное – «любите»
и не спеша, походкой лисьей,
уходит по своей орбите.

В доисторическом двухтысячном году,
когда ещё светили в небе звёзды,
я разглядела в нём свою звезду,
я разглядела, только было поздно.

Пришилиен новостройками простор,
орлы упали, обратились в решки,
отпыхал сиреневый костёр,
разобранный вчера на головешки.

Мне никогда не надоест рассвет.
Деревья – это истинные храмы,
в отличие от выстроенных нами,
в которых меркнет свет и Бога нет.

В один троллейбус дважды не войти –
но я уже ступила в эту реку,
и вам со мною вряд ли по пути,
вам, уважаемому человеку.

Меня здесь кто-то странно утешал
видением то ангела, то розы,
и трепетным дыханьем осушал
мои нереспектабельные слёзы...

В пустом саду двухтысячной весны
сирени куст свой реквием исполнил.
Мы невнимательно смотрели наши сны,
и вот, проснувшись, главного не помним...



Пора придумать кличку чемодану,
он, верный Бим, бежит со мной по полю,
по тротуарам, а на перевозданной
траве за поводок тащу на волю.
Анри? Малыш? Дружок? А может, Ветер?
И – не одна, но рта не раскрываю.
Мой пёс послушно прыгает в трамвай,
потом – дорожки из тырсы, из карста...

...Здесь Лермонтов учился по-татарски,
спускался в бугроватый переулок,
попридержав коня. Дрожало утро,
Машук сиял...

Устану от прогулок,
начнётся тихих строк сокодвиженье,
опилки в голове дождутся искры,
и обрету права – не на вождение –
на сыр адыгский, чистый понедельник,
на сетчатость воды озябшей быстрой,
на свет багряных листьев виноградных,
на долгий кофе, на мои тетради...

Я учусь не падать на ровном месте,
я учусь не взрываться от кислорода,
и не видеть цунами в уксусе с содой,
и не видеть хамства в повадках теста,

в бочку мёда не вбрасывать ложку мата,
не смеяться в самом гнилом болоте.
Я учусь адекватности автомата.
Научусь – и пойду на автопилоте.

Лекарство от тоски – стволы волнистые.
Там, где меня коснётся их прохлада,
я растворяюсь со своими мыслями,
здесь нет меня – и ладно, и не надо.

Лекарство от себя – кривые улицы,
их жаркие полдневные контрасты.
И – странно злиться, хмуриться, сутулиться,
и день даст хлеб, и ночь подарит счастье.

И гибкими заштопанные лозами
бесформенные дворики глухие,
И – гомеопатическими дозами –
поэзия и трудотерапия.

ВЯЧЕСЛАВ КАРИЖИНСКИЙ

НОЧНЫЕ ПОЕЗДА ОРКЕСТРОМ АРИТМИЙ

ПРОЗРЕЙ

Прозрей безбрежность молний в эмпиреях,
их пустоты рычащие грома;
бездушие Хамсина и Борея,
снедающих дороги и дома;
механистичность времени и жизни,
как расписание дней и поездов –
и в жерновах – рожденья, свадьбы, тризны,
и первый снег, и майский свист дроздов.

Прозрей немилосердие природы
и пищевой всевластие цепи.
Не мысленно войди в их злые воды,
но собственною плотью претерпи,
подставив шею хищнику и раны
позволив рубцевать сухим ветрам.
Стань жертвой палача или тирана,
расстрела ожидая до утра.

Прозрей безбрежность каждого деянья,
всю боль земли в кровавом одеянье,
безбожностью позволенные быть.
Придя в себя,
не дай себе остыть.

Когда поймёшь, что правды нет и выше,
что ни добра, ни зла, ни Бога нет,
тогда в себе творца ты вдруг услышишь
и воля даст законченный ответ.

Быть пастырем стадам неприручѐнным,
учить иных тому, что знаешь сам,
и вместо ливней да напрасных молний
искомым смыслом брызнут небеса;
и ежели в душе, пропедшей муку,
ещѐ найдѣтся место для любви,
творить её по образу и духу
той грѣзы, что плескается в крови,
той сказки, что записана в крови...



Когда нагрянут новые метели,
ты простишь всю ночь у колыбели
со скрипкою недремлющей в руках
сторожевым неангелом в веках

иль вестовым весны над зимней толщей,
созвучьями окутывая спящих,
мелодиями согревая вящий
проталинный свой мир.

А надо ль больше...?

У ВРЕМЕНИ ЕСТЬ ЦВЕТ

У времени есть цвет
и вкус своеобразный,
его незримых струн
мотив необратим.
Под пылью вековой
старинных стен кирпичных
неповторимых солнц
и лун дагерротип.

У детства моего
цвет старых фотографий,
мускатновинный вкус
у юности моей.
Плывёт за горизонт
забот вседневных гравий.
День новый норовит
опередить людей.

А вечером, когда
одолевает усталь
и гул дремотных нот
рояля за стеной,
в безвременья дворце,
где лучезарно-пусто,
бесцельно я брожу
под восковой луной.

Как локон цвета льна,
в гостинной призрак танца,
касание ветра –
бой по клавишам
и боль.
Один неверный звук –
и флейта Розенкранца,
возникнув предо мной,
исторгнет злую моль.



И вскрикнув, я проснусь
 в холодном, тёмном доме,
 и по сердцу пройдут
 ночные поезда
 оркестром ритмий –
 безвременья истома
 погаснет,
 как во тьме
 последняя звезда.

Но нет –
 играет ветер
 по верным нотам детства,
 не нарушая строй,
 не разгоня грёз.
 На свете не найти
 испытаннее средства
 сойти с тропы утрат
 на перепутье гроз.

И длится сон времён,
 нездешних, проплывая
 по клавишам
tres calme
*et doucement expressif*¹
 льняной рекой волос,
 мускатным цветом мая,
 роняя, как листву,
 прощальный свой мотив.

¹ Очень сдержанно, нежно и выразительно (*fp.*) – надпись на партитуре прелюдии Клода Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна».

С ВЕШНЕЙ ВОДОЙ

И вино не избавит от чёрных дум,
 И хождение души по местам святым
 Не поможет. Я с вешней водой уйду,
 Над рекою растаю, как синий дым.

Бледно жёлтая выпустит ключ рука.
 Золотистая дрогнет в воде блесна.
 Полноводно настигнет меня река.
 Полновесно изранит меня весна.

Только небо наденет свой детский цвет,
 Тут же смерть пролистает свой взрослый том.
 Никого в нашей солнечной детской нет.
 Синий кит возвращается в тихий дом.

Восковая над нами дрожит луна –
 Это хляби небесной горит блесна.
 Загрустит полнозвучно твоя струна,
 И умолкнет навечно моя весна.



КРАСНЫЕ, ЧЁРНЫЕ ГРЁЗЫ

...обезумев, увидеть весь мир, будто в детстве –
вот от боли и страха последнее средство;
мир не нужных друг другу людей и предметов
превратить в бесконечное, красное лето,
нарезая раздолье пустого асфальта
на квадраты, трапеции, скальпы и смальты
розоватым мелком в неокрепшей ладони –
будут горы синей, будет небо бездонней...

...и не знать, что обиженный гадкий утёнок
никогда не забудет кровавых пелёнок,
прирастёт к ним душой, и за каждый каприз он
детвору будет скармливать змеям и крысам.
В яме лебедь мой чёрный. В пустой мизансцене
розоватым мелком начертили мишени.
Закатали в асфальт небо, горы – и дразнят...
Смейся громко и зло до спасительной казни!

Цепи ржавые, рвоту на белом халате
им оставь на прощанье в крахмальной палате,
а себе только красные, чёрные грёзы –
за негрянувший шторм убитенные розы.
Мсти свободе неволей, нечистым творящий,
смейся громко и зло! Будто к радости вящей,
грудь открой ветру пуль, ножевой крутоверти,
ибо жизнь – только сон, глупый сон на рассвете.

... замирая в петле, остывая на жерди,
ибо жизнь – это сон в ожидании смерти.

ЧЬЯ РОДИНА – ТОСКА

Не могут к сытости души, земному счастью
Привыкнуть те, чья родина – тоска.
Не вынимай увязшего в песках
И в луже спящего не дёргай за запястье.
Стальной рассвет по всей земле его искал,
Светило обнажало свой оскал.
За ним по палубам чужих и наших барж
Пятиконечный и расстрельный гнался марш.
Промчалась жизнь в загоне и погоне,
А нынче – старость на пустом перроне.
Он говорит: «До солнца – три воспоминанья.
Я мерю памятью длину дорог и лет,
Дыханье слышу, хоть и дышащего нет –
И солнце у меня опять в кармане».
Руины прошлого дороже новых вех.
Не может старый Ной покинуть свой ковчег,
Пойти за песнею чужой – шутом на шир.
Что предложить ему готов сей новый мир? –
Лишь лунный свет, бессонную палату
Да вечный спор Пророка и Пилата...

...и никто не придёт в обиталище тусклого света,
где в забытых стихов первозданной, таинственной мгле
зарождались светила, и звёзды купались в тепле,
где цветочный венок мне на память оставило лето.

...и никто не простит обветшалость готических окон,
от которых бежали по старому саду вьюны –
с ними я убегал в лёгкий сумрак незримой страны,
пряча сердце моё между строк сотворённого рока.

там поныне война, и соседствуют солнце и вьюга,
свет выходит из тьмы, забывая уроки Творца,
недоступен исток – от него лишь исходит пыльца,
разносящая жизнь в путешествии вечном по кругу.

а Творцу не дано говорить с человеком о воле:
постоянство ли, мудрость – скала на морском берегу –
как, скажи, остановит эдемских детей на бегу?
вот и я не могу... призывать к сопричастности боле.

это я виноват, что своей же темницы и ключник,
и угрюмый жилец с обожжённою воском рукой;
в том греховен, что мир и закон утвердил я другой,
в том, что, целясь в меня, плакал музы карающий лучник.

в том, что тихой молитвы с обветренных уст не слетало,
и неясное «я» для меня означало «ничто»,
в том, что вместо меча я держал перепачканный штоф,
и кого-то родного мне с детства всегда не хватало...

...и никто не придёт, не заметит могилы куплетов,
как и я, не постигнет возможных пределов любви,
постоит возле камня с портретом моим визави,
и, увыв, не возложит венок, что оставило лето.

БОЛЬ ЗЕМЛИ И СКОРБЬ НЕБЕС

Два зеркала, смотрящих друг на друга;
две книги, где страницы все пусты;
как брошенные под ноги хоругви,
на снежных простынях лежим чисты;
мы – ревностные стражи Пустоты:
закат вдали и чёрный лес,
я – боль земли, ты – скорбь небес.

А вечером дрожит у изголовья
бескрылых наших душ двойная тень:
два забытья, два тягостных безмолвья
так молят ночь и заклинают день;
чтоб светом не поранил новый день.
О, тьма вдали, где нет чудес,
лишь боль земли и скорбь небес.



Я знаю слишком много и противлюсь
соблазну высоты и злых ярил –
тебе ведь тоже часто доводилось
оплакивать родных среди могил;
но нас никто на свете не любил,
и мы любить других не научились.

закат вдали да чёрный лес,
и новый день, где нет чудес.
Молчанье лир, в крови эфес –
и боль земли, и скорбь небес...

НАТАЛИЯ ХМЕЛЁВА

МЕЖДУ КРИКОМ И ЗОВОМ

За три часа всё было сожжено.
Проснулась обнажённой и бездомной.
Кем быть теперь? Птенцом? Или пшеном?
Айвовой рощей, мхом, стеной бетонной?
На солнечной беззвучной стороне
планет, наружу вывернутых мехом,
по нитке распозлась изнанка дней,
исподнее рыданий или смеха.
Не будет слов, раз не случилось рта,
а только шелест сонного прибоя.
Ни кости в теле. Где была гортань –
бескрайнее пространство голубое.

Как сжимается время, чей вечно простуженный нерв
отрывает побег от земли, устремляя вверх!
Его царство – в музее весов, эталонов и мер,
оно скалится пастью безумных парижских химер
и копит вековое окно. Превращается в статую,
над камнями возносится и, обожжённое, падает.
Прикоснёшься к нему – обнаружишь себя нерождённой
и пойдёшь громыхать по дороге пустынной и тёмной.

Берлинского неба открылась шкатулка,
рассыпав по крышам прозрачный стеклярус,
и ночь, растворяясь в седом переулке,
раскатисто злилась, но даром старалась.
Мелькали зонты и плащи разноцветные,
сиял-серебрился фонарный плафон,
и лились тридцатые в окна рассветные,
в квартире напротив воскрес патефон.
Стоял человек перед ним, не мигая,
как будто он сам – механизм заведённый,
и, с края шагая, взлетела нагая
кудрявая память с корзиной плетёной.



Не напасть – оторваться от пасти земной...
 Как не сгинуть?
 Продвигаясь с опаской, о старые сны не разбиться?
 Растревоженный улей забыт,
 но, увы, не покинут:
 оживает во рту и в ладони живёт.
 Небылицами
 припасёнными платье за пять вечеров обрастёт,
 и потянет, потянет на самое дно тротуара,
 где за низкий полёт превращаются в лёд,
 а посмотришь вперёд –
 там сменятся небитые:
 те, кто сильнее удара.

<Исповедимо ли>
 когда такое здесь живёт молчание,
 что мир оставленный
 стареет <никнет> тает,
 кому творят молитву по ночам,
 кого в себе пустынным обретают?
 Кто – каждый стебель
 <каждый корень> ценного,
 роняя в тёплый чернозём
 <в грудино > целого
 мира,
 <обдаст собой>
 польёт живым вином?
 Здесь сёстры молча
 <ночь> крадутся мимо,
 и всходит неизбывный
 свет в лице их
 <никем не обронённое зерно>.
 ...В тени, под куполами древних башен,
 где дух ночных дорог, ведущих в сон,
 оставит на отшибе воз с поклажей
 <умоет неподвижное лицо>,
 где брат ловил сачком непостижимое,
 и тает снегом в тёплом кулаке
 любой из символов –
 <и речь исконно лжива >
 там молятся о новом языке.

Проходит веселье. Проходит беда.
 Один виноград не проходит,
 имеющий мужество зреть в никуда,
 и солнце дрожит на исходе
 над роспашью тлеющих родин.



По ломтику тает, уходит в обрыв
 безмолвный свидетель
 того, как погоды здесь были добры.
 Счастливый билетик:
 бродить по земле,
 потокая любви,
 стихийно себя из золы прорастившей,
 не пробовать ягод, не праздновать вин,
 а быть всё смелее,
 всё мягче и тише,
 смелее и тише.

Ещё вчера ютилась в коже,
 и мир, отмытый добела,
 тобою не был потревожен
 <бездействуя, не сеешь зла!>.
 Поторопилась бы, пытаясь
 первоначал пугливых тень
 поймать – сухая снега завязь
 в ладонь упала бы цветеньем,
 чтобы напомнить о воде.
 Но по судьбе передвигаясь
 вперед-назад, уже судья,
 и заново в свой день войдя,
 услышишь: праздники подкрались
 и в окна синие глядят.
 И потерялась карамелька,
 играя в прятки с ветхим креслом,
 морозного белья бретелька
 и ель морозная воскресли,
 а в доме чисто и тепло,
 и не издать ни звука, кроме:
 «Ох прошлого и намело
 во двор – по самый подоконник!»
 И ты, не запертая в теле,
 <не человек, не злак, не живность>
 вдруг изумишься: неужели
 всё завершилось, завершилось...

Расскажи мне, куда нас кривая везёт:
 удивлённых, смеющихся, сонных.
 Это больше чем смерть: <чернозём, чернозём!>
 быть землёй, увозимой в вагонах.
 Иногда – уязвимым цветением груш,
 разговором на утренней кухне,
 остриём не заточенных вовремя нужд,
 иногда потолком – и не рухнуть.



Приснится шёпот, в тело не облачённый.
Усну ещё раз – но не пойму, о чём он.
Секунда с ним зазубренных зим длиннее,
а стены плавятся, и потолок темнеет.
Я стану на свидания ночью изредка
ходить <беда, беда мне! Связалась с призраком!>
Нет, на ночь глядя не украшайся, девочка,
тебе ни платьев шёлковых и ни ленточек
не нужно, чтоб отныне лежать и слушать,
как голос синий все силуэты рушит...

Дышал собою прошлогодний стог,
и сennyй запах был ему не мил.
Смотрелся в небо кроткий водоём
<другого вида он не перенёс бы>.
На выселках всегда такие вёсны:
нарциссы распускаются <что дёсны>,
роняя клык на почву <и резцы>,
а после обращаются людьми,
и, вкопанные в шорох, свист и гром,
рассматривают след своих сапог
<верней, корней> как светлый диалог.

Бежать из зданий, полных геометрии,
гудящих покупными новостями,
куда-то, где живут ещё поверия
и почва не расчерчена путями.
Где есть ещё и мхи, и привидения,
где пахнет <мыслью> лесом и грибами
и папоротник ждёт поры цветения,
<а зелень вся на самом деле – память>.
Но первотишина уже нарушена
то плачем, то грозою, то рычанием...
Кто к людям шёл со снами – наилучшими,
тому они словами отвечали.

... Там, где стрела,
застывшая в воздухе, чей полёт
подобен рыбе в объятиях льда –
стоит вечно идущий пророк,
который вот-вот дойдёт,
но потому не доходит, что он стоит,
а двигаться надо нам туда,
где стрела, застывшая в воздухе, чей полёт
подобен рыбе...

АЛЕКСАНДР ХИНТ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ХРОНОТОПЕ?

пьеса

На скамье сидят двое. У одного майка «ГЕДОНИСТ», у другого «СТОИК».

Стоик. Это невыносимо. Никаких лишений, трудностей, никаких испытаний. Практически никаких искушений. Что я здесь делаю, что? Что я здесь делаю?

Гедонист. Что вы здесь делаете?

Стоик. Да! Что я здесь делаю?

Гедонист. Вы преодолеваете трудности, связанные с отсутствием лишений.

Стоик. А вы умеете взять быка за рога.

Гедонист. Под уздцы. Под белы ручки. В оборот. По этому поводу вопрос, что я здесь делаю?

Стоик. Вы?

Гедонист. Да. Что я здесь делаю? Никаких удовольствий, я уж не говорю, наслаждений. Никаких искушений. Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Что, я вас спрашиваю? Что я здесь делаю? Что? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Что? Что такое? Что я здесь делаю?

Стоик. Слишком много вопросов. Трудно ответить на все.

Гедонист. Что вы в этом понимаете?

Стоик. Можно это расценивать как личный выпад? Вы меня испытываете?

Гедонист. *(С лёгким отвращением)* Нет.

Стоик. Жаль. Знаете, нам не хватает испытаний. Настоящих испытаний, знаете, как были у наших предков, у наших дедов и отцов. Таких полноценных тяжёлых испытаний, с их лишениями... С их мучительной и невыносимой... С их мучительной такой и невыносимой...

Гедонист. А вы точно уверены, что вы стоик?

Стоик. Конечно.

Гедонист. По-моему, вы мазохист.

Стоик. Мазохист? Простите, я не интересуюсь извращениями.

Гедонист. А жаль! Хоть какое-то удовольствие, знаете ли.

Стоик. Глупости. Удовольствие ещё придумали.

Гедонист. Именно, удовольствие. Именно! Искушение, предвкушение и, как венец всего процесса – удовольствие.

Стоик. Вы придумываете глупости. Запомните. Запомните навсегда. Искушение, испытание и... Преодо-ле-ни-е.

Гедонист. Как вы сказали?

Стоик. Искушение, испытание и преодоление.

Гедонист. У вас красивый благородный тембр. Можете ещё раз повторить?

Стоик. Искушение, испытание и преодоление.

Гедонист. Ага. А ещё раз?

Стоик. Искушение, испытание и преодоление.

Гедонист. А чуть повыше?

Стоик. *(Фальцетом)* Искушение, испытание...

Гедонист. *(С лёгким отвращением)* Спасибо.

Молчат.



Гедонист. Которое надо преодолеть?
Стоик. Конечно!
Гедонист. Это доставляет вам удовольствие?
Стоик. Удовольствие?
Гедонист. Да!
Стоик. Боже упаси. Зачем?
Гедонист. О-о...

Молчат.

Стоик. Хотите, сменим тему?
Гедонист. Нет!
Стоик. Она доставляет вам удовольствие?
Гедонист. Идиотизм. Нет, вы, пожалуйста, не сочтите меня невежливым, грубым или что-нибудь эдакое...
Стоик. Нет-нет! Пожалуйста, продолжайте.
Гедонист. Вы знаете, что такое удовольствие? Понимаете смысл слова «наслаждение»? Хоть раз в жизни вы испытали настоящее удовольствие?
Стоик. Господь избавил.
Гедонист. Да? Знаете, а я вам даже завидую.
Стоик. Почему?
Гедонист. У вас всё впереди! Впереди первое удовольствие. Первое настоящее наслаждение.
Стоик. Избави бог. Тьфу-тьфу-тьфу... Избави бог.
Гедонист. Простите. Простите... Но это уже точно идиотизм.
Стоик. Да? На вкус и цвет, знаете ли. На вкус и цвет. А вот вам, определённо, можно позавидовать.
Гедонист. Чему это вы собрались завидовать?
Стоик. Вы сказали, что завидуете мне.
Гедонист. Сказал.
Стоик. Зависть – сильное чувство. Это сложное испытание, оно не каждому по плечу. Вам есть что преодолевать!
Гедонист. Да?
Стоик. Конечно!
Гедонист. Ага... Боже, куда я попал.

Молчат.

Гедонист. Но вы ведь тоже!
Стоик. Что?
Гедонист. Я говорил, что завидую вам.
Стоик. Говорили?
Гедонист. Да. А вы ответили...
Стоик. Я ответил?
Гедонист. Да, вы ответили. «А вот вам можно позавидовать».
Стоик. Я не говорил такое.
Гедонист. Э-э... У меня прекрасная память. Вы сказали «А вот вам можно позавидовать».
Стоик. Вы пропустили «определённо».
Гедонист. Что?
Стоик. Я сказал «А вот вам, ОПРЕДЕЛЁННО, можно позавидовать».
Гедонист. Разве?
Стоик. Определённо.
Гедонист. Н-да... Это важно?
Стоик. Нет, что вы! Это так, к слову. Просто, должна быть соблюдена некоторая точность.
Гедонист. Точность?
Стоик. Точно.
Гедонист. Это доставляет вам удовольствие?
Стоик. Вы опять за своё?



Гедонист. Так... Я забыл, о чём речь. Вы меня сбили.

Стоик. Простите.

Гедонист. А, вот... Значит, вы тоже в состоянии завидовать! Как и все прямоходящие рибонуклеазные существа, полученные в результате постконитального слияния сперматозоида и яйцеклетки?

Стоик. Ну-у... В принципе, да. Почему нет?

Гедонист. Вот! А ведь это именно то, из-за чего вы завидовали мне.

Стоик. Что вы говорите? Поразительно.

Гедонист. Да! Вы к этому стремились.

Стоик. Неужели?

Гедонист. К возможности завидовать и преодолеть! Разве нет?

Стоик. Не, ну это так.

Гедонист. Так?

Стоик. Ну да, это так.

Гедонист. Как это – так?

Стоик. Так, на один зуб.

Гедонист. На один зуб?

Стоик. Да, максимум на один.

Гедонист. Всего-навсего?

Стоик. Не больше.

Гедонист. Вот так, на один? Раз – и всё?

Стоик. Ну согласитесь, это же нельзя назвать полноценным преодолением.

Гедонист. Нельзя, вы думаете?

Стоик. Нет. Нельзя назвать тяжёлым таким, суровым...

Гедонист. Тяжёлым тоже нельзя?

Стоик. Что вы, ну как... Назвать это настоящим полнокровным испытанием? Стоп. Я понял. Я, кажется, понял. Эти умственные изощрения, они... Они что, доставляют вам удовольствие?

Гедонист. Ну, хоть какое-то.

Молчат.

Стоик. Хотите бутерброд?

Гедонист. Помолчите.

Включается радио: «Передаём запись радиопостановки “Что случилось в хронотопе?”, автор пьесы... (помехи)... На скамье сидят Гедонист и Стоик. – Это невыносимо. Никаких лишений, трудностей, никаких... (Читает текст постановки полностью)... Стоик. – Хотите бутерброд? Гедонист. – Помолчите. Текст постановки читал... (помехи) ...».

Молчат.

Стоик. В принципе, мне нравится. Неплохо. Хорошая нервная струна. Персонажи выписаны тщательно, характеры выпуклые, отчётливые. Интересная смена темпоритма, но она не мешает следить за рекурсивной тканью повествования. Я бы сказал, за рекуррентной воспроизводимостью смысла. Но мне показалось, знаете, под конец действие слегка утрачивает свободное дыхание. Что, если чуть сократить? Или, знаете... Просто, немного изменить весь текст. Сократить его до: «Стоик. Я с трудом переношу молчание. Гедонист. Помолчите». И всё. Понимаете? Всё! Всё работает. Тогда я с радостью дам деньги на эту постановку. Понимаете?

Гедонист. Помолчите.

Молчат.

Стоик. Знаете, я с трудом переношу молчание.

Молчат.

ЕЛЕНА КАЦЮБА

ЗВЕЗДА

Сошли сыны Божию на землю и стали входить к дочерям человеческим, их земной красотой обольщённые. Встретил Шамхазай одну девицу по имени Истеарь и пленился ею. Но Истеарь сказала: «Я соглашусь ответить на твою любовь, если ты откроешь мне “Шем-Гамфорош”, произнося которое ты возносишься на небо, когда этого пожелаешь». Ангел исполнил её требование. Тогда Истеарь произнесла святое имя и вознеслась на небо, сохранив беспорочность свою. В воздаяние за её добродетель Всевышний обратил Истеарь в звезду и поместил её в Плеяде.

Агада

Всемирный потоп – брак земли и неба
скачет по волнам скорлупа ковчега
ни окон, ни дверей
полна горница зверей

Всемирный потоп
вдоль и поперёк
по холмам по лицам
вниз по груди
вдоль ног
Смеётся блудница:
«Я вознесусь на небо
я светлым светом буду сиять на восходе
осенённая месяцем
возвещающая мессию»

Раскаты её смеха
превращаются в раскаты грома

Пока Ной по волнам носился
Христос в пустыне постился
на каменной коже праматери пустыни
Из жаркого её черва вышел, качаясь от ветра
Голубь вернулся с зелёной веткой
Ушла вода обратно
от вершины Арарата
а на горе Арарат
растёт крупный виноград



Не знавший вина
выпил Ной вина
развалился, задрал рубаху, в винограднике
а над ним крупной виноградиной

висит звезда Иштар
допотопное чудище
звезда двуполая –
утром женщина
вечером мужчина

Ной в смущении
Смеются сыновья над отцом
смеётся отец над сыном
смеётся звезда над ними –
в городе Содоме
над садами

– Лот
отдай нам твоих гостей
ждёт
их брачная постель
ждёт
их каменное ложе
и алтарь – богини лоно
Там
Сплетясь телами в танце
красоты познаем тайны
окровавленные плети
нам откроют тайны плоти
и звезда, сияя лоном
будет будет благосклонной
к нашему Содому

А когда напряглись в поцелуях уста
и на каждое ложе взошла Иштар
волной до горла –
раскаленная лава накрыла город

Вино глумливо, сикера буйна
с горя выпил Лот много вина
сикера буйна, вино глумливо
дочери Лота нетерпеливы
– Да будет нам мужем наш отец
наш бог-отец, наш творец
да будет отец нам во имя сына
да будет сын нам отца во имя
да не прервётся наш род
о, Ашгарот!

А пока на земле творится брак астральный
переходит на небе Таммуз в Астарту
преображается мужское тело в женское
до последней капли блаженства



превращается в утро вечер
переходит в Венеру Веспер

Спит Господь умиротворённый
после мира творенья
Спит Адам перед Евы явленьем
обращённый к Луне ребром прободенным
Спит Ной
обвитый виноградной лозой
В комнате, пропахшей мускусом и лавандой
спит Иаков, обманутый Лаваном
Спит Иосиф в девственном чреве Рахили
прозревая разгадку снов фараона
Спит Моисей в тростниковой корзине
Спят апостолы после тайной вечери
А над краем неба
разлеглась Иштар – Венера
склонила виноградные грозди
полные вином Нового Завета
Камень отвален волной света
спит стража у двери гроба
вечного гроба
пуста утроба

1978

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

В СОТНЕ МЕТРОВ ДРУГ ОТ ДРУГА

Как я мог не узнать, что за птица там пела, на ветке...
Но откуда я мог бы узнать, где здесь взять знатока?
Я три эти вечерние ноты запомнил навеки.
Что такое «навекки»? Ну, стало быть, помню пока.
Убеждённость, с которой она толковала о жизни,
так печальна была, что отвлечь от неё не могли
ни газета, ни кошка, крадущаяся, словно рысь, ни
самолётник, готовый развеяться, только моргни.

Я с друзьями опять разругался, орал, как обычно.
Мы сглотнули комки в наших горлах и – по мировой...
Как прекрасно, что птица печальна, но аполитична
и такая живая на этой осине живой.

А весеннее русское небо темнеет не сразу.
С этой птицей мы будем друг другу видны с полчасца.
Редкий случай на нашей земле оказаться вдруг с глазу
на глаз, чтоб наконец воедино слились голоса.
Впрочем, я помолчу. Пой же, тихая грустная птица.
Кто ты? Иволга, чиж, свиристель или пращур мой – щур?
Сколько помню стихов – ни один из них не пригодится.
Разве только сгодившийся вдруг дыр, бул, щил, обещур.

ПРОЩАНИЕ С ИМПЕРИЕЙ

*Гуд бай, Америка, о!..
Из репертуара «Наутулуса»*

Что – пергамент? На шкуре на собственной
письмена не бледнее, поди...
На рублёвой бумажке на сотенной
Кремль – как в жизни. А жизнь – позади.
Там уключина дачного ялика.
Всхлип шарманки. И вор-понятой...
И колено подруги – как яблоко,
тот же райский налив золотой.
И тепло ухмыляется Берия
за стеклом нелюдского литья.
И гремит алым шёлком Империя.
О, Империя, юность моя!..



Как ты смотришь светло и бессмысленно,
 своего не предвидя конца.
 «Браво, Фигаро, браво, брависсимо!» -
 парикмахер сажает певца,
 и сажает певец парикмахера,
 и сидят они оба. Но – там!..
 Здесь плывет москворецкое марево,
 согревая подбрюшья мостам.
 Здесь Тракай розовеет, Иверия
 хоровое заводит питьё.
 Там – авария, рок. Здесь – Империя!
 О, Империя, счастье мое...

Есть великое благо отечества –
 стариковская трусость вождя.
 Ваше Волчество, Ваше Овечество,
 право, чокнемся! С Богом!.. Хотя
 жалко гения: умер непонятым;
 жалко мастера: понят, сидит.
 Но под месяцем этим не поротым,
 тот, кто жертва, уже не бандит.
 Ну, а кто же не жертва за столиком
 и за общим имперским столом?
 Этот – живчиком, тот – меланхоликом
 оправдаемся: не перед злом!
 А у Бога тепла и доверия
 для гадюки найдётся самой.
 Потому за тебя, о, Империя,
 за тебя, вытрезвитель ты мой!

На распаде имперского города
 призрак храма встает неспроста.
 Воссоздатель обрящет ли Господа?
 Если Господа, то – не Христа.
 Фарисейская воля горластая
 всё наглее являет свой пыл.
 Но как искренно стонем мы, падая
 по камням мимо тёмных стропил,
 по траве надочажной, надсудебной,
 мимо призрачных бывших огней,
 по своей по державе особенной,
 по Империи бывшей, по ней...

Что была за формация? Молодость.
 Положение? Раб своих чувств.

Где ты, старость, усталость, измотанность,
 в час, как родом и градом кичусь?
 Сохрани только эту скамеечку,
 эту лавочку в мёртвом саду,
 где на клене счастливую меточку
 мы оставили в мёртвом году.
 Не к суме, не к тюрьме – к высшей мере я,
 к вечным снам присужден я. Зови,
 о, Империя – о!.. О, Империя,
 свальный грех накануне любви...



ДЕМОНСТРАЦИЯ

Мы по красным числам приходили.
Помнится, приветливый такой
он стоял на собственной могиле,
нам маша здоровою рукой.

Шли мы за колонною колонна,
свой восторг не в силах превозмочь,
каждый пятый или сын шпиона,
или же вредителя дочь.

Та зима была жестка, лохмата.
Лёд на спусках – ног не повреди.
Пятое просроченное марта
телепалось где-то впереди.

СЕНТЯБРЬ

Не стало кукушки. Не стало лучей. И ничего не стало.
Репутация сказочного сентября рухнет с пьедестала.
Вода в бочаге не холодна, но это – ненадолго.
Бабье лето – не по любви, а так... исполнение долга.
Но тропа через лес ещё суха. И за гнилым вязом
по очереди начнутся щелчки. А за ручьём – разом...
Не помню, кто – может быть, Юнг, – открыл полтергейст. По мне, так
Было бы странно, если бы к нам не прорывался предок
сквозь тёмные чащи небытия иль бытия иного,
хрипя, как в испорченный автомат, измученное. Но – слово.

Господи, как я, когда помру, буду скучать о живущих.
Это ведь – грех? Или не грех?.. тихо в сентябрьских куцах.
А июньские бунты тугой листвы? Это было прекрасно!
Пахнувший мёдом и мелком лес – земного образ соблазна!

Цепляется опустошённый куст, не жалевший для нас малины...
О, Дыхание Божьих уст внутри сатанинской глины!

ПАМЯТИ СЕСТРЫ ТАНИ

Когда-нибудь потом, когда – и сам не знаю,
я прилечу в тот день над Охтинским мостом,
чтоб видеть, как июнь, смеясь, подходит к маю.
Но это не сейчас – когда-нибудь потом.
Тогда я, появись из старых стен вокзала
на схлёт забытых стога, подумаю с тоской,
что тот – за рубежом, ну, а того – не стало,
а этот, хоть здоров, какой-то не такой...

Пока же у перил над серой невской бездной,
как через восемь лет в уральском ковчеге,
порхает махаон, и это интересней
всего, что в этот миг творится на земле.



А на земле, меж тем, увидеть можно много:
и ночь светлее дня, и Летний сад в цвету,
и как моя сестра, красавица от Бога,
лениво ни во что не ставит красоту,
а говорит стихи про чёрный снег и ветер,
про революционный шаг разбуженных братков.
И Зимний там, вдали, красив, но безответен,
молчит, как он молчал в течение двух веков.

А дальнего моста чугунная громада
связала берега. Мост дивен и чумаз.
Но махаон летит, и ветер Ленинграда
не хочет унести его от детских глаз.

На Садовом эти домики
в сотне метров друг от друга.
На крылах силлабо-тоники
по Москве гуляет вьюга.
Жизнь – тайга, саванна, прерии,
чёрный рэп Оксимилона.
Чехов был соседом Берии.
Слава Богу, не синхронно.
Узкий дом окошком косится
на широкого соседа.
Третий день чересполосица
снегопада-снегоеда.
Ежегодная эмпирика
там даёт ходьбе сноровку,
где февраль и март сцепились, как
два шофёра за парковку.
Что за дни: сырые, гиблые...
Как у вас дела, Европа?
А у нас дела, как в Библии
от Создания до Потопа.

Опустевший террариум рая.
Безопасные фрукты цветут.
Предыюньская ясность сырая...
Как с тобой оказались мы тут?

Одержимые хворью познания,
преступившие умный наказ,
беспощадные, словно пиранья –
кто пустил нас сюда в этот раз?

Непонятно радушьё Господне,
странен вохровский сон ключаря.
Мы не завтра – сегодня, сегодня
согрешим, никого не коря:



ни змеи, не прощённой доньне,
ни крылатой охраны слепой.
Там, внизу, в безысходной долине,
в нас грехом нашим тычет любовью.

Там любовью на запретах зациклен
и прищурен, как храбрый Вьетнам,
и один лишь Господь беспринципен
и опять улыбается нам.

ВИКТОР ХАТЕНОВСКИЙ

ВОСТОРЖЕННЫЙ СКРЕЖЕТ БЕССОННИЦ

Дурная наследственность, взгляд исподлобья;
Бесстрастно, бессмысленно, жуликовато
Хрустят под стеклом бессловесные хлопья,
Как взрывы, в подследственном штате Невада.
Всё так же – в зашторенность чопорных зданий
Прицелившись – ластится зверь високосный
К взволнованным планам народных восстаний...
Ты слышишь – как плачут кремлёвские сосны?!

Стучится ночь в оконное стекло.
Отравлен город сворой негодаев.
И темнота подтрунивает зло
Над городской бессонницей. Бердяев
Невыносим, как боль зубная... Здесь,
Где круглый год спирт заедают салом,
Ты, расчехлив взлохмаченную спесь,
Расправы ждёшь под скользким одеялом?
А, может – мысль к молитве пристегнуть,
И жизнь на прочность испытать – покуда,
Приказом царским прикрывая грудь,
К тебе губами тянется Иуда?!

Жизнь, как камни, раскидала
Нас. Взбодрив судьбу хлыстом,
Твёрдой поступью вандала
Входит память в старый дом.
Без фанфар, без песнопений,
Раздразнив промозглый тлен,
Входит, бродит... Чьи-то тени
Отделяются от стен.



Прорастает память телом:
 Камнем высветлив версту,
 Батя в платье чёрно-белом
 Грудью тянется к кресту...
 Прокричав веселью: «Трогай!»,
 Ради нас – в расцвете лет
 Свыклась мать с фортуной строгой;
 Под Берлином – спинул дед...
 Скорбь неистовствует. Память
 То безмолвствует, то вздрог...
 Вздрогнув, пробует подправить
 Сволочной оскал – дорог.
 Жизнь вбивает ногу в стремя,
 Грудь рубцует мошкара...
 Ах, как сладко пахло Время
 В предвкушении добра!

Октябрь. Слякоть. Листопад
 Флиртует с ветром. День обвалом
 Надежда отмечен... Двое спят,
 Укрывшись плотным покрывалом.
 Ночная мгла не так страшна
 Содружеству... В застенках рая
 Жена, как смерть, ему нужна;
 Ей нужен муж, как боль зубная.
 Так – было, есть. Так будет впредь.
 Вновь умертвив в октавах звуки,
 Она рискует – растолстеть,
 А он – состариться от скуки.

Вдохнув разнузданность бедлама
 В кумирно сплетен, склок, интриг,
 Премьерша, фея, сволочь, дама
 С листа сыграет – Лилю Брик.
 Взорвётся текст, прогнуты доски;
 Взлохматив рифмой канитель,
 С разбега вздорный Маяковский
 Нырнёт в проклятую постель.
 Жизнь будет, сдвинув занавески,
 Как поезд, мчаться под откос...
 Всегда найдётся повод веский –
 Чтоб в муках корчился Христос.
 Спектакль закончится. В буфете
 Смыв коньяком подкожный зуд,
 Волчицей вскормленные дети
 Премьершу – курвой назовут.



Так много потеряно сразу!
 Над пеплом остывшим скорбя,
 Я вспомнил зловещую фразу:
 «Любить не мешайте себя».
 Не сбавить её, не займись,
 Бессонницей не утомить...
 Свирепствует вздорная память:
 «Себя не мешайте любить!»

День груб, нервозен, бездвижен.
 Сдружились с пылью ордена.
 Взрывная терпкость спелых вишен,
 Как лоб, к руке пригвождена.
 Вгрызаясь в чувственную мякоть
 С восторгом бешеным, готов
 Конквистадор смеяться, плакать,
 Пешком отправиться в Ростов,
 В Солнечногорск, в Саратов к тётке,
 В прохладный сумрак, в синеву –
 Чтоб где то там без слёз, без водки
 Из сердца выскоблить Москву.

Передёрнув затвор беспросветной печали,
 К ремеслу пристегнув взвод соломенных вдов,
 Как младенца, шесть дней в колыбели качали
 Расторопные улицы злых городов
 Неустроенный быт, заскорузлость... Саратов,
 Красноярск, притмилив кверху поднятый кнут,
 В обездоленность лиц, в заторможенность взглядов
 Даже видимость жизни уже не вдохнут.

Т.П.

Возлюбленная мной, – в момент полураспада,
 Жизнь не растормошив признаньем роковым,
 К безрадостной судьбе крамольного комбата
 Примериваюсь, в грудь впуская терпкий дым.
 Раздробленной судьбой – зачитываюсь. Скоро,
 Потёртость вздорных плеч запрятав в соболя,
 Ты под бравурный марш срамного приговора,
 Жизнь выскоблив, сбежишь, как крыса с корабля.



Раздробленностью чувств не дорожа,
 Обручена с болезненностью редкой,
 Ты, как вакханка, кормишься с ножа;
 Покуда Время (зверской табуреткой
 Вооружившись) ждёт – не прекословь –
 В надломленную искренность не веря,
 Команды – чтоб крамольную любовь
 Сроднить с землёй, как сдохнувшего зверя.

В декабре, в одном исподнем,
 Мрачным утром – незначай
 Выпорхнув из преисподней –
 Вместо спирта в крепкий чай
 Ткнула мордой: «Недоносок,
 Пей! Расплещешь... Побратим,
 Станет гроб из жёстких досок
 Вечным лежбищем твоим».

РЕПЛИКА ХРИСТОФОРА КОЛУМБА

Вперёд, разнузданное племя
 Пиратов, пьяниц, прощелыг!
 Нас батогами метит Время;
 Нас бьёт действительность под дых.
 Нас ждут открытия Америк.
 Нам не лежать в пыли, как пласт.
 И тот, кто первым крикнет: «Берег!»,
 Потомкам – имя передаст.

Молчаньем твоим обесточен –
 Скорблю в новогоднюю ночь.
 И сумрак московских обочин
 Ничем мне не сможет помочь.
 Не Дракула я, не Отелло,
 Не мной обездвижен Эльбрус...
 А впрочем, какое Вам дело –
 Что любит Вас злой белорус?!

С утра расцвела придорожная ива.
 Возможно, чужую предчувствуя боль,
 Природа сегодня так красноречива,
 Что я над собою теряю контроль.



Забыты тревоги, бег в поисках хлеба;
Надуманный страх безвозвратно исчез.
Мне только бы видеть бездонное небо,
Рассвет и с туманом флиртующий лес.

Сентябрьским днём иль сентябрьской ночью
Не встретившись с дерзкой вакханкой воочью
В бесхозных, в разросшихся зарослях вишен,
Ты сломлен; ты, как террорист, обездвижен.
Ты – жертва, мишень для спецназовской пули...
А впрочем, в Москве, в Катманду, в Ливерпуле
Всем тем, кто безвременьем на кол подсажен,
Восторженный скрежет бессонниц не страшен.

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗНЯК

РУССКАЯ МАМА

рассказ

Отчего этот посёлок на берегу моря назывался Русская Мама, с ударением на последний слог, а не на первый, что было бы естественным, он не знал. Но необычное название ему очень понравилось.

Он много чего тогда ещё не знал в той жизни, куда пришёл семь лет назад. Не понимал он до конца и почему родители уезжали из этой удивительной бухты такими грустными. Но был уверен, что они сердятся друг на друга. А мама так, скорее всего, даже не могла простить за что-то папу. Который откровенно злился, как и всегда при разговорах, когда не мог пробиться к маме, которая становилась как-то меньше, но твёрже, слегка сутулилась и на несколько дней замолкала.

Не знал он и того, что рядом с Русской когда-то была и Татарская мама. И хотя маминных родных в конце войны, послушных неумолимой воле, указующей вдаль согнутым крючком перста, выселили не отсюда, а из Джанкоя, гораздо позже он подумал, что, наверное, ей больно было смотреть на пустое пространство, где смех и голоса детства звучали только в её памяти. Мама мамы и сестра умерли, не доехав до Казахстана. Их похоронили где-то неподалеку от рельсов, в тупике неизвестной маленькой станции. А мама только переболела сильно и выжила, её выносили в детском доме. Где она и получила русское имя. Папа же мамы, вернувшись из немецкого плена, куда попал после окружения в начале войны, отправился уже в советский лагерь. Но умер не там, а когда вышел и не смог найти родных. Сердце не выдержало. Так мама и осталась одна. Пока не встретила его папу. Оттого она больше всего на свете боялась потерять близких. Нас с папой.

Даже сейчас, несмотря на хмурые лица, родители оставались молодыми и самыми красивыми. Он и сам это видел, и об этом неоднократно говорили разные люди, знакомые и незнакомые. Многие из них ещё удивлялись, что он совсем не похож на маму. Все отчего-то считали это странным и нехарактерным. Ведь мама такая чернявая и черноглазая, а он уродился в светловолосого и голубоглазого папу. Словно бы приготовился всю жизнь провести на севере, никогда не возвращаясь на мамину родину, в Крым.

Это было первое их столь далекое путешествие после покупки папой машины. Они добирались несколько дней, дважды ночуя в пути у знакомых.

Здесь на долгожданном, отпускном для родителей, жарком юге всё было просто замечательно.

В чудесный мир они переправились в полутёмном чреве неповоротливого кита, в пропахшем запахом моторного масла и мазута гулком железном пароме, где огромные грузовики и маленькие легковушки спрессовались в единую, неделимую массу. Выпустили их к новому свету уже в Керчи, где на окраине, в каком-то Аршинцево, к ним в машину подсади добродушный остряк дядя Юра и его жена тётя Лида, отвечающая залихватным хохотом на все шутки мужа. Эта пара была живым олицетворением этой солнечной земли, такие заразительно веселые, что втроём на заднем сиденье было даже лучше, чем одному. Хорошей компанией поехали в заводской пансионат, который всю дорогу расхваливал балагур дядя Юра, если не травил анекдоты и не комментировал езду попутных и встречных водителей. Деление производилось на ездонов, куда входила большая часть, ездоков и редких ездецов.

База отдыха располагалась неподалёку, в Героевке, на Чёрном море, что особо подчеркивал дядя Юра, явно ставя его выше жалкой пресной лужи – Азовского.

Действительность несколько поколебала напор и настрой дяди Юры. Видимо, он сам не ожидал, что, похожие на снятые с колес вагончики, душные, без каких-либо удобств, домики с раскалёнными стальными крышами, похожими на стиральную доску, расположены на необжитом и продуваемом голом берегу. Но дарёному коню в зубы смотреть совсем необязательно, так что оставалось только радоваться. Солнце в выси и синее, а совсем не чёрное, море, у самых ног, никто отменить не мог. Он тоже не понимал, какие



ещё нужны удобства, если есть где спать, – жаль только, что не на раскладушке, – и главное совсем рядом бесконечно шумит и зовёт тёплое море, в котором, он надеялся, папа научит плавать.

Однако и тут вышла незадача. Недавний шторм перебаламутил воду и пригнал к пляжу такое количество мелких, как олады, белёсых медуз, что мягко вспухающие спинами исполинских рыб волны серебрились склизкой чешуёй. Этим гигантским рыбам вполне достало бы жадности, чтобы проглотить своим хайлом любого взрослого. Даже такого высокого как папа. Загорелые мальчишки, гасая по берегу и разбрызгивая ступнями беспрестанно набегающую пену прибоя, бросались медузами друг в дружку. И совершенно не боялись окаменеть под их ужасающим взглядом. В ладонь маленькие студенистые тельца можно брать, они обжигали только менее защищённое грубой кожей тело, когда с липким шлепком попадали в тебя. И глаза нужно беречь. Безбашенные игры недорослей женщины не одобрили, так что после подника на расстеленной на песке скатерти, несколько раз раненой брызгами смешанного с семенами сока из огромных красных помидоров, – даже нарезанные ломтями те были опасны, – мужчины пошли прогуляться к окопам.

В войну здесь с моря высаживался советский десант. Линия обороны захваченного бойцами плацдарма сглаживалась временем, заросшие травой окопы и воронки осыпались, исчезая как затягивающиеся рубцы, но всё ещё были видны, хотя с войны прошло уже тридцать лет. Цепь земляных укреплений красноармейцев тянулась вдоль побережья, всего в сотне метров от воды. На эту узкую полоску тверди сверху, из спящего зенита, распластав чёрные крыла и затеняя светило, заходили и падали в шике безжалостные железные птицы, и клевали жёсткими клювами землю, стремясь попасть в горстку людей, и теряли свои железные перья, желая их больше ужалить. Дядя Юра с папой помогли и, не имея лопаты и вообще каких-либо подручных средств, одними палками, подобранными на земле, они за полчаса отрыли дюжину разнокалиберных гильз, от больших, вроде из самолётных пулёметов, до обычных пулёметных и винтовочных. Дядя Юра даже нашёл пару немецких автоматных. Бои шли и врукопашную, прямо в окопах. Оттого по этим холмам так много бессмертников. Эти, росшие отдельными кустами, ярко-жёлтые цветы на высоких серых ножках при обилии соцветий всё равно производили впечатление одиноких. Судя по названию, они вырастали на месте гибели людей. Каждый цветок – умерший человек. Единственная память. А папин папа погиб подо Ржевом. Дядя Юра рассказал, как его сын с другом нашли прямо на просёлочной дороге неподалёку отсюда торчащий почти на всю длину из земли гранёный острый штык. Ржавый металл так плотно сидел в многократно изъезженной колее, что ребята не смогли вырвать его без подручных средств. Возможно, он даже был на винтовке, потому и не поддавался. Взрослые отказались идти к находке – нужно было возвращаться в город, – как опалевшие и возбуждённые пацаны ни упрасивали. Дядя Юра рассмеялся. Где точно находится штык он указать не смог. Только поводил головой. Здесь всё перепахала война. Осколков вокруг вообще не счесть. Они даже не взяли их с собой. Кроме одного, зазубренного, с выбитыми на нём цифрами. Мама и так была недовольна и немного наругала за трофей, но он упрямил оставить патроны. Правда, выковыривать из них спичками землю и мыть пришлось самому. Мама наотрез отказалась прикасаться к оружию.

Не пошла мама и купаться, после того как дядя Юра сообщил, что по всему побережью до сих пор находят неразорвавшиеся бомбы и снаряды. Но редко, уточнил он, увидев испуг в её глазах.

Дядя Юра организовал лодку. И настоящие мужчины на веслах вышли в море за провиантом, ловить рыбу. Если не встретится более крупной дичи. Акулы там или огромные черепахи. Надо же было обеспечить пропитанием женщин. Тетя Лида с мамой остались на берегу, ждать и надеяться на улов. Мама строго-настрого наказала папе следить за сыном, тот обещал, потрепав его вихрастую белобрысую голову.

Первым делом дядя Юра, ныряя, голыми руками надрал чёрных мидий. Эти дары моря лепились к обросшим женскими юбками мохнатых зелёных водорослей опорам далеко уходящего на глубину пирса. То ли снесенного бурей, то ли разрушенного в войну. Очень вкусные ракушки, убеждал всеядный дядя Юра, легко раскрывая, поддев ногтем, чёрные створки. Папа побрезговал есть моллюсков сырьём, но не стал ему запрещать. И они вдвоем с дядей Юрой, сидя на банке, а никак не на лавке, и в шлюпке, а не в лодке, на траверзе Героевки, в открытом море, что было очень по-рыбацки, съели по несколько штук. После того, как дядя Юра выковырял выводящую отходы перерабатываемых водорослей часть овально плоского тельца мидий. Даже солить их не нужно, они и так жили в рассоле.

Сначала на банке, – уже на песчаной отмели, – ловили обычных, песочного цвета бычков, используя для наживки всё те же, трудно насаживающиеся на крючок, недоеденные мидии. Ловля шла на закидушки, проще сказать на смотанную на дощечку леску с несколькими крючками на конце. Снасть перекидывали за борт, стравливали и, держа натянутой через указательный палец, ждали поклёвки хитрой головастой



рыбёшки. Пара мелких не удовлетворила азарт, посему снялись с якоря и ушли дальше от берега. На камнях водились бычки-кочегары, чёрные как уголь. Папе и дяде Юре везло, а ему, как неопытному салаге, никак не удавалось поймать даже хамсу, тьюлку или кильку. Так что дяде Юре пришлось захотеть освежиться и насаживать под водой на крючки его закидушки предварительно взятых из улова бычков, сразу по два. Он заметил, хоть и не сразу, эту уловку дяди Юры, но тот сказал, что повинную голову меч не сечёт, и попросил прощения. Однако испытать возбуждение вытащенной самолично, трепыхающейся в воздухе рыбы удалось. Тем более, что дядя Юра убеждённо твердил, что подправил его рыбалку только после долгого перерыва в клёве.

На обратном ходу в гавань другое происшествие заслонило выходку папиного друга. Дядя Юра спас утопающего. Это произошло так быстро, что они с папой не успели даже понять, что случилось. Позже он только припоминал искажённые в беззвучном крике лица женщин в лодке неподалёку, странное молчаливое барахтанье взрослого мужчины, вздумавшего нелепо махать руками и плескаться в одиночку. Неожиданно дядя Юра прыгнул в волны, подхватил канущего в небытие, захлебнувшегося мужчину, оказавшегося, что почему-то отметилось, в узких голубых плавках с нависающим на них животом, перевалила с помощью папы через борт и, надавливая тому на спину, добился, что из его рта полилась вода. Когда пьяный толстый мужик очухался, и его знакомые неумело, кругами подгрести вплотную, несостоявшегося утопленника пересадили к ним в лодку. Ни спасённый, ни его подруги, от скоротечности события или от испуга, даже не поблагодарили дядю Юру.

Женщинам решили не рассказывать о спасении на водах, чтобы не пугать. А то некоторых так в море вообще не затянешь. Папа, конечно, имел в виду трусиху маму.

У свай несуществующего пирса ещё раз задержались для придания добыче необходимого объёма, и дядя Юра, углубляясь подолгу под воду, набрал приличную гору мидий.

Ужаснувшись от героической истории с поеданием мидий сырыми, мама недоумённо посмотрела на дядю Юру, когда тот объявил, что приготовит из ракушек блюдо, достойное лучших ресторанов побережья. Причём без всякой помощи слабого пола. Тётя Лида шуточно отмахнулась.

Колдуя как заправский повар, и действительно отстранив женщин от стряпни, дядя Юра приготовил мидий вареными в казане на костре, дополнительно начинив рисом, морковкой и специями. Мама отказалась есть эти раковины. Оказывается, те, пропуская через себя литры воды за день, питались мёртвыми остатками всех организмов, умирающих в море. Но и водорослями, ради справедливости уточнил дядя Юра. В общем, мама обошлась вкусными, похрустывающими на зубах бычками, которых с тетей Лидой вдвоём пожарила на сковороде.

Окончание праздника морских даров проходило при всё усиливающемся ветре. Погода портилась на глазах. С моря из напозающей одеялом чёрной тучи опять заходил шторм, так что решили уезжать, не оставаясь ночевать. Чтоб не быть унесёнными в Турцию прямо в отведённом на ночлег домике. Папа с дядей Юрой по дороге в город захотели заехать по каким-то делам на завод, так что удалось упрямить отправиться в Керчь на катере, который болтался на волнах у берега. С мостика матрос в рупор зазывал отдыхающих на борт. Обещая через двадцать минут доставить в Керчь. Странно, как мама согласилась на это плавание. Когда крупные капли дождя уже косо резали воздух, впиваясь в незащищенную плоть, по зыбкому трапу с вантовыми висячими перилами он с женщинами взошёл на борт, чтобы тут же спуститься лесенкой внутрь, в салон.

Притихшие пассажиры сидели на низких лавках глубоко под водой друг против друга спинами к бортам. Так что видеть происходящее снаружи можно было только в иллюминаторы напротив. Наверху быстро синело, почти до черноты. Временами казалось, катер, натужно ревя моторами, окончательно уходит на добычу могучему морскому царю. Посудина рыскала носом и валилась на стороны, проваливаясь в ямы. Однако льющисся на стёкла потоки, вперемешку, от ливня и разбиваемых волн, говорили о том, что они ещё борются со стихией, не поддаваясь затягивающей на дно чудовищной силе. Этот шторм по пути в Керчь напугал всех пассажиров, бледные лица выдавали состояние людей. Однако никто не плакал, даже дети. От сильной качки и рывков катера, когда тот вырывался из цепких объятий толщи воды и падал с гребня волны в очередную жуткую пучину, его мutilо.

Слабый отголосок этого состояния он чувствовал, когда шёл воду в городе. Запах и привкус сероводорода чувствовался даже в сладком и ароматном газированном лимонаде.

По прибытию, – они действительно добрались до Керчи, правда за полчаса, но живыми, – честно сказать, едва, – уже дома у дяди Юры с тетей Лидой выяснилось, что он, папа и дядя Юра отравились шпротами. Одна банка которых, будучи вскрытой на перекусе в трюме паромы, была подъедена бравыми



мужчинами во время обеденного пиршества в Героевке. Правда, мама была уверена, что интоксикация организма произошла не от испортившихся на жаре консервов, а от поедания мидий. Даже приготовленных, не говоря о сырых. Нестыковка была явной, ведь тётя Лида, не говоря о самой маме, тоже не заболела. А она, как и папа, не ела мидий сырыми, а только вареными. Так что мама нехотя признала, что те должно быть ни при чём. Но чувствовалось, что она осталась при своём мнении. Тем более, зная рацион этих ракушек.

Несколько дней прожили у дяди Юры с тётей Лидой. В трёхкомнатной квартире было достаточно места, их дети были в пионерском лагере. Непонятно только зачем отправляться куда-то на отдых, когда море в десяти минутах ходьбы. Он обгорел, и в один из дней так сильно, что мама мазала плечи и спину сметаной, а он бегал по комнатам, создавая встречный ветерок, чтобы охладить разгорячённое тело. Мама даже градусник ставила, качала головой и вздыхала. Но всё обошлось, только через время он стал терять кожу, лоскутами обдирая сухие белые лохмотья.

Дни они, семьей, проводили на море. А в выходной к ним присоединились дядя Юра и тётя Лида. Неугомонный дядя Юра тут же порешил, что приготовит уху, прямо на пляже. Это там, где лежат отдыхающие костров разводить нельзя, а под самым забором они никому не мешают. Кстати, купаться здесь тоже запрещено – и ничего, вон сколько народу. Место они выбрали у самой бетонной стены, условно ограждавшей расположенный позади судоремонтный завод, на котором трудился электриком дядя Юра. В один из проломов дядя Юра и отправился с кастрюлей, набрать воды. Мама не пустила с бедовым ухарем, – наверно, специалистом по ухе, – дядей Юрой. Юшка же получилась знатной, пристёрбывалась смачно. Рыба, правда, была покупной, слегка язвила тетя Лида. Но ничего, главное навар удался. Рыбки были такие вкусные, что обглядывались и обсасывались до белых скелетиков. Соседи ловили запахи расширенными ноздрями.

После того, как дядя Юра сообщил, что младший сын часто находил на пляже деньги, однажды даже часы золотые и цепочку, он перевернул и перекопал руками кубометры, но никакого клада не попалось. За исключением всякого мусора. Люди теряли ценности, переодеваясь, и потом, если вовремя кидались за пропажей, часто не могли отыскать их в песке. Валерка просеивал песчинки мелкой рыбацкой сетью, которую специально приносил из дому. Кстати, Ленка до сих пор носила часики. Валерка подарил сестре на день рождения.

На следующий день, в воскресенье, в городе ожидался большой праздник – день Нептуна. Больше на потеху отдыхающих, местные чтили день рыбака.

Утром в предвкушении торжества прогулялись на рынок. Развалы рыбы зазывали, но его больше всего влекли варёные розовые креветки. В кульках, свёрнутых фунтиком из газет, бабки продавали по полтиннику на каждом углу и раньше, но лишь сегодня, по случаю ли праздника или при тёте Лиде, мама разрешила купить вкусных, легко очищающихся рачков.

День Нептуна разочаровал. Самого подводного царя олицетворял лохматый и бородатый старик в короне, плавках и водорослях. Под звуки маршей из репродукторов, разъезжая туда-сюда вдоль увешанной флагами набережной на моторке, поддерживаемый под руки матросами деда потрясал трезубцем, похожим на большой гарпун для подводной охоты, и разбрасывал, извлекаемые из мешка ракушки и мишуру. Приличного размера раковина прилетел в плотную толпу, и попала зазевавшейся женщине по соседству в голову, да так неудачно, что у неё из-под волос на лоб потекла кровь.

Ему не повезло, и раковина досталась тем, кто стоял ближе к происшествию. Уже в Русской Маме папа сплавал саженками к самой дальней отмели, где зарождались первые волны, и достал ему со дна большого рапана, в глубине которого всегда шумело море, даже когда они вернулись к себе домой на север.

Тогда, на празднике, дядя Юра и предложил родителям ключи, по его словам позыченные у знакомого, от дома в дачном поселке, который, смакуя во рту звуки, называл Русская Мама. При этом тётя Лида каждый раз уточняла, что это теперь Курортное. А дядя Юра неизменно прибавляя, что там обязательно понравится, на что тётя Лида согласно кивала и улыбалась приятным воспоминаниям.

Последнюю летнюю неделю перед отъездом домой в Пермь можно было уединённо провести на море. Ничего не делая, ни с кем не общаясь, загорая и купаясь.

И вот теперь они уезжали после всего лишь одного единственного дня восторга от пребывания в Русской Маме.

Действительно, совершенно непонятно, как можно было добровольно покинуть столь притягательное место. Как магнитный железняк, который случается в природе, по словам папы. Нашли они с ним на склоне всего лишь бурый, но тот тоже очень полезен. Из него извлекают железо. А с виду камень и камень, только рыжий, как дядя Юра. Но здесь вся почва такая, от обилия железа.



На первый взгляд, ничего, по сути, необыкновенного им не открылось. Солнце, степь, песок, жёсткая трава, пробивающаяся на поверхность, несмотря на сухую глинистую корку, тёплое море и тишина, шуршащая жёлтыми песчинками при каждом дуновении лёгкого ветерка.

После голой, поросшей выжженной солнечными лучами травой, земли разом появилось, показавшееся издали голубым, Азовское море. Машина выехала на гребень холма, папа притормозил, и они радостно затормозили, так и не развеселившись до их возбуждения, маму. Протяжная бухта со спокойной гладью, совершенно без барашков, пугающих маму, лежала перед ними, доступная к охвату одним взглядом. К вогнутому берегу долго катились пологие и невысокие валы волн, мягко заливая песчаный берег, где лепились домики, теснясь к воде.

Плавать он не умел, пока так и не научился. И мама, опасаясь за него, настрого запрещала заходить далеко. А уж без папы и вовсе нельзя купаться. Оттого он катался на мелководье на длинных, серых и тёплых волнах неглубокой бухты, вытягивая перед собой лыжами руки. И при каждом возвращении махая приветственно маме, оставшейся сидеть на полотенце и улыбающейся ему всякий раз, когда их глаза встречались. Он же прискоком отбегал в море, чтобы вновь поймать волну при начале зарождения и подольше проехать на её вспухшем бледно-зелёном, живом теле до самого песка. Папа страховал, барражируя разными стилями плавания и отсекая его от тёмной глыбы.

Неподалёку худосочный парень гонялся за смеющейся взахлёб девушкой и, наконец, догнав, попытался подкинуть в воздух. И папа, заскучав от однообразных перемещений в детском лягушатнике, включился в их игру, вызвался помочь парню выбросить девушку повыше к небу. Та начинала смеяться, ещё только забираясь на сплетённые в замок мужские руки, от предвкушения того, как вытянувшись вперёд вонзится узкой рыбкой в воду и вынырнет в десятке метров от восторгающихся её грацией мужчин.

Наблюдая за заразительно увлекающимся папой, он шагами сместился в море, к самому началу образования высокого гребня. Дождался девятого, и ему удалось оседлать медленно вспучивающийся горб. Его стремительно понесло к суше, однако вал волны, захлестнутый отхлыывающей от берега подругой, опал вдалеке от пенистого уреза воды, и он не успел твёрдо встать на ноги, как его тряпичной куклой понесло обратно. Сбитый лавиной едва солёной жидкости, он захлебнулся, попытался неловко грести в водовороте, но не смог преодолеть напора буруна, – его неотвратимо тащило на глубину, куда возвращалась живая вода, чтобы вновь обрести желание взять приступом такой далёкий берег. Отчаянно барахтаясь, он вытягивал шею, чтобы увидеть свет, а не мутную, пузыристую воду, которая затекла в рот и ноздри. Старался удержаться на мелководье, но тщетно, его неотвратимо тащило от не обращающих на него внимания радостных в своих забавах людей. Наконец, из последних сил выпрямился, и ему удалось зацепиться кончиками пальцев ног за дно, покрытое уже мелкими камнями. И устоял при последнем втягивающем дыхании волны, – теряя своё, полностью накрытый пологом воды, – выгнутый дугой, стремясь всей душой к маме, когда ноги, едва цепляющиеся за грунт, и руки, короткими толчками отбрасывающие воду, оставались уже позади тела. Почувствовав затишье во вдохе море, он вырвался из затягивающейся петли и, теряя последние силы, погрёб к берегу, помогая ногами, зарывающимися в песок. Боясь показаться на глаза родителям, он, отплёвываясь, отдышался на мелководье. Волны били в дрожащие колени, бросая на песок, но он неизменно вставал, не давая подумать, что с ним что-то случилось, и поглядывал на маму с папой, которые стояли друг против друга, разделенные смятым полотенцем, и о чём-то возбуждённо разговаривали. Вернее говорил папа, как всегда жестикуюлируя, когда бывал чем-то недоволен, а мама стояла молча и смотрела в сторону, закусив верхнюю губу.

Он не знал, что переживал папа, когда отлучился помогать незнакомому парню подбрасывать девушку. Вспоминал ли своё детство, или первую любовь, или маму. Не знал он, и о чём думала мама. О том ли, что папа мог бросить её, или она огорчалась, что папа оставил его одного в непредсказуемом море.

Знал он только, что мама до паники боится того, что он может утонуть. Она ещё очень сильно переживала своё возвращение из роддома без сестрички, которую ему обещали. И потому, наверное, держала около себя и его и папу, боясь тоже потерять.

Спрятав ключ в условленном месте под крыльцом, они покинули деревянную дачу, стоящую зарывшись прямо в песок.

В этом покинутом доме были скрипучие, некрашенные дощатые половицы, много плетёных тканых белых занавесочек с вышитыми той же нитью, только плотнее, рисунками, накидок на кроватях, подушках, тумбочках, гнутых стульях. Соломка ковриком встречала желающего отдохнуть в плетёном кресле, суконные рогожки и рядна покрывали сундуки с неведомыми сокровищами, вывезенными с далёких островов. На стенах не висело фотографий, и оттого нельзя было представить людей, бывавших здесь. Но отчего-



то казалось, что если бы фотографии были, то их было бы много, на всех стенах, чёрно-белых снимков в узких блестящих, похожих на начищенный алюминий, рамках. Незнакомая семья, поодиночке, парами и группами, неизменно бы улыбалась. В этой застывшей жизни, непонятой и неведомой, но такой привлекательной, что это невозможно было выразить словами, хотелось, никогда её не оставляя, пребывать, вместе со стрекотом сверчка, жужжанием жука, скрипами и шорохами. Охватывало желание погрузиться в вечно текучее стоячей волной время, слиться с тёплыми, затхлыми запахами тлена и пыли, с присвистом ветра за маленькими окнами, со звяканьем стекол, с покачиванием ветхих стен, словно бортов парусного судна, стоящего на якоре в кромешный шторм, – выдерживая все удары и сполохи стихии.

Как приятно было бы лежать в постели и слушать наступающую ночь. Неизбывный шум набегающих волн, продолжающихся на суше сеющими поземкой жёлтыми песчаными разводами, такими глубокими, что утопают ступни, которые легко порезать о жесткие стебли изредка пробивающейся из песка колючей травы.

Ему не хотелось отсюда уезжать. И не потому, что нужно будет идти в школу. В первый класс он как раз хотел.

Папа накрыл ладонью мамину руку, лежащую на колене, и она не отняла её. Папе пришлось убрать свою руку лишь на крутом повороте, когда он крепко и надёжно взялся за рулевое колесо.

Незаметно для родителей, наблюдая за ними с заднего сиденья автомашины, он грустил, продолжая всматриваться в океан бурой степи, неотвратимо съедающей синеву моря, так что скоро лишь бездонная голубизна безоблачного неба будет напоминать о водной глади. Как же хотелось слиться с ней, стать её частицей и скользить в толще этого единства.

Он надеялся, что когда-нибудь возвратится, чтобы снова пережить непередаваемое словами чувство сопричастности и проникновения в иной мир. Хотя уже и понимал, что это до конца невозможно. Ведь ничто не стоит на месте, и второго раза, повторяющего первый, не бывает. Всё меняется, и мы меняемся, только какие-то главные, глубинные связи в нас неизменны.

Вскоре впереди покажется паром с разверстой пастью, готовый неустанным проводником перевезти на другой берег, возвращая их на обратный путь – домой.

ПРОВОДЫ рассказ

На краю села она остановилась, отдышаться. Ей не хватало воздуха. Больше от волнения.

Помнил ли Олег Николаевич, как в наполненной ночными шорохами хате босиком, в одной ночнупке она в полубомороке стояла во мраке напротив отведённой ему постели и ожидала, что он тихо, чтобы не разбудить её мужа, позовёт к себе? Она и сейчас была уверена, что гость их не спал, хотя и ничем не выдавал бодрствования...

Тёплые ночи, весна окончательно установилась. Огромная полная луна висела позади.

Ставни соседнего дома не закрыты, и она отважно посмотрела в темень омота оконного стекла, себе в лицо. В сумеречной подсветке месяца овал виделся молодым, морщинок не заметно. Она поправила ореол чёрной чёлки, взбила немного, позадорнее, и тут же растрепала: бессмысленные надежды.

Всю дорогу прошла пешком, торопилась так, что сбила ноги. Давно ненадеванные босоножки натирали. Когда-то нарядные, праздничные, они были извлечены из небытия громоздкого чемодана, запылившегося под кроватью серым мохнатым покрывалом. Почти бежала сюда, к этому невысокому штатетнику, за которым прорисовался на ночном небе, подсвеченный огнями собственных окон, дом с чёрным квадратом открытого чердака. Для заселения кукушкой. Аиста хозяевам ждать поздно.

Калитка скрипнула, входная дверь стукнула. И ещё приподняв остро торчащий вверх подбородок, она вошла, к звукам многих голосов.

Провожали пожилого мужчину, усаженного на почётное место во главе стола, составленного из нескольких, что скрывали цветастые клеёнки, наброшенные внахлёст. Поутру Олег Николаевич уезжал в Сибирь, домой. Седина, конечно, и возраст уже, но какая выправка, и сухой, резкий очерк лица. И взгляд бледно-зелёных мягких глаз. Взгляд на неё. Олег Николаевич опустил наполненную до краев граненую рюмку на столешницу, слова тоста не успели прозвучать. Митя Мельник, хозяйнуя, предложил ей присесть. Замахал лопатицами – лопасти мельницы – рук. Да и гости приветственно загудели. Вернее, мужчины высказались одобрительно. Женщины переглянулись, покивали. Незамужняя, да. Однако, вдова. И тем не менее.



Хозяйка поставила перед ней тарелку, шутя, предложила ухаживать за собой. Что-то говорили вокруг все, балакали о том, о сём, с привычным южным тюканьем. Разговор метался через стол замысловатыми переплётами, обрывался, зачинаялся, перескакивал.

– Ты послухай, что Олег Николаевич кажет, когда ещё умного человека доведётся. В нашем-то захолустье. Дальний путь, сколько часовых поясов.

Выпили за Олега Николаевича. Другой раз. Не опять, а снова. За хорошего человека не грех. Только пригубляла она.

Рядом к нему не подсесть. Женщин разместили на противоположном краю стола. Не перекинутся с ним словом. Не сказать, что на душе. Не высказать. Ещё раз встретились их взгляды. Передайте соль, пожалуйста. Обратиться неудобно. Смотрят, казалось, все на них. Кто не в упор, в глаза, так исподволь. А что они знают? Сплетни одни.

Наконец запели. Она не решилась начать, и Настасья завела высоким своим голосом. Подпевала и она, но не перетягивая на себя. Ещё песню затянули. Шутки, смех. Удержала пальцами скользкую прозрачную косынку. Сползла с плеч, открыв шею: случайно.

Она так посидела-посидела и ушла, – всё не о ней разговаривают. Вернее, он не замечает. Ведь за-ради него пришла. Не видит, не хочет видеть. Значит, так пусть и будет, так пусть и остаётся. Раз так сложилось. Другого уж не случится в жизни.

Бабам сказала, нужно за королевой больной посмотреть. Всё как у всех, живность в каждом дворе. На-шла предлог, сослалась на занятость.

Он вышел из-за стола за ней вслед. Сознавал, все догадаются о причине, но ничего не мог поделаться с собой, не мог не выйти. Сразу и без повода. Увязался хозяин, Дмитрий, поняв отлучку как перекур. Хлопнул по плечу, он улыбнулся в ответ. Решал же, колеблясь: проводить её, или не нужно? Можно или нельзя. Как уйти от людей, собравшихся из-за него, жажда общения. Невозможно, нет, никак. Или просто пойти – и всё.

Задержалась за воротами на дорожке, и он приблизился, войдя в густую лунную тень от высокого вяза. Привычно прячась от солнцепёка, или боясь видеть друг друга? Блеснули глаза на мгновение, и опять опустила пушистые ресницы, скрыв золотые блёстки на дне синих озёр.

– Мария, рано уходите.

Он зашнулся с продолжением. – Прощаться надо.

Угощающе Дмитрий протянул раскрытую мятую пачку сигарет некурящему гостю. Он облизал пере-сохшие губы. Её не разглядеть вдосталь во мраке, а как рядом она, не забыть. Светлые волосы, смуглое лицо, двойной изгиб дуг бровей, улыбка с ямочками. И чёрный рот, – девически припухлые губы.

Он хотел, хочет предложить, сейчас предложит – проводить её, ну хоть до поворота. Кто-то ещё вы-двинулся на крыльцо. Из чрева дома в приоткрытую дверь донёсся сдержанный хохот застолья. Может, свернув за угол, с глаз следящих долой, он решился бы и пошёл с ней дальше, решится и пойдёт дальше, до самой её хаты. Но Дмитрий уже зовёт обратно, продолжать. Бойится потерять желанную незагранную игрушку.

Гости ждут. Ещё расскажите за те волны и свет.

Да, свет заливает её всю. Удаляется отчётливая чеканно стройная фигура, колышется блестящий подол платья, движимый не уверенными в правильности выбора, заплетающимися ногами, – в бесконечность. Идёт по дорожке вдоль невысокого прозрачного забора, оглядывается: на прощание. Простились уже они. И нечего сказать больше. Вот-вот исчезнет во тьме.

Он знал, куда она пойдёт, весь её путь, самолично не раз хоженный. Сейчас за околицей, с трескающе-гося поперечными натужными жилами асфальтового большака, она тут же, не путаясь живущей впотьмах совсем крошечной темени и её звуков, свернёт на накатанный просёлок (будучи проложенный так давно, что никто из ныне живущих и не помнит – когда; да и не задумывается о том никто), петляющий по ровному полю-выгулу, ведряным днём густо пылящий, пытящий мучным, медленно рассеивающимся облаком после каждой машины, как прежде телеги, – но ныне пустынный в ночи, затем с просёлка, вихляющего уже по-над опушкой, вскоре вновь резкий левый заворот, и далее – нырок на протоптанную торопыгами тропинку, и наскрозь, через дубки – рощу, широко обнимающую извилистую речушку, таящуюся на дне оврага в глуби чащи – к себе, обратно, откуда недавно пришла. И вот так-то пойдёт, всё короткой дорогой, напрямки зачем-то. Торопиться ведь не к кому, хоть и есть куда. Никто не ждёт в тихих стенах, где мерно прохаживаются одни ходки между двух нешироких окон.

Бежать ли она будет или идти неспешно шагом? Убегать от него или отдаляться? Но – навсегда.



И он не только знал весь этот её путь домой, открытым просёлком и лесными тропками, эту пару с гаком, как говорилось местными, километров (где собственно гак был ещё в пять километров), в спрятанное в неглубокой ложбине у тихого, поросшего камышом и осокой, ручья, сельцо, и знойными, и морозными, и слякотными днями обзирающее единственной улицей неогороженный и, казалось, потому неудержимый погост, по-за прозрачной акациевой рощей, на взгорке, стремящийся на винтах крестов улететь в обыкновенные, безоблачные небеса, но он и, наверняка, ведал, что появилась на этих его проводах она специально, пришла именно к нему, на встречу к нему, навстречу ему, проводить, не боясь неизбежных пересудов. В отчаянной надежде удержать.

Ведь бывает же счастье на свете, бывает. Всё равно – бывает. Случается. Она в это верила, вера эта помогала ей жить. И девчонкой, и сейчас, после заката, – красоты, молодости, дня. Она взмахнула на ходу руками, будто радостно всплеснула, дрижируя самой себе: подымая, лишь быстро отерла ладонями щеки от слёз. Совсем незаметно для окружающих.

Она обернулась, сворачивая за угол, его не было, – повернулся до дому с Митькой.

И она запела. Она всегда пела свои песни, которые сочиняла и не записывала. Она просто помнила их, не в силах забыть, хоть и много их вылилось последние годы из тревожного, откликающегося на частые горести и редкие радости сердца. Наверное, сочиняла, чтобы и мозг был занят, а не только руки, ухаживающие за домом, хозяйством, садом. Держала и огромный, ненужный ей в таком просторе огород. Занимала себя. И корова ещё, птица. Гомон жизни. И собака жила ещё и кошка у неё.

Чувствовала она, как отзывалось сердце его на каждую песню. Только тебе нравится, как я пою. А он, переставая лучисто, понимающе улыбаться, удивлялся, как так может быть. Но народ любил народные песни, а её пока таковыми не стали.

Лишь соседи, попервах, слышав пение, заходили погугарить, опасаясь за неё: не случилось ли чего с головой.

Запела она, когда осталась одна, когда муж умер. А дочь уж давно жила в городе, своей семьей. Соседи поволновались, но быстро успокоились. Она осталась такой же: уверенной и размеренной. И внешне не изменилась. А в душу ведь не залезешь. Как ни пытайся расшевелить разговором.

Одиноко стала жить. И стало одиноко. Дочь не приезжала, внуков не привозила. Несколько раз по осени сама к ней выбиралась погостить. Урожай привозила в сумках. Ехать без гостинцев было отчего-то зазорно, хотя зять и не косился, молчал только всё, телевизор смотрел – бесконечный футбол, – благо спутник. Автобусами-то всего, на перекладных, четыре часа ехать. Не спеша, за неделю выкопав картошку, подсаживалась в попутную бортовую машину, мешки водитель помогал закинуть в кузов.

И она шла и пела, о размытых влагой, приближающихся, и оттого больших, звёздах и мягкой, невидимой под ногами, дороге. словно и не знаешь ты, куда ты идёшь, не выбирая пути. словно ведёт тебя кто-то сверху. А о том, как по стезе можно идти рука об руку с тем, кто тебе дорог, и так идти по земле без конца и края – о любви, – петь не хотелось. Простые слова помогали пережить, переживать и прожить выпавшую на долю участь. Которую осталось доживать. Так рано, так рано всё закончилось, не успев и начаться. Всё пройдет, и скоро и ей уходить.

Они уж совсем собрались заходить в дом (задержались на крыльце; он, одновременно говоря и думая о ней, отвечал на почтительные вопросы хозяина), вторую сигарету под беседу докурил Дмитрий, тщательно сминая сапогом окурок на цементном дворе, как появился, нарисовавшись узким бестелесным призраком, тощий Михеич. Третьим, закругляя мужскую компанию до нужного числа. О чем и пошутил, достав из-под полы кургузого пиджака, нагретую в нагрудном кармане, короткошеюю початую бутылку с любовно очищенным самогоном, припрятанным от злюки-змеюки-жены: предложил. Он отказался. Дмитрий же гостя и горластого соседа не обидел.

Выбежал Михеич до ветру, в кусты, не прельщаясь будкой туалета. О чём и поведал, похотатывая, с колоритными подробностями: запутался в колючих ветвях. Могли случиться и тяжёлые для будущего наследства последствия. Темно, да и некогда разбираться жаждущему опорожниться страждущему. Михеич опять хохотнул, оторвав смачно залипшие губы от горлышка, и сообщил, что видал Марию. Оглядывалась она, задержалась у угла, где улица переходила в дорогу, выбегающую в поле.

Ещё раз оглянулась, ждала, значит, что он проводит, надеялась. Надеялась, решится он пойти вослед ей.

Сидя за столом, окружённый поющими протяжные и вольные как степь песни людьми, он вспомнил, как впервые оказался в её хате три года назад, попав на её день рождения (сорок семь, не жеманясь, сообщила она), намечавшийся отмечаться вдвоём с рыхлым брюзгой мужем, когда в первый раз приехал в это приграничное село Грайворонского района на Белгородчине, где за четыре дня до того умер его



отец. Давно ушедший от его матери, от детей, и от него, из семьи, поселившийся в этих местах у новой жены, встреченной им в длительной командировке геологоразведывательной партии. И он, единственный из всех, ни два его брата, ни, естественно, мать, тем более болея, — да и не простила она бывшего мужа, — не поехали, неожиданно собрал чемодан и поехал к отцу, узнав о его смерти. Друг детства отца, поддерживавший с ним переписку, сообщил. Но на похороны он опоздал, вернее и не мог успеть, так как далеко.

Под вечер нашел свежую могилу, убранную кольцом из пластиковых венков после недавнего погребения, на уже пустынном сельском кладбище. Посидел на сварной металлической лавочке под вытягивающимися к нарождающемуся серпику месяца ясенем у соседнего холмика, уже обжитого осиротевшими родственниками некого Остапчука. Затем вернулся в недавно пройденное по дороге на кладбище вытянутое вдоль улицы село, чтобы найти ночлег. Ему хотелось утром вернуться на могилу. В оборванные навсегда узы кровного родства ещё не верилось, память детства, тепло общения с отцом, не отпускали никогда, заставляя многожды думать и страдать от воспоминаний. И зашёл в первую хату, где призывно горел рано зажженный свет. И он потянулся на этот огонь.

Промолчал в тот вечер о причине приезда, не желая портить новым знакомым тихое маленькое торжество. Лишь поинтересовался с порога фамилией приютившей, отзывчивой четы, где инициативой владела она. На всякий случай, чтобы не попасть в семью отца, состав которой даже точно не знал. Удовлетворяя любопытство хозяев, весь вечер рассказывал о своих научных работах, и поездках. И видел, с каким интересом она смотрит, и как вспыхнула, когда их пальцы столкнулись: подавала кушанье.

Мария потом взялась помочь, весь год ухаживала за могилой отца, сажала цветы, убирала, вышала-вала сорняки. А однажды ночью, в следующий приезд, он вновь спал на тахте в соседней со спальней хозяев комнате, в хате, где у комнат нет дверей, а только цветастые ситцевые занавески в проёмах меж белых наличников, и она осторожно подошла к его постели от спящего и сопящего зобом во сне мужа, и в поскрипывающей переминающемся от неуверенности половицами темноте очень долго стояла неподалеку от его кровати, — а он притворялся, что спит. И, похоже, она понимала, чувствовала, что он не спит. Так долго она ожидала, стояла и ждала, растягивая тикающие мгновения уходящей в прошлое жизни. Темнота не позволяла увидеть её, только светлело пятно ночной сорочки, приближая зарю.

Тот год, поутру, он уехал, — чтоб вернуться опять этим летом, в отпуск, последний перед пенсией, — Митя Мельник, шофёр, живший в соседнем, большом селе, подбросивший однажды на своём КамАЗе, повёз его на поезд.

Сегодня она не пошла сразу домой, заглянула на могилу мужа, посидеть около, обняв руками колени, помолчала с ним вдвоём, и не пела. Село давно затихло внизу, в ногах, у подножья холма. Ночь объяла её тёплыми крылами за сдвинутые вперед плечи, обнявшие бьющееся сердце. Светила огромная, жидко-жёлтая, вся в серых потёках слез, луна. Изредка пролетали спутники, где-то в городе зять пользовался их сигналами, дочь же и внуки спокойно почивали и видели лёгкие быстротечные сны. И она была счастлива тому.

А он, убедив разгорячённое общество, что его внезапный отъезд необходим по работе — вызывают — сидел на скамейке, на станции, оставленный ожидать проходящий поезд незнакомым, но трезвым Мельниковым знакомцем, польстившимся на деньги. Сидел и думал, что жизнь может ветвиться, пути-дороги те неисповедимы нам, и каждый человек, и его душа, настолько огромны, что вмещают весь мир во всем его многообразии.

Думал о жене, оставленной далеко, не понимающей поездок к несуществующему для её понимания отцу, которого он не видел сызмальства, вспоминал её, к которой теперь ехал, возвращаясь домой. И размышлял о жизни с женой: вижу твои глаза, слышу твой голос, вижу лицо, а о чём ты думаешь — не знаю. Он изменил однажды, ей сообщили доброты. И с тех пор знал, что если ушёл из дома, то она и об этом наверняка думала, обязательно думала, он точно это знал. И это влияло на его жизнь, на него, на их отношения, и на его отношение к жене. И лучше бы не знать вовсе, о чём она думает теперь. А о чём ещё думает, — кроме того, о чём он знает, — того он не знал.

Звёзды щедро окропили ночь, длинные мётлы веток тополя качались по ним, — над их склонёнными долу головами, — не в силах смести с небес россыпи миров. Бесплодные попытки.

Она встала, отряхнула платье, сняла босоножки, и босиком пошла домой, — торопиться было некуда. Он уехал к жене, с ней он жил намного дольше, чем без неё.

Близился рассвет, расставляющий всё на свои места.

ЭЛЬДАР АХАДОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ. КУБА

ВОЛНЫ КАРИБСКОГО МОРЯ

Волны мягко окутывают пространство. Тёплые, они, пока тыходишь в них, ласково целуют твои ноги, затем, словно живые ладони, мягко гладят твою грудь и спину, чуть покачивая тебя. Прозрачно-изумрудные, они сопровождают каждый твой шаг навстречу и легко выносят тебя, когда ты устремляешься к берегу. Это очень похоже и на музыку, и на любовь. Может быть, и то, и другое когда-то и впрямь родилось от них...

ЧЁРНЫЙ КОЛИБРИ

Это было неподалеку от хутора Каса-де-ла-Гайега. Остановившись передохнуть после продолжительного пути по партизанской тропе, я обратил внимание на находившийся рядом куст высотой примерно в три метра, усеянный крупными ярко-оранжевыми цветами. Среди прочей тропической зелени он явно выделялся. И вдруг послышался лёгкий треск крыльев, похожий на стрекозиный. В глубине куста между цветами порхало нежное существо величиной с большую стрекозу, но явно с птичьими крыльями и тонким длинным носиком. Крылья колибри и само её тельце были абсолютно чёрного цвета с перламутровым переливом. Я замер, восхищённо наблюдая за этим чудом дикой природы. Только цвет птички заставил меня на мгновение усомниться в реальности её существования. Мне казалось, что все колибри цветные.

Но тут я вспомнил, что несколькими часами ранее возле деревни Чарко-Асуль наш проводник Хорхе показывал всем, как высоко на дереве цветёт абсолютно чёрная орхидея. Раз существуют чёрные орхидеи, почему бы не существовать и чёрным колибри?

ВСТРЕЧА С БРОНЗОВЫМ ХЕМИНГУЭМ

Вчера побывал в доме Хемингуэя в Гаване. Увидел тот самый колокол, который звонит по каждому. Убедился, что праздник всегда с нами. Насмотрелся на оружие, с которым попроцались. Книжки, книжки, книжки в каждом свободном и несвободном уголке.

Вот катер, на котором он ловил рыбу. Вот бассейн, в котором он купался. Вот могилы его любимых собак. Вот орхидеи, которые разрослись повсюду... Писателя не было дома. Но ощущение, что он где-то неподалёку, не покидало.

В городе случайно заглянул в старинный отель «Ambos Mundos»: всюду его фотографии на зелёной стене. А под ними – девушка, читающая его книгу. Местные называли его «Эль Папа». И здоровались все, вся Гавана, когда он прогуливался по городу. Вот отель «Флорида», где в ресторане я попробовал его любимое мясное блюдо, которое здесь готовят и сейчас. А вот и он сам – Эрнест Хемингуэй в своём любимом баре «Флоридита», где для каждого делают его любимый напиток «дайкири».

Привет, «Эль Папа!». Ты снова здесь... ты всегда с нами.

СЬЕНФУЭГОС

Честно говоря, я предполагал, что город носит фамилию команданте Камило Сьенфуэгоса, погибшего в первый год победившей кубинской революции. Но это оказалось не так. Город носит фамилию испанского губернатора, основавшего в 1819 году единственный на Кубе крупный населённый пункт, построенный по французским архитектурным канонам... Жара стояла неимоверная. Первым, кого



я заметил в городе, оказался бронзовый памятник местной знаменитости – певцу Бенни Море, весьма неординарной личности, скончавшейся в возрасте 43 лет от наркотиков и запоя, будучи гордостью всего города за уникальное исполнение полюбившихся песен. По одной из старинных пешеходных улочек с крикливыми зазывающими продавцами я вышел на площадь, центром которой в отличие от городов испанского происхождения является городской сквер. В самой его сердцевине – памятник Хосе Марти – из ослепительно-белого камня. Правее – громадное дерево – сейба – символ Кубы и всего кубинского. Сейба – самое высокое дерево Антильских островов, Культ сейбы – живая фольклорная традиция. Легенды о ней знают все – от мала до велика. Сейба почитается во всех религиях, представленных на острове Куба. Корни культа уходят в индейскую традицию. Это дерево считается покровительницей всего живого, способствующей плодородию людей, животных и растений. Его называют Матерью деревьев и людей, Деревом божественной силы, Деревом, дающим жизнь, Матерью мира, Небесным столбом. Она служит жилищем и тронем главных божеств – и христианских, и афро-кубинских. Дерево воспринимается как доброе и могущественное божество с нежной и ранимой душой: «Сейба плачет, когда ей наносят оскорбление». Отношение к сейбе такое же, как и к большинству сакральных объектов: её нельзя обижать – относиться непочтительно, срубать, колоть, обрывать листья (крестьяне, расчищая участки леса под посевы или пастбища, никогда не трогают сейбу). Только для лечения болезней у неё просят кору, ветки или листья. Сок, которым обильно пропитано всё дерево, и дождевая вода, скапливающаяся в дуплах сейбы, считаются лучшим средством от всех недугов. Из древесины никогда не строят дома, не делают мебель, не вырезают посуду или орудия труда. Только белыми шелковистыми волокнами, которыми наполнены плоды сейбы, набивают подушки. И тогда спящему снятся пророческие сны. Не только люди, но и звери, и все силы природы относятся к сейбе с благоговением: никто никогда не видел, чтобы её спалила молния или повалил самый свирепый ураган. Все повторяют, что «молния уважает только сейбу и больше никого на свете». Кубинская народная традиция наделяет христианскую Деву Марию и олицетворяющую её сейбу чертами древней богини дождя и плодородия и ещё более архаичной хозяйки – покровительницы лесных животных. Многие старики верят, что сейба-Дева повелевает дождями: она вся наполнена ими, а под её корнями – большое озеро или источник.

До революции во время засухи со всей округи собирались сотни людей и поздно ночью с зажжёнными свечами в руках шли к сейбе, обходили её вокруг и молили, став на колени, о дожде и урожае.

Главное, что запомнилось в короткой встрече с городом Сьенфуэгос (Cienfuegos) – его старинный бар с самым правильным приготовлением коктейля мохитос и чудесными уличными музыкантами. Местный художник прямо в баре за три минуты сделал мой шарж и подарил его мне, пока я шёл своей мохитос.

ТРИНИДАД

Наверное, стоит сказать несколько слов о том, что встретилось в дороге. На кубинских дорогах движение достаточно спокойное. Автомобилей не много. Есть ещё и конские повозки, брички и тому подобное. У всех лошадей на глазах шоры. Много велосипедистов и байкеров. Авто в основном советское: «москвичи», «жигули» – в том числе легендарные «копейки». Грузовые «КамАЗы», «МАЗы» и «ЗИЛы». Иномарки – очень редки. Главная кубинская дорога была построена ещё в XIX веке: из конца в конец острова по длинной его составляющей. Должна была иметь 7 метров в ширину. Но наш гид Роберто сказал, что метр тогда ещё украли пронырливые дельцы. И дорога была построена шестиметровой по ширине. Ближе к Гаване я увидел и современную автостраду с шестью полосами. На короткой остановке после двух с половиной часов езды в баре увидел чучела кайманов. Это небольшие крокодилы. Один был около метра длиной в стоячей позе с маракасами в лапах. Другой, полуметровый – просто стоял на четырёх лапах и приветственно скалился посетителям. Затем проезжали через колхоз имени Ленина. Образцовое кубинское сельскохозяйственное предприятие, борющееся с «золотым драконом». Так называется жучок, поедающий сладкие большие оранжевые апельсины. Чтобы испортить ему аппетит, стали высаживать кислые зелёные маленькие апельсины. Дракон их есть отказался. Но полностью не исчез: притаился и ждёт, когда кубинцам надоест сажать эту кислятину, и они вернуться к тем сортам, которые вкусны и приятны.

Сьенфуэгос стоит на берегах бухты Карибского моря. Многие в городе обучались в Советском Союзе для того, чтобы работать на атомной электростанции. Она построена, но не работает, потому что Ельцин в угоду США запретил поставлять на Кубу ядерное топливо для электростанции. В результате десятки тысяч обученных кубинцев остались без работы и средств к существованию.

Карибское море золотилось под солнцем справа от дороги. Слева возвышались покрытые густой зеленой растительностью горы – Сьерра-де-Эскамбрай. А над автобусом кружила гигантская птица. Я спросил у Роберто, не орёл ли это. Нет, ответил он, это гриф. Перед Тринидадом мы заехали в горный лес и пообедали в крестьянском кафе. Пока размещались за столами, каждому бесплатно от заведения был вручен местный алкогольный коктейль. Позднее я заметил, что такова традиция всех ресторанчиков Кубы: первый коктейль – каждому в подарок от хозяев заведения. За еду платить не надо, а вот за повторный напиток (при желании его употребить) – надо. Но первый – везде бесплатно. Мне это понравилось.

Итак, Тринидад. Если посмотреть на изображение на монете в 25 сентаво и на одну из сделанных мной фотографий Тринидада – это одно и то же. Тринидад – город-музей Кубы, старше Гаваны. Возник он в 1514 году, как место, где добывали золото. Мощёные булыжником улицы, деревянные балюстрады, конные экипажи. Башня «Манак Иснага», с которой наблюдали за рабами на плантациях... здесь великое множество улочных кафе и ресторанчиков. Стоило нам заглянуть в один из них, как нас угостили коктейлем из местного самогона и мёда. Ощущение великолепное. Тут же в ресторанчике появились музыканты и начали петь для нас замечательные кубинские песни. Я заказал второй коктейль. Город целиком объявлен достоянием человечества. Каждое здание в нём – это целая история. Все двери открыты. Всюду музыка и весёлые голоса. Заглянул даже в дом шамана. Помимо больших религий на острове существуют и малые местные. С шаманами и колдунами и духами. В одном из ресторанчиков Роберто показал вещи из России: самовар и железную пепельницу с Марксом, Энгельсом и Лениным. Бродили по улочкам до темноты. А ночевать уехали в горы за 25 км от Тринидада.

СЬЕРРА-ДЕ-ЭСКАМБРАЙ

Моё жилище представляло собой хижину в густом тропическом лесу. На стенах ночью я заметил ящериц, а в санузле по полу валяжно прогуливались гигантские сороконожки. Примерно в таких, но наверняка в более жёстких условиях обитали в лесу кубинские партизаны. Мне и моим товарищам предстояло одолеть на полувоенном грузовике «ЗИЛе» около 20 км по горным грунтовым дорогам. Дальше дорог не было. Нужно было идти пешком по партизанской тропе среди густого влажного леса, в котором полно пауков, змей и другой живности.

Моё место было возле водителя Марио. Отряд погрузился в грузовик и мы направились в гущу девственной сельвы. Я снова заметил гигантскую птицу с широкими крыльями, парящую над нами. «Ауро», – лаконично ответил на мой вопросительный взгляд испаноговорящий Марио. Высоко в горах было влажно и тепло, все деревья окутаны слоём лиан. Выделяются отдельные высоченные деревья – пальмы и хвойные, похожие на сосны. Дорога крутейшая. То вниз, как в пропасть. То вверх, и ничего кроме неба не видно. Наконец, кончилась и она. Пара мазанок, огород. Дальше – сплошная растительность. Земля сыроватая, ноги то и дело скользят.

Наш проводник – Хорхе знает окрестности как свои пять пальцев. Тем не менее пару раз падаю, вернее, соскальзываю с полуразрушенной влажной тропы, успевая вцепиться в ближайший кустарник. Среди них оказываются кусты одичавшего кофе. Снимаю зёрна крупным планом. Через полтора километра похода в сплошных зарослях различаю шум воды. Хорхе машет рукой – сюда! И вскоре я оказываюсь у входа в пещеру. В пещере не холодно, но очень сыро. Узкий ход ведёт куда-то вверх. Под ногами ничего не видно. Один раз я всё-таки серьёзно сорвался и упал, к счастью, в мягкую сырую вязкую глину.

Наконец, расширилось внутреннее пространство, и мы увидели гигантские сталактиты, свисающие откуда-то сверху. И свет из провала в земле. Двигаться нормально мне мешала раненая нога. Где-то порезал ступню. И теперь из-под носка медленно сочилась тёплая липкая кровь... наконец, мы выбрались из пещеры и через несколько десятков метров оказались перед гигантским красивейшим горным водопадом в лесу. Ощущение фантастическое. Продолжив путь, пришлось многократно перебираться по скользкому бревну через бурную реку то к одному берегу, то к другому.

В одном месте среди речных перевёрнутых скал образовалось небольшое горное озеро. Я не рискнул мочить раненую ногу, хотя многие купались в чистой горной воде. Вид у меня был, как у раненого партизана. Спасал только алкоголь в небольших количествах, которым со мной время от времени делились товарищи по нашей «боевой» группе. Амиго Хорхе показывал местные тропические растения, которые могли помочь раненому партизану. Но я сказал, что пока терпимо, буду идти сам. Мы шли вдоль реки уже три часа. Натоптанная тропа иной раз исчезала вовсе. И тогда приходилось идти по каменистому сланцеватому гребню возле бурной воды. Затем – взбираться вверх по еле заметной скользкой тропке.



В одном месте внезапно неподалёку закричала птица. Хорхе сложил особым образом ладони и ответил ей. Завязался «разговор» проводника и птицы. Это как-то отвлекло меня. В другом месте Хорхе заметил сухие семена лианы. Говорил что-то об их целебных свойствах. Я плохо запомнил, но семя, похожее на огромную шоколадную таблетку диаметром около 7 см, взял на память. Наконец, впереди показалось жильё. В этом скрытном месте хозяева дома когда-то подкармливали партизан и лечили раненых. Там каждого из нас тоже ожидала простая крестьянская еда и стаканчик хорошего самогона. Я горжусь тем, что смог пройти по партизанской тропе Че и его товарищей до конца. Спасибо Хорхе, Марио, Роберто и местным товарищам-крестьянам. Партизанские горы Сьерра-де-Эскамбрай мне отныне не забыть никогда!

ХИЩНЫЙ ЦВЕТОК

Далеко не все цветы беззащитны. Наблюдал в лесах горного массива Сьерра-де-Эскамбрай весьма любопытную картину. С виду очень даже благовидный скромный цветочек нежно фиалкового цвета, весьма приятно пахнущий, формой лепестков напоминающий цветы гороха. Подлетает муха среднего размера и пытается протиснуться через зев к сладкому устью. После нескольких безуспешных попыток узкое устье, наконец, раскрывается и насекомое опускает в него переднюю часть тельца. И в этот момент из раскрытого цветочного зева в спину насекомому вонзается острая игла, моментально его парализующая. И цветок начинает высасывать из насекомого все питательные вещества. Через некоторое время от насекомого остается одна только пустая лёгкая оболочка, которая смывается дождём или стряхивается ветром. Конечно, до этого момента я не дожидаясь, но начало «драмы» пронаблюдал и понял, чем она теперь закончится.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ГУАНАЯРА

Я уже собирался ложиться спать в жилище посреди леса Гуанаяра в 25 километрах от Тринидада, когда при слабом свете ночника уловил боковым зрением какое-то быстрое движение небольшого хвостатого существа, пробежавшего по моей подушке и скрывшегося за спинкой кровати. Постояв некоторое время и решив, что мне от усталости померещилось, я обернулся и заметил такое же существо на противоположной стене возле картины, изображающей непонятно что в стиле абстрактного портрета из «Приключений принца Флоризеля». Насколько помнится, всякий знакомый с Клетчатым при взгляде на портрет восклицал: «Это он! Клетчатый!». А всякий, кто не видел в своей жизни Клетчатого, не видел в этом портрете ничего, кроме абстрактных линий и пятен. Такова была и эта замечательная картина: кроме линий и пятен я в ней не распознал ровным счетом ничего.

Зато узнал существо на стене – небольшую пучеглазую ящерицу, замершую на месте, по-видимому, полагавшую, что если застыть на одном месте, то тебя совсем не видно. Я медленно достал сотовый телефон из кармана брюк, включил режим фотосъёмки и сделал пару щелчков. Заслышав резкие щелчки, ящерица тут же ускользнула за картину. Теперь я понял, что именно пробежало по моей подушке и не смог заставить себя сейчас же уснуть. Я лёг и начал наблюдать за картиной с таким живым интересом, какого прежде к абстрактной живописи не проявлял никогда. Моё терпение было вознаграждено: вскоре ящерица появилась снова. В помещении имелось несколько небольших картин, но всякий раз, когда совершал намеренно резкое телодвижение, бдительная родственница крокодила пряталась именно за этой картиной...

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ КУБЫ

Мы думаем, что хорошо знаем недавнюю историю Кубы. По крайней мере, так думают многие в России. И ошибаются. Ничего мы толком о ней не знаем. Некоторые, например, наверняка полагают, что революция на Кубе свершилась социалистическая. И привели к ней кубинский народ коммунисты. Это неправда от начала и до конца. Революция, произошедшая на острове Свободы, изначально к коммунистам никакого или почти никакого отношения не имела. Это был всеобщий протест народа против правления диктатора Батисты, нагло узурпировавшего власть в стране, нарушив все демократические принципы, силой отменившего выборы. Коммунистическая же партия... поддерживала Батисту в сороковые годы. Наше родное советское правительство в те же сороковые годы имело с ним дружеские отношения. Из вождей кубинской революции только один был коммунистом до взятия власти в свои руки. И этот один был не Фидель Кастро. Че Гевара тоже не был членом компартии. Камило Сьенфуэ-

гос, главнокомандующий кубинской армией в первый год победившей революции, вообще, оказывается (это для нас «оказывается», не для кубинцев) был убеждённым членом партии анархистов. Все они боролись с тиранией Батисты, против него, а не за что-то общее. Не за социализм, а за справедливость в стране.

Многие ли знают, что ещё 1955 году до катастрофической высадки с «Гранмы», до начала партизанского движения была попытка мирных переговоров между будущими революционерами и Батистой? И не революционеры их сорвали, а диктатор Батиста. Много раз до приезда на Кубу я слышал о том, что землю на Кубе практически невозможно купить. В конституции России вроде бы прописано, что земля России принадлежит народу России. Но ею давно уже всюю торгуют. А по кубинским законам земля принадлежит тому, кто её обрабатывает. То есть, купить землю нельзя, а владеть ею можно. Нужно только жить на ней и обрабатывать её. И пока ты и твои потомки обрабатываете землю, вы ею владеете. Хоть тысячи лет. Но как только прекратите её обрабатывать, она вам чужая. Куба примкнула к социалистическому лагерю только потому, что не хотела стать американской провинцией, а в одиночку отбиться от засилья американцев никак не смогла бы в силу разных «весовых категорий». О Че Геваре тоже – всё то, что нам «поют» последние десятки лет, либо чушь полная, либо сознательное вранье...

КУБИНСКИЕ ДЕНЬГИ

На Кубе разные деньги. Одни – для туристов – конвертируемые песо – куки. Другие песо – для населения. Они не конвертируются. А есть ещё деньги исторические. Например, первые деньги революционной Кубы, подписанные президентом госбанка Кубы Эрнестом Че Геварой. Их ценность – памятная. В 1961 году ограниченное количество банкнот номиналом 50 и 100 песо было напечатано в Чехословакии и доставлено на остров. На банкнотах – подпись председателя госбанка Кубы – Че Гевары. Одна из особенностей банкноты в 50 песо – изображение на её оборотной стороне момента национализации американских компаний Exxon Mobil и крупнейшей компании по экспорту тропических фруктов United Fruit Company. Позднее нанесение наименований этих компаний на национальную валюту стало расцениваться как скрытая реклама этих компаний. Банкноты в 50 и 100 песо 1961 года с личной подписью команданте Че в дальнейшем никогда нигде более не печатались. Находясь в Гаване 17 ноября 2018 года, я обратился к русскоговорящему гиду, чернокожему кубинцу Барбаро, с которым мы успели сдружиться на литературных темах, с просьбой подсказать при случае: где можно приобрести банкноту с подлинной подписью Че Гевары... Барбаро обратился с таким вопросом к своему столичному знакомому – нумизмату. Минут через сорок тот нашёл нашу группу возле входа в старинную крепость. Через пять минут банкнота 1961 года номиналом в 50 кубинских песо с вожаденной подписью находилась в моих руках.

Её ценность и уникальность я осознал только в России после того как умудрился потерять банкноту в своей квартире.

КУБИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

С талантливой московской художницей, психологом и писателем кубинского происхождения Марией Сантьяговной или (если официально) с Марией Вальдес Одриосола (Maria Valdes Odriozola) мы непосредственно виделись и общались в Москве трижды – 09.06.2017, 21.04.2018 и 10.11.2018. С госпожой (или товарищем, наверное, по-кубински будет точнее) Даниани – полмесяца: с 11.11.2018 по 26.11.2018.

Так получилось, что Мария видела меня в Москве перед самым вылетом на Кубу 10 ноября, а Даниани встречала меня в Варадеро на следующий день. Два душевно талантливых человека, чьи судьбы так или иначе связаны с островом Куба.

Даниани Охеда Сото (Daniani Ojeda Soto) – представитель туристической организации, непосредственно отвечающая за встречу, размещение и сопровождение досуга российских туристов, прибывающих на Кубу для отдыха от нашей производственной структуры. Признаюсь честно, если бы не её бескорыстная помощь, мой первый творческий вечер в Латинской Америке вряд ли был бы возможен.

А московская кубинка Мария украсила мой творческий вечер в столице своими чудесными солнечными живописными работами. Хочу ещё раз выразить обеим женщинам свою глубокую признательность и передать через них кубинскому народу своё восхищение светлыми открытыми бескорыстными сердцами его дочерей.



АПЛОС!

Я снова услышал знакомые восклицания и тут же вспомнил многолюдную ночную в рекламах и фонарях улицу Флорида в центре Байреса, как по-родственному называют Буэнос-Айрес жители города, и голос уличного конференсье, предлагающего публике поплодировать паре танцующей танго милонга, как сейчас: «Аплос! Аплос! Аплос!». Но сегодня я не в Аргентине, а в Варадеро – на Кубе. Но голос кубинского конференсье на сцене летнего театра вызывает к публике точно так же, указывая на великолепных смутлокожих танцоров вечернего шоу «Кубано»: «Аплос! Аплос! Аплос!». Концерты здесь – каждый вечер. Он начинаются не раньше десяти часов, когда становится относительно прохладно, если плюс 25 считать прохладой, конечно. Но для удобства зрителей на каждые четыре стула приходится один столик, на который можно поставить любой прохладительный напиток из ближайшего бара, который располагается неподалёку, буквально за спиной. А если вы устали от шумного яркого шоу, то можно пройти в большой зал с огромными стеклянными дверями, выходящими на открытую балюстраду, под которой шелестят пальмы и глухо вздыхает невидимый в темноте Атлантический океан, чьё влажное дыхание доносит свежий морской бриз.

Там можно присесть за столик, дождаться юную мулатку и заказать ей чашечку чёрного кофе или кофе с молоком, или стаканчик прохладного мохито, или ледяного дайкири с ломтиком лимона на краешке высокого бокала с тонкой стеклянной ножкой. Здесь заказы не записывают, их запоминают и доставляют вам почти мгновенно. И ничего не путают с первого раза, не беспокойтесь, вас уже запомнили: в следующий раз вам принесут именно тот чёрный кофе или тот самый дайкири, который вы здесь уже заказывали. Разумеется, если от вас не последует каких-либо дополнительных указаний.

Каждый вечер в зале играют для публики музыканты. Можно сидеть часами и просто слушать, отдыхая душой или погружаясь с прекрасные воспоминания. Каждый вечер – что-то новое: вчера я наслаждался саксофоном, сегодня – женщина за роялем исполняла романтические пьесы, завтра – под аккомпанемент гитар три исполняет самые задушевные кубинские напевы...

Поют, естественно, на родном испанском языке. Как мне показалось, по своему менталитету кубинцы ближе всего к испанской культуре. «Эспаньоль?» – вопросительно обратился ко мне в Гаване Омар – водитель роскошного «Понтиака» выпуска середины 50-х годов прошлого века. Вопрос немного смутил меня. Почему-то в тот момент мне очень хотелось ответить ему утвердительно или хотя бы кивнуть, не разочаровывая. Но я не смог. Не знаю я испанского языка.

Полная белолицая луна мелькает в медлительных облаках над моим балконом. «Аплос, Куба! Аплос...».

НАД БЕРМУДСКИМИ ОСТРОВАМИ

Несмотря на все слухи о кубинской расхлябанности и необязательности, с которыми я ознакомился в интернете до приезда на Кубу, отлёт из Варадеро произошёл на удивление чётко, слаженно и точно в те сроки, которые предусматривались. Перед нашим из аэропорта вылетал канадский рейс в Торонто. Вот у него была небольшая задержка, но довольно незначительная – минут на сорок. Впрочем, и самолёт там намного меньше размерами, чем наш российский Боинг 777-200 авиакомпании «Nordwind Airlines» («Северный ветер»). Наш самолёт прилетел в Варадеро накануне с новой группой туристов. Экипаж ночевал на острове. Вылетели мы почти точно по расписанию – на пять минут позже.

Обратный путь пролегал в том же общем направлении, что и путь сюда, но по времени занял 10 часов 40 минут, то есть, на час с небольшим меньше, чем путь с востока на запад. Попутчики у меня были те же, с какими летел на Кубу. Многих я теперь узнавал в лицо, а многих – нет, поскольку вместимость салона почти 400 человек, а с таким количеством российских путешественников ознакомиться физически трудно. Да и не нужно.

Отличие маршрута состояло в том, что теперь мы пересекали Атлантику правее – над Бермудскими островами, находящимися в 900 км от побережья США. Это скопление из 181 кораллового острова и рифа общей площадью 53,3 кв. км. Известность этому месту в океане принесло понятие «Бермудский треугольник» – район Саргассового моря, ограниченный территорией треугольной формы, вершинами которой являются Майами, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Упоминается об исчезновении около 100 крупных морских и воздушных судов, исчезнувших в районе Бермудского треугольника. Сам район считается весьма непростым для навигации, именно здесь чаще всего зарождаются циклоны и штормы. Наиболее известен случай с исчезновением в Бермудском треугольнике сразу пяти американских бом-

бардировщиков-торпедоносцев. Самолёты вылетели в Бермудский треугольник и исчезли там. Никаких обломков самолётов так и не было найдено. Более того, один из искавших пропавшие бомбардировщики самолёт тоже бесследно исчез.

Оказавшись в районе Бермудских островов, наш самолёт вошёл в густую пелену тумана (это на высоте почти 10 км, как буквально за пару минут перед этим объявил пассажирам капитан нашего воздушного судна!). Буквально сразу же началось явление, называемое турбулентностью. Турбулентность – явление физическое. Самолёт вдруг начинает подбрасывать и трясти – как машину на ухабистой дороге. Турбулентность может возникнуть по разным причинам, например, когда самолёт попадает в грозовое облако. Водяной пар в таком облаке превращается в капли и создаёт энергию, которая нагревает воздух; восходящие и нисходящие потоки нагретого воздуха раскачивают самолёт. Радары позволяют предвидеть такие ситуации, и пилоты обычно стараются облетать такие облака стороной. По сведениям, которые мне сегодня удалось посмотреть, 12 ноября 2001 года самолёт, попавший в зону турбулентности, разбился. Говорят, что сильная турбулентность возникает достаточно редко, но именно такой случай и произошёл с нашим воздушным судном над Бермудами два дня назад – в ночь с 27 на 28 ноября. По данным Национального совета по безопасности США ежегодно травмы от турбулентности получают 60 человек (речь идёт только об американских перевозках), с 1980 по 2008 годы в США серьёзные травмы от турбулентности получили 298 человек, а три человека – погибли. По данным Air Safe – погибли 6 человек.

Известно о не так давно произошедшем случае с 27 пассажирами рейса «Аэрофлота», который летел из Москвы в Бангкок. Они получили травмы из-за того, что самолёт при подлёте к аэропорту попал в зону турбулентности. Самолёт подбросило на 100–200 метров вверх, и часть пассажиров по инерции оказалась выброшена в проход. Люди получили ушибы, переломы и вывихи.

В апреле 2018 года вследствие сильной турбулентности на борту Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India трое пассажиров получили повреждения, а у самолёта лопнула рама иллюминатора. Ситуация заставила изрядно поволноваться 240 пассажиров, многие из которых плакали и молились за свои жизни.

В сентябре 2018 года лайнер Airbus A320 мексиканской авиакомпании Volaris попал в турбулентность, следуя из Гвадалахары в Тихуану. Пассажиры сняли последствия болтанки на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как получившие травмы путешественники лежат в проходе, в то время как бортпроводники пытаются им помочь.

В октябре 2018 года пассажиры авиакомпании Aerolinas Argentinas, летевшие рейсом AR1303 из Майами в Буэнос-Айрес, засняли последствия болтанки на камеру. Лайнер Airbus A330 попал в сильную турбулентность, после которой салон самолёта превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы. В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника. На фотографиях видны валяющиеся между рядов контейнеры, пледы, личные вещи и поломанные части самолёта. В ролике, снятом одним из пассажиров, запечатлено, как стюардесса собирает мусор, а затем в кадре появляется полотенце с кровью. Во время турбулентности самолёт трясло так, что в салоне переворачивались тележки с едой...

Психологически это очень трудно: сохранять самообладание, когда кажется, что твой самолёт трещит по всем швам и вот-вот развалится, когда в течение полутора часов рядом с тобой молятся женщины и не умолкая плачут дети, которым очень страшно, а пол под ногами то и дело внезапно проваливается куда-то в тартарары по 5-10 секунд подряд. И снова, и снова, и снова... При этом – за иллюминаторами сплошная белесая стена облачности, которой по моим понятиям (если верить сообщению капитана корабля) на высоте 10 километров быть попросту не может! Что тут скажешь? Бермудский треугольник вновь оправдывает свою репутацию?

И всё же через полтора часа, когда нервы у многих пассажиров были уже никакими, этот дикий ужас прекратился. Наш дальнейший полёт над Атлантикой – мимо Гренландии, Исландии, Скандинавского полуострова и далее – до Москвы проходил достаточно спокойно. О, Бермудские острова! И хотел бы, да не смогу ни теперь, ни потом забыть этот полёт над вами – в таинственном тумане загадочной турбулентности...

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА

ПАРАЛЛЕЛЬНО О СТА ВЕЩАХ

ПЕСНИ БЫТИЯ

*

Глядя на уходящих вдаль
по небесной аллее,
державшихся друг за друга,
идущих в руке рука,
думаешь ли ты –
что может быть прочнее
хрупких крыльев
невесомого мотылька?

*

В простом, ромашковом, раю
никто не слышал о разлуке,
а жизни ласковые руки
всегда ловили на краю,
не дав понять, насколько тонок
путь перехода в новый миг –
и, только что ты был ребёнок,
а ведь уже – почти старик.
Поёт родник и жизнь моя
его текучесть принимает,
дослушай песни бытия,
а я пока пройду
по краю.

*

И снова, в перепуганном окне,
крылом трепещет мартовское солнце.
Не бойся, просто приходи ко мне
скрести мою Вселенную, на донце
выскивать осколки пустоты,
сухие листья прошлых обещаний,
цветные мозаичные хвосты
комет, сошедших с круга мироздания,



пыль душной лжи, обрывки тёплых слов,
клубочки завершённых отношений,
вердикты не отменные решений
и мелкие крупинки вещей снов.
А под конец, дыханье затая,
как будто в первый раз увидев чудо,
на дне моей души найдёшь себя,
и снова будешь счастлив,
мой Иуда.

*

Когда мы перестанем замечать
своей любви нездешние приметы,
в чужой судьбе раскинутые метко,
поставленные крепко, как печать
небесной синькой, в белом переплёте
так наглухо закрытого окна,
в проворном голубином перелёте,
в дыханье тишины на грани сна?

*

Принимаю всё, что дано, как данность,
разжимаю нервно стиснутую руку,
выпускаю бабочку нежного чувства –
знаю, что не удержу.

Расправься, вспорхни и покинь,
ещё много ладоней
доверчиво примут,
радостно схватят,
сожмут до удушья.

А я помолюсь,
чтобы
ты уцелела.

АДАМ

А шторм покидает измученное нутро,
оставив сомнения грязный песок,
да гордости мокрые камни –
силён и праведен гнев Адама,
коль взбунтовалось его ребро.
Привыкнув к нежности по края,
приняв, как должное, веру в чудо,
он вопрошает: «А как же я?» –
и разъяряется, что не буду
так больше – преданно, позади,
на шаг отстав от него нарочно.
Как всё привычное нам непрочно,
не потому ли цветёт в груди



терновый куст, простирая боль
до каждой клеточки мироздания?
На наши раны посыплет соль,
без укоризны и сострадания,
гордыня – спутница всех грехов,
стирая памятки на запястьях...

У страсти вкус пережитых снов
и терпкий запах пустого счастья.

АРИТМИЯ

*Переизбыток счастья – почти болезнь.
Но асинхронизмы пола не обойти.*

Галина Изъвер. «Лескораненная»

Любованье полётами чаек,
хрустальным снегом,
вершинами стройных гор –
что из этого списка
делает счастье полным?
Я смотрю
на серое небо,
на холодные волны,
понимая, что до сих пор
уходила лишь по-английски:
ни ключа, ни записки,
ни звонка, ни забытой одежды.
Вроде смелость и риск,
пополам с надеждой,
что вернут и задержат,
хотя бы в памяти.
Только жизнь –
не поставленный
смертью памятник,
это воздух, что ищешь
незрячими пальцами.
Исчезает ответ
на беспомощное «останься»
и властное «подожди»,
выбивается из груди
неровными стуками сердца,
заглушается
силой солёного ветра,
отражаю
в точнейшей душевной призме
извечный асинхронизм:
переизбыток
нежности в организме,
при недостатке тепла и света.



КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ

Думаем параллельно о ста вещах.
Как бы мне научиться себя прощать,
без раздела обид на понятные части,
как тебе избегать причастий
от глаголов прошедшей страсти,
сколько нам предстоит напастей
отводить от простого счастья?
Чья вина или чья заслуга
избавление от испуга,
как понять, что нашли друг друга,
а затем не пойти по кругу,
если будущее незримо,
тянет прошлого серым дымом,
настоящее – пантомима.
Но стираем неумолимо,
слой за слоем, остатки грима,
перед зеркалом, так ранимы
оба, в старых своих доспехах,
ошибаясь, считая смехом
отголоски пустого эха.

Можем думать и говорить
без конца, обо всём на свете,
болью смятые крылья голубки-любви
расправляет попутный ветер,
наблюдая её полёт, замирает душа моя –
понимаю, что без неё, нет ни света, ни бытия.

Иногда ворошу фотографии лета,
того самого – да, милый – ты не ошибся.
В нём потоки янтарного плавного света
придавали торжественность лицам
старых улиц с кирпичною кладкой,
штукатуркой морщин испещрённой.
Виноград и вино были дешёво-сладки,
эта пицца простая богов и влюблённых.
Гардеробом мне стали купальник и платье,
на двоих нам хватало одного полотенца,
украшением лучшим твоим мне объятья
были – в них я легко засыпала младенцем.
Пробуждались на грани рассвета,
под рассыпчатый горлинки клёкот,
слыша рокот полынного ветра,
помня буков полуденный шёпот,
чуя запахи крымского рая.
Этим ласковым солнцем согретая,
я под ним до сих пор загораю.



Душа моя – телом закрытая рана,
без птицы клетка, ладонь пустая.
Вчера было поздно, сегодня – рано
на этой груди лежать горностаем,
улавливать блох – прыгучие мысли,
молчать и курить до рассвета взятяжку,
и чують, как ты беззащитен и искретен.
И, жизни чужой примеряя рубашку,
вдыхать этот запах, родной до потери
и пульса, и страха, и ветхости крова.
Тогда было так. А теперь уже верю,
что просто была к тебе не готова.

АРИНА ГРАЧЁВА

ЛИПЫ НЕНАГЛЯДНЫЕ МОИ

БЕГЛОЕ

Заезженная схема РЖД:
перрон, купе, нехитрая наука
пить чай и слушать, как звучит шедевр
из бегло сочинённых перестуков.

Попутных перелесков простота
коснется стёкол бокового вида,
благословив твой переход из дам
в философы случайного пошиба.

И се, глубокомыслия дитя,
уткнёшься носом в рук сермяжный узел,
переберёшь былое по частям
в надежде перед будущим не трусить.

И, вся в живых царапинах гудков,
ночь даст забыться ровно на мгновенье,
чтоб на конечной, руки козырьком
сложив, смотреть, как небо розовеет...

ГЛУБИНКА

И там и тут октябрь дождём исходит,
но там – тоска, тут – светлая печаль.
Столичное покинув мелководье,
становишься одним из глубинчан.

Тут тоже – не рукой подать до рая,
но тишина – как будто под водой,
и землю по старинке величают
родной.

Тут дом – кошилка шорохов, тут шторка
щелястому окошку коротка,
все в нимбах деревца, и по пригорку
протянута тропинка в облака.



И листья долго выбирают лужу,
предчувствуя паденья глубину.
И где-то там растраченную душу
тут может посчастливится
вернуть...

СОЗЕРЦАТЕЛЬНОЕ

То выдохи, то медленные вдохи,
октябрь светлее сделает печаль,
дождями недовольство – участь многих,
а твой удел – дождя не замечать.

Задремлет убаюканное время,
не предвещая осени конца,
и сменится попытка говоренья
уменьем молчаливо созерцать.

Засмотришься в окно на бой воздушный
багрянца клёнов с рыжиной рябин,
и тихо так, совсем не круглой лужи
коснётся лист, и – побегут круги...

РОЖДЕНЬЕ СКАЗКИ

Сбегают огоньки с еловой кручи
и снова – вверх, с усердьем неприкрытым,
опять в Большом – безропотный Щелкунчик
берёт рожденье сказки под защиту.

Горячего дыхания традиций
не замечать уже грешно и поздно,
как в первый раз, тебя к Мари и Фрицу
приводит нестареющий Чайковский.

И будет ночь, и тени из подполья,
неясных страхов колдовское войско,
но разойтись им вволю не позволит
герой со шпажкой, с виду бутафорской.

И будет вздох, блестящий голос вальса,
кружить снежинки в белом танце будут,
и, начиная с потеплевших пальцев,
дойдёт до сердца
ощущенье чуда...

КАНУН

Кто в роли жертвы, кто кому палач
не разобрать, любой ярлык неточен.
И солнца благолепная чалма
с утра напоминает о востоке.



Ни тени страха в маетной душе,
и здравый смысл молчит высоколобо,
но во дворе – что крыши блиндажей
коробятся декабрьские сугробы.

И слышится лукавое «вах-вах»
в ответ на мысль о «мирных кончины»,
и загустевший запах Рождества
наивные волнует палестины,
берёт под изумрудное крыло
дома, дворы, и стариков, и юных,
и резче грань между добром и злом,
и крепнет чувство жизни
накануне...

ВЕЛИКОПОСТНОЕ

Тепло вернулось, и Великий пост
утрачивает внешнюю суровость,
теперь не видит разве что слепой
проталин изумрудные обновы,

в ручьях, начавших исподволь мельчать, –
блаженное поблёскиванье сини,
и что ни куст, то певческий очаг
пернатых, намолчавшихся за зиму.

И всюду свет, такой могучий свет,
что в тихих мыслях пробивает бреши,
и хочется по детски зареветь
от этой всей нахлынутости вешней,

от ненадёжной вписанности в быт
и лёгкого засилья неурядиц,
от жадного дыхания толпы,
не охладевшей к зрелищу распятий,

от неуменья справиться с собой,
не угодить в духовные расстриги...
И гладит по плечу незримый Бог
и кажется особенно великим...

ДВОРЫ, ДВОРЫ

Над крышами застыл плечистый крест
церквушки, точно воин на дозоре,
один лишь Бог и в силах уберечь
от поруганья постаревший дворик.

И как он жив ещё – не разобрать,
как тихо тонет в колокольном звоне,
просели стены, но душа двора
осталась прежней – липово зелёной.



Бессмертья дух не выветрен пока,
но туча забытья уже нависла,
но липы тень по-чайному душиста,
и уходить не хочется никак.

Стою, на сердце радостно и колко,
и разве не о вас оно болит –
дворы, дворы, церквушки на задворках
и липы ненаглядные мои...

ПО ОДНОМУ

Цветы и солнце, солнце и цветы,
июнем с ходу не переболеть.
Птиц голоса, как голоса святых,
звучат в разгоряченной голове.

В ромашково-люпиновых лугах
так нежно краски воспевают жизнь,
как будто сам евангелист Лука
святую длань к пейзажу приложил.

И есть ещё та самая рука,
которая вдобавок ко всему
по синеве пускает облака
по одному пока,
по одному...

НАДЕЖДА БЕСФАМИЛЬНАЯ

ПОД ТОЛСТЫМ СЛОЕМ СНЕГА

ГОРИХВОСТКА

Эти яркие краски, какими июль богат,
Непрерывное действо всего, что ни есть, живого...
Под навесом терраски, из дома ведущей в сад,
Горихвосток семейство – волненьям моим обнова.

В ожидании корма птенцы открывают рты –
Золотые внутри, будто в них ночевало солнце –
Им ещё не знакома опасность большой беды,
В оба глаза смотри – вдруг какой-то из них сорвётся.

Только света полоски да каменное крыльцо –
Из потёмок подкрышья земной красоты не видно.
Прилетит горихвостка, подкормит своих птенцов,
Полыхнув оперением рыжим в луче зенитном.

Этот миг благодати – он словно воздушный шар,
Только выпустишь нить – унесёт в неизвестность ветер...
Я стою на подхвате, не двигаясь, не дыша,
И люблюсь на них, позабыв обо всём на свете.

Еле слышимый снизу, пока что не строен хор –
До него им взростеть, рыжехвостым птенцам, но если
Пронырнут под карнизом и вылетят на простор,
То научатся петь золотые, как солнце, песни.

ФОТО НА ПРИПЁКЕ

Не про поваренные книги,
Не про полезную еду:
Черствеют летние ковриги,
Что выпекались на меду.

Но это фото на припёке,
Где кадр фиксирован без нас,
Где воды мощны и высоки
И над шатровым храмом Спас.



Где голос гулкий баржи дальней
 Не знает ставен и замков,
 Где наша плоть материальна
 Не больше этих облаков.

И где единственной преградой
 Захлопнет створки объектив...
 Где оба вышли мы из кадра,
 Но не успели в храм войти.

НОЧНАЯ СОВКА

Ещё одна луна, и день пойдёт на убыль.
 (Любитель мрачных дум, держи фонарь в уме.)
 В син-оптике окна дождя десятый дубль,
 Одиннадцатый дубль дождём идёт по мне.

Открытое окно. В нём – ночи полукровка,
 Хранилище теней для будущего дня.
 Трепещет на стекле, дрожит ночная совка,
 И дождь идёт по ней, а падает в меня.

Она влетит на свет фигурного торшера,
 (Любитель светлых дум, окно за ней закрой!)
 И к утру насовсем неслышно и блаженно
 Затихнет под его тяжёлой бахромой.

Спасение во смерть...
 Созреет ночь большая –
 К пристанищам иным небесная река,
 Но знать о красоте той ночи помешает
 Прилившая к зрачку пыльца от мотылька.

МИМОЛЁТНОЕ

И станет первая строка под стать картине:
 Уносит ветер паука на паутине –
 Легко, из августа в отрыв, путём извитым,
 И только вслед ему смотри, теряй из вида...

Напрасно всматривайся в даль, туда, где сгинет,
 Душой во облацах вигтай в горах спланине;
 Паук не виден, тонкий след не узнаётся
 На бледном небе в серебре слепого солнца.

За слепью солнечной грядёт небес болото,
 От светлых вод до тёмных вод так мало лёта...
 До этих вод, до этих рек лети отныне –
 Ты птицерыбочеловек на паутине...

Но что-то там произойдёт в холодных сферах,
 Обрато ветер повернёт, приблизив север,
 Паук с налётами ледка коснётся кожи,
 И станет крайняя строка на снег похожей.



Во первѣх во строках мне позволь рассказать
То, чем взгляд безучастный нежданно пленён:
На верёвке, от дома протянутой в сад,
После стирки смерзается тотчас бельё.

Только вынесешь из дому – паром клубит,
Не успеешь развесить – возьмётся ледком,
До пожухлой травы донырнуть норовит,
Увязая в намётах снегов глубоко.

И попробуй, пойми, вроде солнечный день,
А с небес подсыпает опять и опять,
И спешешь, оторвавшись от кухонных дел,
Вдоль верёвки траншею в снегу прокопать.

Замело, заметелило, как ты хотел,
Настояща зима, а не пух с тополей...

И морозами жгучими пахнет постель,
Хоть и с жаром утнот прогулялся по ней.

СОСЕДСКИЙ ДОМ ПУСТУЕТ С СЕНТЯБРЯ

Зайти строкой случайной, наугад...
Зима. А на шпалере виноград
Свисает с прошлогоднего побега,
Не сорван, оказался не в чести,
И ягоды – их больше не спасти –
Упрятаны под толстым слоем снега –
Живой изюм, потрава снегирям.
Соседский дом пустует с сентября,
Он выставлен, похоже, на продажу.
Поверх замка – бумажная печать.
Не следовало в город уезжать
Дожителем в бедлам многоэтажный.

А в доме пустота теперь живёт,
Она молчит, она не ест, не пьёт –
За воду и за свет платить не нужно.
Но, не выдавший лично похорон,
Квитанцию засунет почтальон
Под ручку двери, выгнутую дужкой.

Спиною чёрен, тощим брюхом жёлт,
Квитанцию и ручку стережёт
Дворовый пёс – ничейная порода.
Был стариковский невелик прикорм –
Сырок, печенье, доширак, попкорн,
Но будет псина ждать до полугода,
Обнюхивать любой прохожий след,
Глядишь, старик объявится к весне,



Использует опять какой-то литер.
 И срежет прошлогоднюю лозу,
 И псине даст чего-нибудь на зуб,
 И снова нанесёт пурги про Питер.

ТРАТИТЬ ВРЕМЯ БЕСОННИЦ НА ПОИСК БРИТВ

Ночь с постели бесшумно, как хищный гриф,
 Утомившись в тебя как в себя смотреть,
 Наконец-то в окно слетает.
 Ты закроешь глаза, но не спишь, не спишь,
 За окном в темноте оживает тишь –
 Это время уходит в земную твердь
 Капиллярно, с водою талой.

Кто тебя на такие дела обрёл:
 Во снегу по ночи выходить на берег,
 Резать пухлые вены весенних рек
 И брататься водой и кровью,
 Чтобы стать навсегда заодно с рекой,
 Чтобы в венах твоих – ледяная кровь,
 А реке – из оков ледяных побег
 Под защитным твоим укровом.

Ты река мне сестра, ты река мне брат,
 У меня на плечах домотканый плат,
 Снегири по нему нитяным крестом
 И меха-то на мне снегирьи.
 А во мне все снега от земли и рек,
 За спиной имярек, что от сна отрек,
 Но с востока восходит на свой престол
 Золотой оберег Валькирии.

Вить гнездо, не значит – утнеститься,
 И у птиц бывает недострой.
 Здесь в начале мая пели птицы,
 Крышу школы выбрав на постой.

Стебельки, соломинки, пушинки,
 Измельчённый в крошку пенопласт ...
Чоловіки птичьи *та* их *жінки* –
 Все старались, кто во что горазд.

Всё живое тянется к живому,
 На тепло домов и голоса,
 Понимая, дело наживное –
 В перспективе дальней небеса.



Но пустеют раньше срока классы,
Кем задачка эта решена –
Сколько нужно пушечного мяса,
Чтобы им насытилась война?

Неужели в прошлом было мало
Захоронов, яров и пещер,
Ненька, ненька, що з тобою стало
Та й з тобою може статись ще...

Не краюху хлеба – душу выешь,
Заполошной болью под ребром,
Розуміши, ненька, розуміши?
Помянешь ли старое добром,

Где под общей крышей вили птицы
Без опаски гнёзда для птенцов,
Рушником и тёплой паляницей
Привечало каждое крыльцо?

Отделяя зёрна от половы,
Где полова – злобная молва,
Из моей негромкой женской мовы
Различи утробные слова.

ТАТЬЯНА АКСЁНОВА

ЛИСТОВКАМИ В КАЛЕНДАРЕ

Покуда мы живы –
Тяжёлый трёхдольник Некрасова
Литанией русской
тревожит посевы земли!

И, будучи лживым,
Возводит лихую напраслину
На нас в захолустье
Европы народ, что глумлив,

За то, что мы живы!
За это – анафема! Горе нам!
Но сунься с мечом –
Так, наверно, сотрём в порошок...

А если паршиво –
Споём Аполлона Григорьева –
Плач по семиструнной Руси,
кому здесь хорошо!

Не точим ножи мы –
В хозяйстве не надобны, вроде бы.
Руками хлеба преломляем,
достав из печи...

Покуда мы живы,
Мы счастливы счастьем юродивым –
Любить свою родину,
Лишь рукава засучив...

ПЛАЧ ПО ОРФЕЮ И ЭВРИДИКЕ

Ужасный век! Ужасные сердца!
Эринии не сводят глаз с певца,
Сизиф на камень сел, остановилось время,
На колесе распятый Иксион
Заслушался Орфея – это он
Запел в аду, боготворимый всеми...

Бог прилетел, но гимнов не принёс.
А сколько у него ещё колёс,
Условий, испытаний для влюблённых,
Галер, олимпов, стихсов – хоровод?
Лишь тот любви достоин, кто пройдёт
Все непреодолимые заслоны!

Играй, Орфей, на арфе, сладко пой,
Фракийкам не расправиться с тобой,
Пока хариты тешатся с Хароном,
И я, подруга муз, горю стихом,
По Эвридике плача, в горле ком
В процессии глотаю похоронной...

СЕЗОННОЕ

Лёг туман рубахой на овраги,
Скрыл, что небо сходится с землёй...
Если я глотну разок из фляги –
Снежным паром выдох окаймлён!

Я себя не чувствую неловко,
Даже если брод в овраге – бред.
Догорели «серные» головки,
Лишь стволы чернеют в ноябре...

Чайник чабреца с душистой мятой
Успокоит мыслей чехарду,
Остановит кашель непримятый
В жарком, антарктическом аду.

А в метаньи на подушках влажных,
(Будто за ночь выпала роса!),
Остальное кажется неважным,
Как в тумане чьи-то голоса...

Будто эта белая рубаха
Всё накрыла тяжкой пеленой!
Призрак астматического страха
В «не дыши» играет со мной...

О БОЛГАРИИ

Горы белыми крестами,
Снегом замело.
Между снами и не снами –
Спящее село.
Крыты красной черепицей
Светлые дома.
Солнце тянется – напиться,
Горной речкой луч дробится,
И бурлит – сама...



Я Болгарией люблюсь –
 Вышивка крестом:
 Тянет нитку голубую
 В облаке густом
 Вышивальщица иголкой –
 Зорька, маков цвет!
 Знаешь, мак цветёт недолго,
 Солнышком согрет...
 «Кабы я была царица» –
 Смело говорю,
 То в Болгарии родиться
 Моему царю.
 Никогда я на Дунае
 Раньше не была,
 Но царю в грядущем мае
 Дочку б родила,
 Кабы я была царица...
 Милый, так и знай:
 Упорхнула белой птицей
 За реку Дунай!

МЫ ПОМЕНЯЕМСЯ МЕСТАМИ?

«Да, были люди в наше время!»
 И среди них – не все евреи,
 Как Бродский, Рейн иль Пастернак...
 Но часто снится: я – вне тела.
 Мариной сбывться б не хотела,
 И Беллой, в общем-то, никак!..

Мы поменяем местами
 Не потому, что мы устали
 Быть пехтурой в плохой игре,
 А потому, что наше место
 Определяется, известно,
 Листовками в календаре

И отрывными, и взрывными,
 Дающими поэту имя,
 Что выстрелит не в бровь, а в глаз
 До славы и до власти падким.
 Своей сермяжной правдой-маткой
 Поэты молятся за вас...

Своим бунтарским мыслиплодом
 Пройдя костры, горнила, воды,
 Эпохе придавая смысл,
 Мы всё ж местами не махнёмся –
 Мы поработать остаёмся
 За тех, чьи души вознеслись...



Есть проникающие люди,
И это вам – не хрен на блюде,
Не суицидников братва,
Они – ранениями в сердце
Твоём, прибежище коммерций,
Первопрестольная Москва.

СКАЗОЧКИ УЖАСНЫЕ

«Сказка – ложь, да в ней – намёк...»

А.С. Пушкин

1

Если сон растаявшею птицей
Устремится в тёплые края,
Я сварю воронам чечевичу –
Пусть подавятся, её клоя!

Пусть не каркнет ни одна зараза,
Что тревожный сон мой – не к добру:
Я сама поверила не сразу
В то, что на неделе не умру!

Соль солью на тряпку, пол помою,
Чтобы все напасти – за порог!
Чтобы снова стать самой собою –
От беды что ж не предостерёт?..

Ты спаси меня, царевич, прежде,
Чем успеют жизнь мою забрать:
На тебя сейчас одна надежда.
Невозможно прочим доверять!

А не то, от зависти пьянея,
Нарушая сказочный завет,
Шкурку бросят в печь, и сон – за нею,
И возврата краденому – нет!

2

Мелет Емеля вторую неделю,
Мелко летит крупа...
В проруби звёзды наживкой редели,
Щука была скупа...

Не до посулов ей, не до посылов –
Сверху так намело,
Что если б вытащил кто – попросила б
Ведьмино помело!



И улетела б! Емеля, икая,
Всё на печи лежал,
Не понимая – откуда такая
Гордость у падежа:

«Чем тут гордиться?» – смеялись черти.
«Ленью, а чем ещё?»
Вспомнил об иностранке Герде,
Слёзы утёр со щёк:

«Вот ведь, всё ищет бродягу Кая!..
Я ж на лежанке – тут!»
В проруби щука звездой мелькает,
Снежный лова салют...

Словно безволен и бездвижен –
Не разогнать ворон!
Слёзы стекают всё ниже и ниже –
Действует приворот, –

Мелет Емеля всю чужь собачью,
Смотрит соседке в рот...
Герду б любил – поступил иначе,
Действует приворот!

Даже не встать за водой на прорубь,
Щуку не изловить!
Гордую лень победить попробуй,
Герду посмей любить!

ПАУЛЬ ВАШКАУ

в переводах с английского Алёны Щербаковой

SINKING SHIPS

We know, we can sense it
We are nothing but blades of grass in the wind
Grains of sand in the expanse of endless deserts
We are disappearing like dying elephants
We're sinking ships blank cartridges
In the war of the tides fading lights
We flicker briefly before the plunge
Forgotten in the expanses
of space and time.

УХОДЯЩИЕ ПОД ВОДУ КОРАБЛИ

ясно, мы те, кто чувствует это,
мы только лезвия трав на ветру,
зёрна – но только песка, взятые лоном нескончаемой пустыни,
мы растворяемся как исчезающие слоны,
мы тонущие корабли, полые патроны
в битве приливов замирающие лучи
кратко-мелко дрожа перед ввержением, подобно кинопроекции
на просторы пространства и времени,
но не запоминаемые этой пустотой

BUT WHAT IS THIS PLACE?

An antechamber of the dead?
A sacred site? A sewer?
Then we must hurry,
disinfect the floor
the ceiling the wall
and burn the place out.
Burn the place out!
It might take years.
It might mean the premature end.
But then we would simply return home,
go to bed, and begin again in the morning.
It's as simple as that. Just as simple as that.



НО ЧТО ЗДЕСЬ ЗА МЕСТО?

Прихожая смерти?
Тень-изнанка? кладбище распада?
И – следует торопиться,
очистить пол,
потолок, стену
и выжечь всё это!
возможно, годами.
и это может означать преждевременный конец.
но по сути – вернуться домой.
в постель, чтобы вновь начать утром.
это так просто. всего лишь так просто.

СЕРГЕЙ ОСТАШКО

КАК СТАТЬ ТЕРМИНАТОРОМ

исповедь из операционной

ПРЕДЫСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Начиналось всё красиво. Средиземное море. Анатолийское побережье. Прогулочный катер, переодетый яхтой. Танцы под приятную музыку с приятной девушкой на приятной палубе. И вдруг... Резкая боль в районе, как потом мне объяснили, тазобедренного сустава. А тогда я подумал «слева от попы».

– Что с тобой? – спросила приятная девушка.

– Всё в порядке, – ответил я, морщась в районе тазобедренного сустава.

– Что со мной? – спросил я через месяц уже в Одессе, когда боль превысила чувство самосохранения, и я пошёл сдаваться докторам.

– Всё в порядке, – ответила районная докторша, морщась при виде рентгеновского снимка моего тазобедренного сустава. – У вас артроз.

К этому времени я уже мог довольно связно изложить, что именно меня беспокоит. Каждый раз, когда я вставал с постели, кресла, из-за компьютера, проклятым заклеймённый (ненужное вычеркнуть), первые несколько шагов ощущалась резкая боль. Потом боль переходила в тупую и тупо болела до тех пор, пока я вновь не пытался сесть, лечь, поскользнуться или споткнуться, после чего снова на короткое время становилась острой. Аналогичные ощущения появлялись, если я во сне переворачивался с боку на бок или наяву резко уворачивался от вынырнувшего из-за угла автомобиля.

В довершение я начал чувствовать колено. Когда я вставал и распрямлял его, в нём что-то щелкало, и молния боли пробегала по всей ноге.

На языке физики мой анамнез звучал бы так: «Первый экстремум боли – минимум – наблюдается в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, Второй экстремум – максимум – под действием линейного или углового ускорения, т.е. при изменении скорости или положения тела, а также ноги относительно тела».

Как звучали бы мои ощущения в медицинском изложении, установить не удалось ввиду полной невозможности расшифровать иероглифические записи в медицинской карточке. Устно же доктор объяснила, что называется это «стартовые боли», которые являются первыми признаками деформирующего остеоартроза, и прописала кучу порошков, уколов, процедур, и даже зачем-то свечей.

Из всего лечения запомнилась тщательно составленный мною график приёма лекарств – что до еды, что после, а что вместо, а также процедура, которую я обозвал «электрический стол». Меня укладывали на него, присоединяли электроды, давали ток и спрашивали: «Не больно?». Я отвечал, что нет, и они добавляли ещё, пока, таки да, не становилось больно.

Наверно, нет необходимости перечислять все медикаменты, и физиопроцедуры, которым я подвергся в течение двух недель. Во-первых, чтобы у человека с аналогичными ощущениями не было искушения заняться самолечением, а во-вторых, потому что, как оказалось, проглоченные пилюли и потраченные деньги на эти самые ощущения никак не повлияли.

То есть, нельзя сказать, что эффекта от лечения не было. Эффект был. С каждым днём становилось всё хуже. Даже доктор через неделю заметила: «Ой, а чего это вы хромаете?». Впрочем, состоянием па-



циента после пройденного курса она осталась удовлетворена и даже показала объект лечения главврачу, чтобы вместе с ним понаслаждаться, как скрипят его, то есть мои суставы. Напоследок доктор объяснила, что болезнь эта нуждается в длительном лечении и выписала ещё пилюли, одни из которых предстояло принимать два, а другие целых три месяца.

Таким образом, единственным положительным результатом лечения было то, что теперь у меня на руках оказалась целая папка анализов, рентгеновских снимков и других результатов исследований, с которыми можно было начинать поиски другого врача, а то и другого диагноза.

Второй врач, к которому я обратился, был другом семьи. Он отнёсся со всем вниманием и переживанием, тщательно изучил представленные выписки, подтвердил диагноз и правильность лечения, а также разъяснил человеческим языком суть болезни. Оказалось, что это гадость, при которой происходит разрушение суставной ткани. Поэтому первая задача – это снять воспаление и боли, а вторая – начинать штупать суставы. Обезболивающего, сказал врач семьи, я получил достаточно, и надо было сделать перерыв. А в качестве дополнения к двух-трёхмесячным капсулам, он предложил пройти курс магнитолазеротерапии.

Лазер я уже проходил в поликлинике и там он выглядел совсем просто. Меня заводили в кабинку, давали в руку штуповину, нажимали кнопку и инструктировали «каждые 50 секунд прикладывать к новому месту, которое болит».

Сеанс магнитолазеротерапии был более основательным и длился почти час. Семейный друг прикладывал к больному месту лазер, который, как оказалось, был одновременно и магнитом, и поминутно осведомляясь о моих ощущениях: «что чувствуете?», «где болит?», «куда отдает?», обходил все болевые точки.

И впервые за полтора месяца я почувствовал облегчение. После второго сеанса болеть стало меньше, после пятого я уже начал думать, что выздоравливаю, после седьмого стал в этом сомневаться, а после последнего – десятого – всё вернулось на круги своя.

Затем к святому делу моего самочувствия подключились друзья, имевшие отношение к медицине только в качестве пациентов.

«У меня есть прекрасный специалист, рефлексотерапевт, мануальщик, экстрасенс, повивальная бабка (нужное подчеркнуть)! Он поставил ноги, спас от операции, вернул в большой спорт, вытащил из могилы (ненужное зачеркнуть) меня, моего знакомого, коллегу, двоюродную тетю, президента сопредельной державы (можно оставить всех сразу)».

Эту фразу я слышал регулярно. И регулярно же поддавался на уговоры «попробовать свою ногу на Тартаковском».

Ситуация с иглоукальванием чем-то напомнила лазерную терапию. Доктор, узнав, кто меня к ней направил, заявила, что денег за процедуры брать не будет. Но стоимость лекарств, приобретённых у неё, с лихвой компенсировала эту скидку. И всё же я, умиляясь её бесребренности, после пятого сеанса пошёл к знакомому художнику, чтобы заказать офорт, которым я смогу отблагодарить свою избавительницу от мучений. После седьмого сеанса я притормозил заказ, а после последнего – десятого, когда боль вернулась на круги своя, отменил благодарность.

Ситуация, когда в начале лечения становилось лучше, а к концу снова хуже, потом повторялась неоднократно.

Наиболее безболезненно в смысле денежных потерь она проявилась при лечении у одного заезжего колдуна. «Ничего не говорите, я знаю, как вас лечить», – сказал он при встрече. И действительно, после первого массажа с прищепываниями я ушёл от него вприпрыжку, а после второго, когда вздулись перемассированные вены, едва мог встать. Кроме того, растирание из куриных яиц, нашатырного спирта и неведомых трав вызвало такое раздражение кожи, что я недели две боялся появиться на пляже, опасаясь, что меня заберут в лепрозорий.

Следующий курс оказался ещё более кратким. Знаете сказочку, как одна палочка и семь дырочек спасли город? А я теперь знаю ещё одну. О том, что одна досочка, одна верёвочка и две ручечки помогут от всех болезней. Болезней этих в центре Евминова (а именно он изобрёл досточку с ручечками) у меня надиагностировали числом до десяти. Из мудрёных названий запомнились сколиоз, варикоз и вентральная грыжа. Из немудрёных – искривление позвоночника, расширение вен, и грыжа по белой линии. Причём дама в белом халате из всех сил утверждала, что всё это совершенно разные заболевания. Курсу упражнений на доске должно было сопутствовать ношение бандажа, пояса и эластичного чулка, купленных тут же, а также принятие внутрь трёх видов укрепляющих пилюль и биологически активных добавок, которые нельзя приобрести нигде, кроме как здесь. А перед собственно занятиями специально

обученный человек должен был подготовить тебя посредством массажа. Цифры, которые написала мне белая дама, вначале не показались мне такими уж заоблачными, и только придя домой, я разглядел, что это в долларах. Таким образом, в сумме за месячный курс физкультуры предстояло заплатить более 1000 очень даже не условных, а своих кровных единиц.

Были в этой череде эскулапов и приличные люди. Один мануальный терапевт, выслушав мои жалобы, направил меня на компьютерную томографию. «Я на 96% уверен, что у вас межпозвоночная грыжа, но хочу убедиться».

Известный нейрохирург, профессор, взглянув на томограмму, установила, что кроме грыжи имеется ещё и остеопороз. «У вас есть время?» – спросила она и пригласила студентов. Из прочитанной ею лекции, иллюстрированной моей же томограммой, я узнал много нового и интересного о собственных костях, позвонках, солевых отложениях и возрастных изменениях в них. «Ну а теперь, исходя из ваших уже имеющихся знаний, – обратилась она к будущим гиппократам, – какой курс лечения вы бы рекомендовали?».

Гиппократы оказались на высоте. Выяснилось, что они знают не только традиционные методы лечения, но и самые современные, а следовательно, и самые дорогие препараты. «Всё правильно, – подтвердила профессор, выписывая рецепт. – А к мануальщикам я бы посоветовала вам относиться очень осторожно.

Я с удовольствием прошёл весь прописанный ею курс лечения, а потом всё-таки пошёл к мануальщику. Тот отнёсся ко мне очень осторожно. Сеанс заключался в том, что доктор очень аккуратно прогревал руками спину и поясницу, потом вкалывал два укола, причём один непосредственно в хребет, а затем двумя-тремя резкими, но шадящими движениями пытался вправить грыжу обратно в позвонок. И что удивительно, она вправлялась. Каждый раз я приходил на сеанс на палочке, а уходил практически не хромя. Всё испортили случившиеся перед последним сеансом похороны, а точнее поминки после них. Уже к вечеру, вернувшись домой, я почувствовал ухудшение, а на следующий день едва добрёл до врача.

Доктор, увидев моё состояние, буквально развёл руками, которыми собирался меня «прогреть». «Вы что, не понимаете, что при любом лечении алкоголь недопустим? – ругал он меня резко, но шадяще. – Он затрудняет выход жидкости из организма. Вот ваша грыжа, – нарисовал он на листке бумаги воздушный шарик. – Она заполнилась жидкостью, набухла, вылезла в канал и прижала нерв, который идёт в ногу. А вы вышили и зажали отток этой самой жидкости».

Короче, и на этот раз оба лечения принесли один и тот же, уже неоднократно испытанный результат. И, как это ни печально, пришлось идти на то, что мне уже неоднократно советовали, и что я всяческими методами старался избежать.

РЕПОРТАЖ С НОГОЙ НА ШЕЕ

Вот и сбывлась мечта идиота. Если может быть мечтой, хотя бы и идиота, расставание с собственной частью тазобедренной плоти и замена её инородной железякой, пусть даже и изготовленной на лучшем тазобедренном предприятии мира.

Вообще говоря, это довольно странная шиза – вставлять в себя никелированное украшение стоимостью 5800 долларов, которым впоследствии будет невозможно ни перед кем похвастаться. Но что делать, если твой родной тазобедренный сустав упорно болит уже третий год, а твой способ передвижения вызывает у окружающих нездоровые ассоциации с «порно-двигательным аппаратом».

Впервые о необходимости менять сустав врачи заговорили в апреле, но должно было пройти полгода, чтоб этот гипотетический ужас материализовался в реальную хирургическую жуть. Последние судорожные попытки вылечить невылечиваемое, оттянуть неоттягиваемое и избежать неизбежного, и вот я в областной больнице у профессора Александра Николаевича Поливоды. Именно он лет 13 назад первым начинал делать в Одессе операции по эндопротезированию. И теперь у него есть ученики по всей Украине.

Первая встреча была короткой. Один взгляд на рентгеновский снимок – и приговор:

– Будете тянуть с операцией – придётся менять оба сустава.

– А-а-а...

– Вот вам книжечка, почитайте.

Написанную профессором памятку «Жизнь с искусственным суставом» изучали всей семьей. В книге с ненссякаемым оптимизмом излагались леденящие душу подробности операции, а также описывались конструкции искусственных суставов. Оказалось, что самый простой и дешёвый сустав – однополюсный. Это когда тебе меняют только одну часть сочленения. То есть отрезают родную шейку бедра, а вместо неё



на длинном металлическом стержне в кость собственно бедра вколачивают (или вцементируют, я так и не понял) тоже шейку, но уже металлическую. Такая операция длится полчаса, начинать нагружать ногу после неё можно чуть ли не на следующий день. А через две недели уже можно вернуться к прежнему уровню физической активности. Во всяком случае, так утверждали мои друзья и знакомые знакомых, которые через это прошли. Гарантия нормальной работы такого сустава – 5-7 лет, поэтому его ставят в основном людям старше 80-ти.

Более надёжный, но и более дорогой способ – замена одновременно обеих частей еле живого тазобедренного шарнира: т.е. не только шейки бедра, но и вертлужной впадины, как мудрено названа в книге та часть таза, в которой двигается шарик. Эта операция длится более полутора часов, а реабилитационный период достигает трёх месяцев. Но зато гарантированный срок – 15-20 лет. Именно такую операцию и порекомендовал мне профессор во время следующей встречи. «Вы же ещё совсем молодой!», – мотивировал он.

Приятно почувствовать себя совсем молодым в 58 лет. Но на окончательное решение повлиял даже не профессорский комплимент, а то, что я надеялся прожить отнюдь не 5 лет, а несколько больше. Как говорится, надежды юношей питают. Даже 58-летних.

Вторая встреча была более продолжительной. Александр Николаевич подробно, ничего не скрывая, рассказал, что мне предстоит пережить. Из всего изложенного меня больше всего напрягла необходимость первые шесть недель спать только на спине. А больше всего обрадовало то, что в больнице имеется отдельная палата на двоих со всеми удобствами, холодильником и даже телевизором. Именно в ней в следующий понедельник мы и поселились вместе с Диночкой, которая захотела быть рядом с мужем в столь ответственный момент.

Палата оказалась маленькой, но на удивление функциональной. «Большое купе», – охарактеризовал её сын, когда приехал меня навестить. У стен стояли две очень умные ортопедические кровати на колёсиках. Они умели ездить по палате, становиться выше и ниже, поднимать и опускать изголовье, и, наверное, могли бы готовить кофе, если бы нам кто-то показал, на какой рычажок для этого нужно нажать. В межкроватьный промежуток тютелька в тютельку влезало последнее слово тумбочкового дизайнера. Оно было тоже на колёсиках, в разные стороны выдвигались ящички, а вверх вытаскивалась доска, которая лёгким движением руки превращалась в элегантный накрыватный столик. На столик можно было поставить кофе, приготовленный умной кроватью, или не менее умной женой, которая догадалась захватить из дома электрочайник.

Собственно, ещё с утра понедельника было неясно, когда операция. Всё зависело от результатов назначенного на утро УЗИ вен, которое почему-то называлось duplexным исследованием. Это было последней каплей многочисленных анализов, флюорографий и прочих кардиограмм, которые предстояло пройти перед операцией.

Исследование оказалось для меня благоприятным – тромбов не зафиксировало, и профессор сказал: «Оформляйтесь». И тут же пригласил анестезиолога Вадима Корнелиевича Горшкова. Именно он и сообщил мне интересную подробность: наркоз будет не общим, а спинальным. Это значит, что мне отключат чувствительность нижней части тела, а верхняя будет все слышать и переживать.

– Ну и что же должен чувствовать человек, который во время операции слышит, как пилят его кость? – поинтересовался я.

– А я дам вам такую анестезию, что это вас волновать абсолютно не будет, – заверил доктор. И оказался прав. Лежа на операционном столе, я только по звуку фиксировал: «Ага, заработала циркулярка, видно, отпиливают шейку бедра. А вот пошла в ход кувалда. Наверное, вколачивают в кость металлический сустав. А это уже шуруповёрт. Очевидно, крепят в вертлужной впадине керамическую чашку нового шарнира». И что самое интересное, все эти действия меня абсолютно не волновали!

Вначале, узнав, что наркоз будет местным, я решил постараться все запомнить, чтобы впоследствии написать репортаж с собственной операции. И действительно, я прекрасно запомнил девушку, побрившую меня во всех местах, запомнил также вечернюю, а затем и утреннюю клизму, дорогу в операционную, которую я преодолел самостоятельно и без палочки.

Помню анекдот, рассказанный при входе в эту стерильную преисподнюю.

*Просыпается больной после операции и видит, что у него забинтованы два места. Он зовёт сестру.
– Сестричка, что такое? Мне же должны были всего лишь вырезать аппендицит?*

– Вы понимаете, больной, вам просто повезло. Только вам дали наркоз, как в больницу пришёл САМ доктор Кац. Он увидел вас в операционной и изъявил желание лично сделать операцию. Представляете, ЛИЧНО! К нему в очередь записываются за два месяца, а тут сам захотел. А когда оперирует доктор Кац – это же поэма, балет, высокое искусство. И посмотреть на это сбегалась вся больница. И когда медицинское светило наложило последний шов, раздались такие аплодисменты, что доктор Кац на бис сделал вам обрезание...

Помню, как меня подключали к различным капельницам, катетерам и аппаратуре. Помню маску с шипящим кислородом, периодически сжимающий бицепс аппарат для измерения давления и равномерное «пиканье» какого-то другого агрегата (мне некстати вспомнились кадры из многочисленных фильмов, когда это «пиканье» сменяется сплошным сигналом, а зубцы на экране осциллографа – прямой линией).

Помню, как я забеспокоился, когда сестричка в первый раз спросила меня: «Какую ногу будем оперировать?». И как Корнелиевич успокоил, что этот вопрос я услышу ещё не раз. И действительно, с каждым следующим разом я чувствовал растущую уверенность, что вероятность ошибки уменьшается.

Анекдот, рассказанный сестричкам, когда я уже лежал на операционном столе.

- Доктор, посмотрите, у меня нога так болит, так болит, что я на неё не могу наступить.
- Ну что вы хотите, это возраст!
- Доктор, но второй ноге столько же лет, а она не болит!

Помню вопрос, заданный анестезиологом, какую мелодию я предпочитаю – у них принято, чтобы во время операции звучала музыка, а вот её жанр зависит от пожеланий клиента, то бишь больного. Помню ещё один странноватый вопрос, что мне удобнее: свернуться на операционном столе калачиком или сесть и пригнуть голову к коленям. Оказалось, что в одной из этих поз анестезиолог должен ввести обезболивающую отключку в позвоночник.

После укола желание всё запоминать как-то притупилось. Сестрички ещё переговаривались, ворочали меня, но мне это было уже всё равно. На уровне груди поставили загородку-экран, чтобы я ничего не видел, и я закрыл глаза, чтобы видеть ещё меньше. И, очевидно, задремал. Во всяком случае, начало операции, ключевые слова «Скальпель! Тампон! Зажим!» и сам момент разреза выпали из моего внимания, и оно включилось, когда уже что-то активно делали с моей ногой. Слава Богу, именно той, что нужно. «Циркулярка... кувалда... шурупверт...». Ну, в общем, см. выше.

Боли никакой не было. Но я чётко чувствовал, когда ассистент по команде профессора поднимал мою ногу, поворачивал её. Я немедленно поделился своим открытием с анестезиологом, благо дело, его тень всё время виднелась в районе бокового зрения моей головы. Периодически доктор наклонялся и спрашивал: «Как самочувствие?». В тот момент оно волновало его гораздо больше, чем меня. «Всё правильно, – сказал Корнелиевич. – Существует два вида чувствительности: болевая и тактильная. Болевую я вам отключил, а тактильная осталась, её вы и чувствуете».

На фоне лёгкой музыки, как бы в отдалении, слышался голос профессора. Он что-то говорил ассистентам, наверняка что-то важное, но запоминать даже это важное не хотелось. На следующий день я сказал профессору, что слышал всё, о чём они говорили. Заслуженный эскулап страны, доктор медицинских наук, заведующий Центром эндопротезирования покраснел, как первокурсник, и стал оправдываться, что во время операции не всегда получается выбирать выражения. Оказалось, больше всего он удивился, когда увидел мой сустав не на рентгеновском снимке, а воочию. Даже не сустав, а то, что от него осталось. Собственно, никакого сустава не было. Разрушающаяся кость при ходьбе терлась о разрушающуюся кость, вызывая ещё большие разрушения. «И как он со всем этим ходил?» – всплыла из оперативной, вернее операционной, памяти подслушанная сквозь наркоз фраза. Даже не фраза, а её смысл, потому что слова были другие.

Сама операция заняла часа полтора, но в операционной в общей сложности я провел часа четыре.

- Уже всё, – наклонился ко мне Корнелиевич, – осталось только зашить.
- Ну, и когда уже, наконец, «всё»? – спросил я его минут через 20.
- Остался последний шов.

В реанимацию на второй этаж меня отвёз лично Вадим Корнелиевич.

- Так положено, – отвечал он на мои слабые возражения:
- А может быть, в палату?».



– Здесь постоянно дежурят врач и три сестрички. Если что-то, не дай Бог, пойдёт не так, они знают, что делать.

И мне вспомнился ещё один – послеоперационный – анекдот.

Везёт санитар больного после операции. А тот канючит:

– Санитар, а может быть, всё-таки в реанимацию?

– Больной, не занимайтесь самолечением! Доктор сказал в морг, значит в морг.

Оказалось, что реанимация – это большая зала, перегороденная ширмами и хорошо нашпигованная медицинским оборудованием. С одной стороны лежал я и ещё три послеоперационных страдальца, а с другой еле слышались слабые женские голоса. Очевидно, там лежали страдальцы. Но они на тот момент мне были безразличны.

В реанимацию я приехал на собственной кровати, той самой, на колесиках, на которой меня утром готовили к операции. Нижняя часть тела ещё не обрела чувствительность, но это меня тревожило мало. А вот какой вопрос меня действительно волновал, вы в жизни не догадаетесь. Доехав на послеоперационном ложе до реанимации и окинув мутноватым взором залу, я спросил у персонала: «А книги читать можно?». И, получив изумлённо-утвердительный ответ, тут же попросил Диночку принести мне источник знаний. Даже на всякий случай два. Забегая вперед, скажу, что именно эти две книги и помогли мне скоротать первые послеоперационные сутки. Мне просто повезло – кровать стояла возле стола сестричек, над которым свет не выключался всю ночь.

Спать в первые сутки не хотелось. Тем более, что спать на спине я тогда не умел. Когда глаза начинали слипаться, я откладывал книгу и затихал до того момента, как сестричка приходила в очередной раз меня реанимировать.

В реанимацию я прибыл упакованный, как Рембо. В правом плече торчала кольчуга для подключения капельниц, куда их беспрерывно и подключали. В левом – шприц, заполненный чем-то зелёным. «Это обезболивающее, – объяснил доктор. – Когда заболит, скажете сестричке, и она вам введет». В прооперированной ноге, чуть пониже шва, болтались две гофрированные баночки, в которые через прозрачные трубки дренажа прямо из тела вытекало то ли кровь, то ли сукровица. Из ещё одного места тянулся катетер.

Боли как таковой не было. Когда я ощущивал себя, возникало странное ощущение, что вот, сверху до пояса – это я, а сразу ниже пояса, очень резко, уже не я, а какая-то тепловатая туша. Прооперированная нога лежала в гипсовом сапожке, для фиксации, а между ногами находилась трапецевидная подушка, предотвращающая возможность сведения ног. Вначале такая предосторожность показалась мне излишней, т.к. не то что двинуть или свести ноги, но даже пошевелить их пальцами я не мог. И только много позже, когда ночью во сне я чисто машинально попытался перевернуться на бок, а сапожок мне не дал, я понял всю мудрость этой конструкции.

Но это было уже в палате, где я провел две недели. Где научился не только шевелить ногами, но и делать ими зарядку, стоять на костылях, сидеть на унитазе, лежать за столом и даже спать на спине. А научился я всему этому благодаря неусыпной заботе моей Диночки, под чутким руководством сестричек Светочки, Олечки, Людошки, Леночки, Ирочки и, конечно же, под постоянным вниманием профессора, доктора медицинских наук Александра Николаевича Полноводы, лечащего врача ортопеда-травматолога Игоря Емельяновича Щербини и врача-анестезиолога, кандидата медицинских наук Вадима Корнелиевича Горшкова. Дай им всем Бог здоровья, счастья и успехов в заботе о больных, во веки веков, аминь!

Собрались поохотиться на уток четыре врача: терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом.

Вылетает из кустов утка.

Терапевт: – Вот утка. Или не утка? А может, всё-таки утка?

Черт его знает...

Улетела утка. Вылетает вторая.

Психиатр: – Вот утка. Но это я знаю, что это утка. А знает ли утка, что она утка?

Улетела утка. Вылетает третья.

Хирург ба-бах из двух стволов. Кричит патологоанатому:

– Вася, посмотри – там утка была или что?

КАК СТАТЬ ТЕРМИНАТОРОМ

ЧАСТЬ 1. ОН НЕ ОБЕЩАЛ, НО ВЕРНУЛСЯ

– I'll be back, – любил говорить Арнольд Шварценеггер в роли Терминатора.

И он таки оказался прав. Потому что ситуация с моим коксоартрозом was back через восемь лет. Правда, уже с другой ногой, но тоже с тазобедренным суставом.

Если быть точным, то вернулась она не через восемь, а через шесть лет, осенью 2015-го. Я проснулся ночью оттого, что у меня болело справа так, как когда-то, в 2008-м, слева. Утром я этой новостью напугал свою жену, а потом боль прошла, но через некоторое время возобновилась.

Потом начало болеть колено.

Потом я был вынужден взять палочку.

Короче, все стадии боли, которые я прошёл с левым суставом за три года, в этот раз я пережил за год.

Когда я приехал в больницу, где мне меняли первый сустав, профессор, взглянув на снимок, сказал, что снимок плохой, видно плохо, но раз болит – надо менять. И дал список из 16 обследований, которые я должен пройти «до того как». Я удивился, т.к. в прошлый раз я приносил только анализы и кардиограмму, а всё остальное мне делали уже в больнице перед самой операцией.

Профессор объяснил, что теперь другие требования, и я пошёл сдаваться.

Первым из исследований была гастроэнтероскопия, в просторечии – «глотание кишки», что я не любил ещё с тех пор, как болел язвой.

Помня, что самая тонкая кишка в городе была в детской больнице на Дворянской, я пошёл туда. Доктор оказался общительным, разговорчивым и очень дотошным. Все те полчаса, пока кишка находилась у меня внутри (для сравнения: обычно эта неприятная процедура занимала две-три минуты), он не умолкал. Работая с детьми, он привык заговаривать им зубы, и теперь отработывал эти навыки на мне.

Следов язвы доктор не нашёл, зато на 25-й минуте (!!!) издевательства над моей гортанью обнаружил какую-то эрозию и дотошно (я же предупреждал) описал её в заключении.

– Когда вы собираетесь ложиться на операцию? – спросила районная доктор-гастроэнтеролог, разглядывая заключение.

– Да вот, с недели, – ответил я.

– Ни в коем случае, – замахала руками эскулапша. – Я не разрешу, пока вы не пройдёте двухнедельный курс лечения. Вот рецепт.

За эти две недели вынужденной задержки я успел пройти все 16 пунктов обследования и явился к районному травматологу за направлением на эндопротезирование (так мудрёно называется замена сустава).

– Я очень хочу посмотреть ваши снимки, – сказал доктор Владимир Кузьмич с дивной для одесского районного травматолога фамилией Иванов, – но не те, на которых ничего не видно, а свежие и качественные.

А когда я принес свежие и качественные, он сильно удивился:

– А кто вам сказал, что у вас артроз четвёртой степени? У вас еле-еле вторая, а это возрастное. Я вам категорически не рекомендую сейчас менять сустав.

– Так он же болит, – попытался возразить я.

– А мы в него укольчик, – успокоил меня доктор и сел выписывать рецепт.

Доктор явно знал, что говорит. В свои 78 лет он выписывал рецепт безо всяких очков. Чувствовалось, что за его плечами такой опыт, который нынешним и не снится.

И действительно, после первого же укола мне стало легче, а после третьего я отбросил палочку. Но...

Но прошло какое-то время, и боли вернулись.

Я прошёл курс магнитотерапии и лазеротерапии.

Принял курс массажа, который мне помогал раньше. («С пенсионеров я денег не беру, это мой принцип», – порадовала меня принципиальная массажистка).

Дважды пережил плазмозферез или плазмотерапию (так и не знаю точно, как называется процедура, когда у тебя из вены забирают кровь, на центрифуге разделяют на фракции, а потом какую-то часть шприцем с длинной иглой вводят внутрь сустава).

А двухмесячное медикаментозное лечение, прописанное мне районным невропатологом! «При чём здесь невропатологи?» – спросите вы. Пару раз я замечал, что после дневного сна встаю с трудом, хотя до сна почти не болело.



«Наверное, мои боли – это результат ущемления каких-то нервов, – решил я (самолечиться мы все умеем). – А раз нервы – значит, невропатолог».

Но и это ничего не дало.

«В улучшении состояния здоровья замечен не был», – как могли бы сказать в IV отделе РСХА.

И наконец, совсем потеряв надежду, я пошёл на консультацию в 11-ю ГКБ к заведующему третьей травматологией Александру Валентиновичу Гуриенко. В своё время он спас мне руку после сложного перелома. Тогда по всем показателям тоже нужно было менять плечевой сустав, но он не стал этого делать, а буквально собрал его из семи разломанных частей.

Доктор внимательно изучил снимки, осмотрел меня, пощупал, наслаждался моей походкой, которую я назвал порно-двигательный аппарат, и сказал:

– Вы знаете, это очень похоже всё-таки на коксартроз.

– А как же снимки? – заикнулся было я.

– Снимки показывают только, есть ли суставная щель. А каково состояние у сустава, по ним не видно.

Сделайте компьютерную томографию.

И когда через час я принёс ему плёнку, он заметил:

– Вот видите, я был прав, щель есть, но сам сустав сильно изъеден, с лакунами. И тут помочь может только эндопротезирование.

ЧАСТЬ 2. ЖИЗНЬ НА СТОЛЕ

14 февраля, среда

В больницу я лег накануне назначенной операции. Нас с женой положили вдвоём в отдельную палату со всеми удобствами. Так что последние часы Дня всех влюблённых я провёл с любимой и двумя санитарками, которые пришли делать мне клизму.

Перед сном выпил снотворное и спал хорошо – просыпался всего три раза, в отличие от Диночки, которая спала очень плохо, а после первого моего просыпания больше вообще не заснула. Говорила, что ей мешал мой храп, но мне приятнее считать, что причиной её бессонницы было волнение за мужа.

15 февраля, четверг

Утром долго ждать не пришлось. Появились вчерашние две нянечки, слава Богу, без клизмы, а с каталкой – везти меня на операцию.

– Зачем? – удивился я. – Я же вполне могу дойти сам, с палочкой...

– Доктор сказал только на каталке.

И мне не к месту вспомнился старый чёрненький анекдот про то, как два санитара на такой же каталке везли больного после операции в морг. «А может, в реанимацию?» – пытался возразить бедняга. «Доктор сказал “в морг” – значит, в морг!»

На операционный стол я лёг мрачном настроении, причём непонятно почему. Я же знал, что меня ожидает, и сознательно шёл на это.

Действительно, вначале всё было знакомо. Рука, принайтованная к откидывающейся подставке. Введённая в вену игла, к которой, сменяя друг друга, подключались капельницы. Ласковый голос анестезиолога Ярослава Ростиславовича.

– Сядьте, пожалуйста, обхватив колени руками и пригнув голову. Сейчас будет слегка неприятно.

Слегка неприятное ощущение иглы, которая входит тебе в позвоночник.

– Скажете мне, когда в ногу пойдёт тепло.

Но тепло пошло сначала в здоровую, левую ногу, и только когда я лёг, передвинулось в правую, причём почему-то сначала в пальцы.

Знакомы были и вопросы тыкающей в меня иглой сестрички:

– Что вы ощущаете – уколы или прикосновения?

Я ощущал в основном уколы, причём и выше, и ниже пупка. В какой-то момент Ростиславович заподозрил, что я подсматриваю, велел мне закрыть глаза и начал тыкать сам. С тем же результатом. Онемение поднималось по ноге медленно. Устав ждать, анестезиолог сказал сестричкам загадочную фразу: «Потом расскажете мне, как подействовал мой спинальный наркоз», – и удалился из операционной.

Это меня удивило, так как всю операцию на другой ноге прошлый анестезиолог стоял у меня в изголовье, периодически спрашивая, как я себя чувствую.

Впрочем, вскоре выяснилось, что Ростиславович не ушёл. Он регулярно заглядывал в операционную, проверяя, всё ли в порядке, а задавать sacramентальный вопрос доверил чудной сестричке.

Именно она не отходила от меня ни на шаг, измеряя давление, меняя капельницы и осведомляясь, не надо ли чего. Элегантный зелёный халатик индивидуальной конструкции выгодно отличался от зелёных халатов других сестёр. Шапочка и марлевая повязка оставляли открытыми только чёрные маслинки внимательных глаз.

– Как вас зовут? – решил я не терять времени, пока не началось.

Жена осталась в палате, а о том, успею ли я познакомиться после, думать не хотелось.

– Вика, – ответила девушка.

– Виктория значит Победа, – проявил я эрудицию, – а значит, мы победим.

Потом, устыдившись примитивности своего заезда, спросил, сколько раз на операционном столе ей говорили этот комплимент. Маслинки засмутились и ответили:

– Вы первый.

И тогда я с гордостью усугубил свою примитивность:

– Это потому, что я знаю иностранные языки.

Уже потом, гуляя на костылях по коридору, я всматривался в лица встречаемых сестёр в надежде угадать те самые маслинки, но все оливки казались мне на одно лицо.

Сама операция отличалась от предыдущей. Тогда я лежал на спине, а сейчас меня общими усилиями (как-никак 103 кг с отключенной нижней частью) положили на бок, и две пары врачей работали с обеих сторон операционного стола. Живот мне подпёрли какой-то загогулиной. Я ещё удивлялся, что же это в меня так впилося чуть повыше паха. Неприятные ощущения прекратилась только после операции, когда загогулину сняли.

В отличие от прошлой операции начало я не проспал, но момент разреза не почувствовал. О том, что уже началось, я понял, когда А.В. скомандовал: «Суши!» Это относилось к крови, сочащейся из разреза.

Кроме ранее знакомых звуков циркулярки, шуруповёрта и молотка – железом по никелированному суставу – появилось нечто новое, шадящее. Я долго не мог идентифицировать это жужжанье, и только потом доктор объяснил, что шадящий звук издавала специальная машинка, что-то вроде шлифовального станка.

– За восемь лет размеры костей изменились, – рассказал он, – и пришлось чашку тазобедренного сустава и шейку бедра ставить большего размера, отшлифовывая при этом образовавшиеся в костях таза лакуны.

Очевидно, с размерами сустава были связаны и загадочные номера, которыми обменивались врачи.

– Я сказал, что надо брать 56.

– Вы же говорили, что 58.

– Я говорил, максимум 58.

Операция длилась дольше предыдущей, и у меня начали болеть правое плечо и шея. Я попросил сестричку помассировать их, и она сделала это настолько профессионально, что я ойкнул. На что вовремя подошедший Ростиславович прокомментировал:

– Ну, теперь вы убедились, что женщины всегда делают нам больно?

Я возразил, что иногда они делают нам и приятно, и тогда анестезиолог рассказал анекдот:

– Знаете, чем отличаются хорошие женщины от плохих? Плохие делают то же самое, что и хорошие, но делают это хорошо.

К концу операции начала появляться чувствительность. То есть я по-прежнему не чувствовал, как вколачивали титановый сустав в кость, но кожа на краю разреза стала чесаться. Я тут же сообщил об этом, на что Валентинович немедленно призвал: «Анестезиологи!», а Ростиславович, взглянув на меня, обнадежил: «Всё в порядке».

Зашивали меня долго, чуть ли не столько же, сколько готовили к операции. А когда шов смазывали какой-то жидкостью, я почувствовал, что в ранке печёт. Но полностью чувствительность вернулась уже в палате, через четыре-пять часов.

Перекаладывали на каталку, опять же, всем скопом (вы помните – 103 кг), а когда я сложил руки на животе, Ростиславович сказал:

– Я сейчас буду ругаться, вам рано ещё так руки складывать.

И ещё нагрывал на нянечек:

– Сколько раз говорить, что нельзя вывозить пациента из операционной ногами вперёд!



И ещё одну особенность этой операции хочется отметить: за три часа в операционной прозвучало всего три матюка. Причём третий – когда меня зашивали и один доктор воткнул иглу в палец другому.

ЧАСТЬ 3. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Свой «Репортаж с ногой на шее» об операции на прошлом суставе я закончил моментом её завершения. Поэтому всё, что происходило после, приходилось напряженно вспоминать, и оно всплывало в памяти отдельными фрагментами. В этот раз я решил хоть основные постоперационные этапы записать сразу.

Итак...

15 февраля, вечер СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...

Когда меня привезли в палату, я представлял собой феерическое зрелище. В вену на запястье был подключен маленький аппаратик, куда во время операции втыкались капельницы. Из зашитого разреза на ноге торчали два прозрачных шланга-катетера, через которые в два гофрированных сосуда стекала кровяво-розовая субстанция. Каждый раз, пытаясь поудобнее устроиться на кровати, я боялся выдернуть эти шланги. Обе ноги, коричнево-желтые от дезинфицирующего раствора, были туго перебинтованы эластичными, извините за тавтологию, бинтами. А выше на прооперированной ноге место разреза было накрыто марлевой напелкой, приклеенной лейкопластырем. Сукровица постепенно проступала сквозь напелку, и когда сестричка её меняла, обнажались аккуратные узелки послеоперационных швов.

Забегая вперед, замечу, что вся эта красота исчезала постепенно. Первым – после последней капельницы на третий день вынули из вены на запястье маленький аппаратик. На следующий день из ноги достали шланги-катетеры. На пятый день разрешили не бинтовать на ночь ногу. На восьмой – вместо того, чтобы наматывать эластичный бинт, позволили надевать эластичные чулки, что занимает гораздо меньше времени и не разматывается. Динка вздохнула с облегчением.

16 февраля, пятница, 1-й день после операции ЕДА ДА НЕ ТА

Выяснилось, что в больнице кормят. Еду готовят где-то на стороне и привозят три раза в день, плюс на five-o'clock ещё и кефир с булочкой. Питание оплачивает горсовет, 1-й стол – для диетчиков-желудочников. Паровые котлеты и тефтели с кашей, иногда макароны. В обед ещё и какой-то странный салат, невкусный, не солёный, но, очевидно, очень полезный. В общем, выжить можно, что я с успехом и сделал.

Несколько раз я хотел попросить, чтобы меня перевели на не столь драконовскую диету, но всё время забывал. А потом, гуляя по коридору, я встретил нянечку-кормилицу, развозящую еду в судочках двух разных цветов.

– Это что, разные диеты? – спросил я.

– Щас! – с чисто одесской интонацией ответила нянечка. – Так вам и разбежались каждому готовить по заказу. Хорошо, что хоть это дают.

И мне вспомнилось, как в 73-м году, когда мне удаляли вены, я лежал в палате на двенадцать человек: одиннадцать желудочников и один я. У меня операция чистая, кушать можно всё что угодно, а этим бедолагам как раз всего, чего им угодно, нельзя. А мне нельзя вставать. И моя мамочка в первый же вечер принесла жареную картошечку с котлетками. И потом каждый день приносила что-то такое же вкусное, пахнущее на всю больницу. Как меня тогда ненавидели соседи по палате!..

17 февраля, суббота, 2-й день после операции КОГДА ДОКТОР ГОВОРIT САДИТЕСЬ...

С утра меня научили правильно садиться. Сделал это ещё один доктор – Анатолий Моисеевич, реабилитолог, массажист, задачей которого было научить меня послеоперационному хождению.

– Здоровой ногой снизу поддерживаете больную и ме-е-едленно спускаете обе ноги вниз. И держитесь за меня.

Я выполнил всё, что велено, и от неожиданности сел.

– Вот так и сидите, – добавил доктор и ушёл, даже не ответив на мой незаданный вопрос о том, сколько сидеть.

Через полчаса он заглянул в палату, увидел, что я ещё сижу, и сказал:

– Хорошо, можете ложиться. Помните, здоровой ногой поддерживаем больную и ме-е-едленно поднимаем обе ноги вверх. А я потом ещё загляну, и опять посидим.

В следующий раз доктор заглянул, когда я обедал, так что вторая «отсидака» прошла под бдительным наблюдением Диночки.

18 февраля, воскресенье, 3-й день после операции МЫ С ТАМАРОЙ

Сегодня в палату пришла новая чернявая и смешливая сестричка – Настя. Через какое-то время после Насти в палате появлялась ещё одна – рыженькая и серьёзная. Она как бы контролировала, всё ли Настя сделала правильно. Рыженькая выглядела настолько сосредоточенной на своей ответственности, что я сразу не рискнул узнать её имя. И только при третьем её появлении осведомился, не Томой ли её зовут, имея в виду фразу «Мы с Тamarой ходим парой». Оказалось, что девушку зовут Ирой. Я рассыпался в комплиментах, сказал, что это моё любимое имя, что у меня много знакомых Ир и процитировал своё любимое оправдание перед женой за опоздание: «Встретил Иру, зашли за Ирой, позвонили Ирке и пошли к Ирише». И тут выяснилось, что и эта Ира, как и все остальные мои знакомые, тоже смешливая, да ещё и умненькая:

– А жену тоже зовут Ира? – спросила она и дала мне очередную таблетку.

19 февраля, понедельник, 4-й день после операции ТУПИ-ТУПИ

Сегодня в моей послеоперационной жизни произошло знаменательное событие – меня поставили на ходунки. В моей прошлой жизни, т.е. ноге, такого не было.

– Всё очень просто, – объяснил доктор. – Встали (вы помните, здоровой ногой снизу поддерживаете больную и ме-е-едленно...), руками передвинули ходунки вперёд – и тупи-тупи вперед разными ножками.

Когда я попытался сделать загадочное тупи-тупи, прыгая на здоровой ноге, Моисеевич чуть не рассмехался:

– Нет-нет, становитесь на обе ноги, просто прооперированную не нужно сильно нагружать.

Это меня удивило. По методичке прошлого сустава, нагружать ногу разрешалось только через три месяца. Но времена меняются. Изменился и подход к реабилитации.

– Всё правильно, – подтвердил доктор, – теперь такие требования. А завтра будем ставить вас на костыли.

Вечером, осуществляя хождение по палате с Диночкой, я понял смысл шагов тупи-тупи. Когда на ходунках шагаешь широко, то делаешь два шага, а с тупи-тупи – целых пять.

20 февраля, вторник, 5-й день после операции ДОКТОР СЛАВА

Утро началось с лечащего доктора.

Ах да, я совсем забыл сказать, что кроме главного доктора, зав. отделением Александра Валентиновича, есть ещё молодой лечащий врач – Вячеслав Николаевич. Доктор Слава, как мы с Диночкой называем его за глаза. Именно на него легла вся рутинная забота о моём выздоровлении. Это он настоял отложить операцию на неделю из-за обнаруженной у меня в желудке эрозии. Это он зашивал меня на операционном столе и пострадал от укола иглой своего коллеги. Это он кардинально решил вопрос, когда я пожаловался на свой затрудненный стул: «Два дня запора – и клизма» (слава Богу, обошлось).

За Николаевичем пришёл Моисеевич, тупи-тупи, поставил меня на костыли и пресёк попытку прыгать на здоровой ноге.

– Прооперированную ногу нужно нагружать, но без фанатизма! – веско изрёк он.

И вот так, без фанатизма нагружая ногу, мы с доктором прошли весь коридор, до кабинета Валентиновича. Дина у палаты осталась далеко-далеко.



21 февраля, среда, 6-й день после операции ОДА КРОВАТИ

Я с детства не могу спать на спине. Поэтому главным послеоперационным мучением при прошлом эндопротезировании был сон. Какие только позы я только не принимал, чтобы заснуть. Камасутра отдыхает. Описание того, как я, стараясь не побеспокоить прооперированную ногу, пытался утнеститься то на одной лопатке, то на другой, чтобы в промежутке хоть немного задремать, – ещё ждёт своего описателя.

И как тогда намучалась Диночка вручную (вернее вножную) то поднимая, то опуская изголовье моей кровати при каждом моём «перевороте».

В этот раз всё прошло немного легче. Я по-прежнему ворочался первые ночи, а жена, игнорируя мои постанывания, спала как сурок. А всё дело в том, что в этот раз я лежал на электрифицированной кровати с кнопками (не путать с электрическим стулом!). Нажал одну кнопку – сидишь-читаешь, начали спать глаза – нажал другую кнопку, и изголовье откинулось в удобное для сна положение. Отлежал одну лопатку, нажал кнопку, слегка поднялся и сменил позу № 13 на позу № 28.

Классное изобретение. Как этих кнопочек мне будет не хватать дома!

Послабление спинномозгового режима сна (сон на спине, от которого пухнут мозги) пришло уже на седьмой день после операции. Доктор разрешил мне ложиться на левый, здоровый бок.

– Только между ногами нужно прокладывать подушку, чтобы ноги не скрещивались, – предупредил он.

И уже следующей ночью я разработал собственную схему левостороннего сна:

Этап 1. Сплю, подушка между ногами.

Этап 2. Просыпаюсь оттого, что отлежал бок или заболело.

Этап 3. Переворачиваюсь на спину.

Этап 4. Перекладываю (подкладываю) подушку под прооперированную ногу.

Этап 5. Пять минут лежу и жду, пока оттерпнет и/или утихнет.

Этап 6. Снова переворачиваюсь на здоровый бок, одновременно перекидывая ноги подушкой.

Этап 7. Сплю дальше.

Схема повторяется каждый раз по мере надобности.

23 февраля, пятница, 8-й день после операции ЧУДЕСА САМОЛЕЧЕНИЯ

Очевидно, от ночного круговорота вдруг заболел затылок.

– А какое давление? Надо измерить, – заволновался Валентинович, когда я ему об этом рассказал.

Удивительное дело. Наверное, из-за того, что у меня от природы красное лицо, все доктора считают, что должно быть повышенное давление. Однажды я даже целый месяц его контролировал: измерял три раза в день, а результаты записывал в таблицу. И что? Оказалось, что за месяц давление повышалось, и то не критически, всего два раза. Оба раза – после отмечаний дня рождения.

Измеряли давление и в этот раз. Оно оказалось в норме, и боль немедленно улетучилась. Это свойство собственного организма мне тоже знакомо. Когда я вдруг чувствую недомогание, я тут же сую под мышку градусник. И если температура оказывается нормальной, недомогание тут же проходит.

24 февраля, суббота, 9-й день после операции ТРОЕ СУТОК ШАГАТЬ...

Вовсю продолжаем разгуливать с Диной по больничным коридорам. Сегодня, например, прошёл три дистанции. Три!!! Триста шестьдесят метров! Дина говорит, что я уже могу дойти до базара и даже слегка там походить.

Сестрички, встречая нас, комментируют: «Что, по девочкам пошёл?», на что я отвечаю, что по девочкам, т.е. на женскую половину, меня жена не пускает, поэтому и ходит за мной следом.

Интересное наблюдение. Первые несколько дней Моисеевич гулял рядом со мной, готовый, если что, меня подхватить. А сейчас он полностью доверился Диночке. И я тоже. Хотя я понимаю, что жена подхватить и особенно удержать мои 103 кг не сможет, но когда она рядом, мне спокойнее.

Первое время я больше всего боялся зацепиться костылём за пол и упасть. А цеплялась точка опоры достаточно часто. И каждый раз моя походка менялась. Я выпрямлялся и на шаге больной ногой (с упором

на здоровую) вручную приподнимал плечи рычагами костылей, одновременно вынося их низ вперёд. Резиновые оконечники лихо проносились над пытающимся схватить их линолеумом, твердо становились по маршруту, и я делал следующий шаг. Так продолжалось несколько минут, я успокаивался, костыль цеплялся за пол, и всё повторялось сначала.

25 февраля, воскресенье, 10-й день после операции ИХ МНОГО НА КАЖДОМ КИЛОМЕТРЕ

Воскресенье в больнице самый спокойный день. Никто не бегаёт, не докучает.

Дина привезла из дому сантиметр, и мы, наконец, точно измерили длину коридора. Сначала шагами, а потом – сантиметром – длину шага. Оказалось, длина одного коридора – около 30 метров. Туда-сюда – четыре коридора, а это 120 метров, за две ходки – 240. Так как обычно я гуляю три-четыре раза в день, то, получается, накручиваю почти километр. Нивроку!

Кстати, о нивроку. После последнего «нивроку» начало шпырхать колено. Экспериментальным путём удалось выяснить, что когда я подкладываю под «подколенку» подушку, т.е. когда лежащая нога чуть согнута в колене, – шпырхает меньше.

Кстати, о прекрасном украинском слове «шпырхать». По-русски это что-то вроде «дёргать», но с украинским колоритом. В гугловских словарях этого слова я не нашёл. Наиболее близкий по созвучию синоним к слову «дёргать» – «шарпать». А вот к слову «дёрнуть» есть куча алкогольных синонимов: заложить за воротник, раздавить муху, дюбнуть, хлопнуть, принять на грудь, хлебнуть, залить за воротник, пропустить по маленькой, дрызнуть, пропустить стопаря, дербалызнуть, остаканиться, залить за галстук, дeryбнуть, накатить, хряпнуть, остограмиться, пропустить стаканчик, остопариться, застукать рюмочку. Ну, это я так, для общего развития. :)

26 февраля, понедельник, 11-й день после операции ОБХОД ГАЛЛЕЯ

Проснулся в плохом настроении. Всю ночь шпырhalo, дёргалo, шарпало... Ну, дальше вы знаете.

Чтобы прийти в себя, сам на костылях пошёл в санузел и умылся. Сам! А чтобы совсем наверняка – ещё и сам побрился.

Моя нынешняя самостоятельность начинает пугать Диночку.

– На прошлом суставе ты таким самостоятельным не был, – заметила она.

Во время прогулки встретил обоих докторов и пожаловался на колено.

– А что вы хотели? – в один голос объяснили они. – Там крепится мышца, раньше она не работала, а сейчас начала напрягаться, поэтому и болит.

Сегодня понедельник, а, следовательно, в больнице обход.

Обычно он начинается с того, что в палату заглядывает нянечка и просит убрать все с подоконника, а то профессор этого не любит.

Добропамятная Диночка вспомнила аналогичную ситуацию в другой больнице, где мне удаляли вены. А злопамятный я уточнил, что сейчас для вещей хоть тумбочки есть, а тогда был один лишь подоконник.

За нянечкой заходит старшая сестра и проверяет, как выполнено указание младшей.

А затем, аки комета с хвостом, вливает со свитой сопровождающих врачей и интернов сам Профессор.

Профессору докладывают, какой день у меня после операции, он спрашивает, как я себя чувствую («Отлично!»), желает выздоравливать («Спасибо!») и исчезает, как комета Галлея, чтобы в следующий раз появиться через 76 лет. Пардон, через 7 дней.

28 февраля, среда, 13-й день после операции ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Вечером сильно похолодало – до минус девяти, а ночью пошёл снег и шёл всю ночь. Все дорожки к больнице замело. Из окна второго этажа было забавно наблюдать, как снаружи у двери больницы стоит дама в весёлом зелёном махровом халате, туфлях на босу ногу, но с бахилами. Курит. Охота пуще неволи.

Появился Валентинович с сестричкой Настей, которая на этот раз была без «мы с Тамарой». Настя сняла швы, и мне стало ещё легче.



Затем пришёл доктор Слава – сказать, что сейчас придёт Настя снимать швы, и, по-моему, слегка обиделся, что сняли без него, т.е. без лечащего врача Вячеслава Николаевича.

Доктор Слава спросил, собираемся ли мы завтра уезжать домой. Диночка, ещё утром выяснившая, что потепление ожидается не раньше субботы, сказала, чтобы выписывать нас раньше выходных он даже не думал. А я решил уточнить, как обычно проходит процесс эвакуации.

Оказалось, что заказывается машина скорой помощи с санитарями. Они тебя сносят, выносят, отвезут и заносят. И стоит всё это удовольствие 700 гривен.

Услышав это, Диночка повторила своё «нет» ещё более категорично.

– Попросим Аделя, он может заехать за нами на машине и тебя снести, вынести, отвезти и занести, – сказала она, когда доктор Слава ушёл.

– Ты помнишь Аделя? – спросила она затем таким тоном, каким некий молодой человек спрашивал у Бени Крика: «Вы знаете тетю Хану?».

Аделя, двухметроворостого одноклассника нашего сына, я помнил хорошо и тут же согласился, что этот – может.

1 марта, четверг, 14-й день после операции, первый день весны ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

Утром заглянул Моисеевич, и я спросил его, как нужно ходить по лестнице.

В шикарном изданном рекламном проспекте, рекламирующем сустав, который вручили сразу после операции, я видел схему, как это нужно делать, но ничего не понял. Поэтому было важно, чтобы мне показали.

– Нет проблем, пошли, – скомандовал Моисеевич.

– Пошли, – скомандовал я жене. – Ты же должна знать, как меня ловить, если я слишком быстро начну спускаться.

Всё оказалось не так страшно. Вначале я под бдительным взглядом доктора попытался применить на практике знания, не понятые из рекламного проспекта. Моисеевич снисходительно посмотрел, как я поочередно двигаю ноги и костыли по ступеням, а потом поинтересовался:

– А может быть, вам удобнее без костылей?

– А-а-а... разве можно на ногу становиться?

– А вы на перила опирайтесь. Попробуйте.

Я попробовал, и тут мне, как в том анекдоте, как попёрло! Я легко спустился на один пролёт, потом поднялся, потом ещё раз закрепил полученные навыки.

– Ну ты герой! – с гордостью сказала мне жена. – Теперь точно никакой скорой помощи с бригадой санитаров мы заказывать не будем!

2 марта, пятница, 15-й день после операции ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ГКБ № 11 ПОМПЕИ

Вечером зашёл Валентинович, чтобы дать последние консультации перед выпиской.

Я похвастался своими вчерашними подвигами на лестнице, но оказалось, что ему уже доложили, причём сразу несколько человек. Вспомнилось что-то из Штирлица: «Ни одно событие в рейхе не проходило без его пристального внимания».

А затем перешли к консультациям. Их оказалось немного.

1. На ногу полностью можно будет становиться через два месяца (а не через три, как после прошлого эндопротезирования).

2. Ногу нельзя сильно сгибать в тазобедренном суставе.

3. Пробовать ложиться на прооперированный бок можно только через месяц после операции.

4. Уколы кликсана в живот для разжижения крови, чтобы не было тромбов, можно закончить, и вместо этого ещё недели три принимать таблетки «Ксарелто-10».

5. Завтра обязательно нужно ему позвонить, когда мы доберёмся домой.

6. И самое главное – звонить по всем вопросам.

– Лучше ответить на вопрос, чем решать проблему, – резюмировал доктор.

И это выражение очень понравилось Дине.

3 марта, суббота, 16-й день после операции ДОМОЙ В ПАМПАСЫ

Утром сделал прощальную ходку по коридорам, прощаясь со всеми, кто помогал мне пережить эти две недели.

Эвакуация прошла без происшествий. Аделю даже не пришлось ловить меня на лестнице.

В квартире оказалось холодно. Пришлось включить обогреватель, и он начал очень ме-е-е-едленно обогревать.

Вечером сделал первую домашнюю ходку. Никогда не думал, что буду скучать по больничным коридорам. Там у меня были широченные и длиннющие два коридора, а здесь – одни повороты на короткой дистанции. Это как плавать тысячу метров в 25-метровом бассейне: едва разгонишься и – головой в бортик.

Умная жена в ответ на мою ностальгию за длинными коридорами посоветовала:

– А ты не делай широких шагов. Тебе же важно число шагов, а не километров.

Я попробовал, и оказалась, она таки да права. Один больничный коридор – 30 метров – я преодолевал за 20 шагов, а домашнюю ходку в оба конца – за 24 тупи-тупи, то есть протупитупивал 36 метров. Значит, если я буду ходить 15 раз, то пройду 540 метров. А если буду ходить три раза в день... Это же получается, как от меня до полдерibasовской!

Вечером оказалось, что я, особо не напрягаясь, могу сидеть и работать за домашним стационарным компьютером. Главное – не пересидеть, но нога подскажет.

Я вспомнил, что, вернувшись домой после прошлого сустава, я в основном лежал. А чтобы работать на ноутбуке, придумал специальную конструкцию, состоящую из накрывного столика, фанерки, школьного деревянного угольника, железки от детского конструктора и двух винтиков. Работать с такой конструкцией было можно, но очень быстро отлеживалось всё, что можно было отлежать. А в этот раз такой кайф!

И я решил, что в кровать я буду ложиться только спать, работать – сидя за компом, а читать и смотреть телевизор – в кресле. Оно у меня удобное, глубокое, а если положить ногу на стул, то она оказывается выше таза, что и необходимо. Правда, вставать со слишком низкого сиденья трудно, но жена-то у меня зачем?

Таким образом, весь процесс домашней реабилитации был распланирован, и с утра можно было приступать. А сегодня остаётся только написать послесловие.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Этапы другого пути

Моя любимая девушка, которую я когда-то очень сильно любил первые два курса (пока она в Ленинграде не вышла замуж), узнала по скайпу, что мне предстоит операция по замене второго сустава, и рассказала притчу, которая действительно произошла с её подружкой.

Подружка с мужем и маленькой дочкой летела отдыхать в Индонезию. Дорога туда, как вы сами понимаете, неблизкая, но полёт прошёл успешно. А в самом конце, уже перед посадкой, началась болтанка, малышке стало плохо, её тошнило, да так сильно, что, когда пришло время лететь назад, девочка закатила истерику:

– Не полечу – и всё! Давайте поедem поездом.

И мама нашла нетривиальный аргумент, чтобы её успокоить:

– Ты что, не знаешь? – сказала мама. – Мы же полетим совсем другой дорогой!

И девочка успокоилась. И обратная дорога прошла успешно.

– Так вот, – сказала мне по скайпу любимая девушка, – у тебя вторая операция пройдёт совсем другой дорогой, и всё будет в порядке.

И оказалась права. А в чём она оказалась права, я хочу сейчас рассказать.

Во-первых, обстоятельства сложились так, что операцию я делал совсем в другой больнице у другого хирурга.

Во-вторых, я помню, что тогда из операционной меня повезли в реанимацию, и там я провёл первые сутки. Причем они прошли в полусне: я полчаса читал, потом глаза закрывались, и я какое-то время дремал, потом снова читал – и так всю ночь. А когда в нижней половине стала появляться чувствительность, я периодически просил сестричку вколоть мне обезболивающее.

Сейчас же меня из операционной привезли сразу в палату, причём в отличном настроении, и я взахлёб



пересказал жене всё, что запомнил своим не отключённым во время операции сознанием. Из этих рассказов и родились эти заметки. И боли в прооперированном месте, когда прошёл наркоз, я не чувствовал вообще!

В-третьих, оказалось, что за восемь лет, которые прошли между операциями, появились новые лекарства и возник новый подход к реабилитационному процессу.

На первом суставе мне велели лежать несколько дней, прежде чем посадили на кровать. Теперь же меня заставили сесть уже на следующий после операции день. На третий день поставили на ходунки, на четвёртый я уже несколько раз прошёлся по палате – тупи-тупи, на пятый стал на костыли, а на шестой вышел в коридор, причём не прыгал на здоровой ноге, как в прошлый раз, а наступал на больную, подстраховываясь костылями.

Умылся у крана я в первый раз тогда только дней через десять, а побрился стоя уже дома. Сейчас же я умывался в душевой, как только стал на костыли.

Я помню радость в семье, когда я, уже будучи дома, смог лечь на здоровый бок где-то через месяц после операции, а на больной – через два месяца. Сейчас же я засыпал на здоровом боку уже через неделю.

В тот раз я впервые сел за стол обедать уже дома, примерно через неделю после выписки. Причём я помню ту гору подушек, которую жена клала на сиденье, чтобы я не сгубил ногу. Сейчас же я ещё в больнице садился на стул за тумбочку завтракать, обедать и ужинать «как взрослый».

Я помню ту, первую, эвакуацию из больницы. Меня в сидячем кресле довезли до машины, благо дело тогда всё происходило на первом этаже. Затем буквально положили на заднее сиденье, а дома на второй этаж меня несли на стуле сын и его двухметровый друг Адель.

И последнее, уже о прошлом, переходящем в будущее. В тот раз я впервые начал полностью становиться на прооперированную ногу ровно через три месяца. Так было положено восемь лет назад. А в этот...

– Не раньше, чем через два. И то без фанатизма, – напутствовал меня Валентинович.

И я подумал, что хорошее всё-таки слово «напутствие».

– Ты не хромай, – говорила мне тогда жена, когда я стал уже на обе ноги. – Ты ходи вразвалочку.

Посмотрим, как я буду ходить, через два месяца.

P.S.

– *I'll be back!*

Arnold Schwarzenegger

– *God forbid!*

Dina Ostashko

«ОКОЁМ»

МОЛОДЁЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТУДИЯ «АВТОР»

Молодёжное творческое объединение «Студия “Автор”» возникло в сентябре 2003 года в городе Дмитрове Московской области благодаря группе инициативных молодых людей, увлекающихся литературой. Участники Студии принимают активное участие в жизни литературного сообщества Московской области, Москвы и России, выступая на культурных мероприятиях разного уровня, участвуя в теле- и радиопередачах с участниками объединения, а также публикуясь в областных, российских и международных (русскоязычных) газетах и журналах.

Участники Студии неоднократно печатались в «Литературной газете», и в областной газете «Ежедневные новости. Подмосковье», журналах «Встреча», «Адвокатская палата», «Студенческий меридиан», «Северная жемчужина» и других изданиях, выступали на областном телевидении и федеральных радиостанциях.

«Студия “Автор”» совместно с клубами авторской песни Московской области и России проводит уже четырнадцатый по счету музыкально-поэтический фестиваль «Дмитровская горочка», который посетили тысячи авторов-исполнителей и гостей со всей России.

В 2008 году участники «Студии “Автор”» в качестве соорганизаторов приняли участие в проведении творческой встречи в Болгарском культурном центре (г. Москва), по итогам встречи установлено сотрудничество с болгарскими газетами, где выходили подборки переводов стихов на болгарский язык.

В 2009 году «Студия “Автор”» при поддержке Фонда русско-сербской дружбы и Союза писателей России провела творческий вечер в посольстве Сербии в России, во встрече приняли участие Председатель союза писателей России В.Н. Ганичев и посол Сербии в России Елица Курьяк. Этот вечер стал первым из творческих вечеров для молодёжи, проводившийся в посольстве Сербии с 1998 года.

С 2010 года руководитель объединения Владимир Никулин, был приглашён в жюри одного из старейших в Европе творческого конкурса «Мир без войны и насилия», проводимого с 1984 года. «Студия “Автор”» является партнёром и представителем этого конкурса в России. Благодаря такому сотрудничеству на конкурс поступило более 600 работ из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, Азербайджана и Армении.

С 2012 года обсуждается вопрос проведения творческих встреч и семинаров при посольстве Индии в России (обсуждение вопроса временно приостановлено).

В 2013 году «Студия “Автор”» открыло своё отделение в городе Тирасполе (Приднестровье), члены которого принимают активное участие в культурной жизни, как Приднестровья, так и Молдовы и Украины и России. В 2014 году «Студия “Автор”» совместно со своими друзьями из Ассоциации русских писателей Республики Молдова, Южнорусского Союза Писателей и Союза писателей Приднестровья организовала в Тирасполе Ежегодный Международный музыкально-литературный фестиваль «Авторские Мосты Мэрцишора».

«Студия “Автор”» продолжает активно работать по развитию русской культуры и литературы среди молодёжи и принимать участие в культурной жизни, как в России, так и за её пределами.

Павел Сушко

Участник Молодежного Творческого Объединения «Студия «Автор»,

Победитель Всероссийских и международных конкурсов,

организатор Международного фестиваля «Авторские Мосты Мэрцишора» и

Молодежного Творческого Объединения «Студия «Автор» в Приднестровской Молдавской Республике.



ПАВЕЛ СУШКО

Дмитров

МИУС-ФРОНТ

За рекою Миус – малый Сталинград,
 За рекою Миус – вгрызлись в землю трое
 Рано повзрослевших, молодых ребят.
 За рекою Миус шла разведка боем.
 Не было другого выхода прорваться –
 Фронт вокруг окопа, пулемёт один.
 За рекою Миус – был приказ держаться
 Роте против армии, – «Что же, поглядим!
 Высота ведь наша, веселей ребята!
 Остановим танки, и пойдём вперед!».
 За рекою Миус – в полный рост, как надо,
 Встал в атаку с песней, доблестный Морфлот.
 В лентах бескозырок разгулялся ветер,
 Рота не считала танковых атак.
 Высоту отдали только на рассвете,
 Там штабные знают, что пошло не так.
 Фронт прорвали позже, через год примерно.
 После сорок пятого в честь боёв тех мест
 Был поставлен памятник – якорь, в восемь метров.
 Говорят, что издали он похож на крест.

АДЖИ-МУШКАЙ

*...Но, клятву всем дыханием запомя,
 Бойцы, как в бой, ушли в каменоломни...*

П.А. Сельвинский

Грозные своды каменоломен
 помнят.
 Толпы, блуждающие во тьме,
 стоны.
 Люди, что больше похожие
 на
 Статуи, лица их серы.
 Статуи – Люди, не знавшие сна.
 Гордость и смелость
 в каждом –
 На выдохе пулю лови, на вдохе –
 яд.
 Люди, как статуи, грозно и молча
 стоят.
 Грозные своды давят и сводят
 каменность плеч.
 Люди, как статуи,
 каменоломни,
 Керчь.

А ты говорила, что ночь спокойной будет,
 В мельканье теней, мелькали, как тени, люди,
 И звуки метро сливались в многоголосье,
 И вспомнилось всё: тот вечер, твой запах волос и...
 Снег за окном, снег до одури чистый и яркий
 Свет фонарей. Все смеялись, дарили подарки
 Тебе, в тот светлый, в тот самый, твой день рожденья,
 Когда я пришёл с цветами, но без приглашенья.
 Ты знала об этом, и может, была даже рада
 Тому, что пришёл, а что оставаться не надо
 Я знал, я давно согласился со званием друга
 На празднике чувств.

За окном начиналась вьюга...

«Осторожно, двери закрываются, следующая станция ...»

...Меня ждал вокзал, дорога, и размышленья,
 «Ну, что ж, мне пора, спасибо за угощенье».

...Под чёрное стекло

Болота ледяного

Упрятано тепло

Несказанного слова».

В.Т. Шаламов

Простите за невысказанность чувств,
 За холод слов, за частые молчанья.
 И что любовью – высшим из искусств –
 Я не согрею этот час свиданья.
 Немой душе не суждено запеть,
 Слепое сердце радости не видит.
 Рождённому сподручней умереть,
 Когда с той жизни ничего не выйдет.
 От вечной мерзлоты не ждут тепла.
 И рыхлый снег, увы, не пух лебяжий.
 Напрасно вы разбили зеркала,
 Смотревшись в лёд, хотя уже не важно.
 Ведь наш сюжет не повесть не роман,
 Он очерк, где банален ход событий.
 И если сможете, за мой самообман,
 За то, что к вам на Вы прошу, простите.



АЛЕКСЕЙ ЗАХАРЧУК

Тирасполь

ПРОМЗОНА

Над дымящей вечерней промзоной,
там, где шелеста птичьего нет,
обострённым морозом пронзённый,
бездыханный колеблется свет.

Там, где в небо врываются трубы
и трубят неизвестно о ком,
кирпича огрубелые губы
исцелуют меня целиком.

Где пустуют развалины мрака,
где дыханье попало в тюрьму,
человеческим взглядом собака
проводить меня будет во тьму.

НЕДОТРОГА

Летит снежинка-недотрога –
её на руку посади.
Какая длинная дорога
у нас осталась позади!
Густые, тихие метели
скреблись в огромное окно,
и птицы белые летели
и, тая, падали на дно.
Отдай мне меркнувшие руки,
отдай мне солнечный испуг.
Среди божественной разрухи
уже не вырваться из пут.
Мне остаётся только голос,
твой лепет остаётся мне,
и ветви, стынущие голо
в немилосердной вышине.

ПРОШЛА

Отчего голова тяжела,
и спокойствия как ни бывало?
Просто молодость мимо прошла
и меня, проходя, не узнала.

И чужие звенят голоса,
и колышется смех посторонний,
и шумит, оглашая леса,
несмолкающий праздник вороний.

В ЯНВАРЕ

Мы замираем в январе,
когда прозрачные морозы –
как замирают в янтаре
доисторические осы.

Мы замираем, чуть дыша
морозом, падающим с неба.
Со скрипом нам дается шаг
по непротоптанному снегу.

Мы не спешим. Пусть сотни лет
летят, ворон пугая, мимо,
и на застывшей капле мира
немеркнувший играет свет.

ВЛАДИМИР НИКУЛИН

Дмитров

ВИДЕНИЯ

Острой тенью над избою накренился лес,
В ней под детской колыбелью расстелились мхи,
И в пелёнки, из-под пола, папоротник влез.
До утра утомонились псы и петухи.

А малютка в тонких листьях ёжится, не спит,
Только слышит, как над крышей зреют голоса –
То сквозь мать его и бабуку проросли грибы –
Две кручины над избою жмутся к небесам.

Вот те русская глубинка – травник да завет,
Ты – ларец сказаний чудных, брошенный в лесах,
На заре проснётся нянька, а малютки нет –
Он ушёл по лунной тропке, к мамке, в небеса.

Ствол из него течёт кора, из неё течёт кора,
В ней утопает воробей до пяти часов утра.

Он от пяти часов утра до полудня вьёт гнездо,
Сто двадцать веточек собрал, а грачи собрали сто.

Стоп. У соседнего двора солнце лопают зарю,
Ствол, из него течёт кора, по привычке, к воробью...



За горьким расставаньем случается война,
 За мертвенным молчаньем – великая стена.
 Отец, источник правил, фигура из песка,
 Ты, прежде всего, Авель, а лишь потом – тоска

Ты, прежде всего пища, а лишь потом обет...
 Один из нас двулличен, другого вовсе нет,
 Один из нас пропащий, другого не найти...
 Но кто-то третий в чаше на полпути сидит.

И на коленях греет увесистый кистень,
 Мы врозь не одолеем его медвежьей тень...

Другие напиши слова, другие письма,
 Чтоб я по ним тебя узнал, тебя осмыслил,
 Чтоб не струилось в тишине непониманье,
 Другие силы обуздай для созиданья,
 Иль растворишься до «ничего», до точки встречи,
 Где мы найдём друг друга младше и беспечней.

СЕРДЦЕ

Сердце, стучи, сердце, стучи – так подчиняя время,
 Силой своей, грустью своей жизнь сохрани в ночи.
 Не заробей, не замолчи, не поклонись сомненьям
 Кто бы не предал в долгом пути, сердце моё, стучи!

Если идти – горной тропой, если лежать – в поле,
 Чтоб иссушила ветер шальной, чтобы сожгли лучи.
 Сколько ещё бед впереди? Сколько ещё боли? –
 Перешагну. Перелечу. Сердце моё, стучи!

Если последний друг отступил – выдохся быть другом,
 Если учитель, старый солдат, не отступил – почил,
 Не опущу бледного лба, пусть будут бить грубо.
 Будет вести голос-судьба, только стучи. Стучи!

Даже когда силы уйдут – их отберёт дорога:
 Руки – бледны, веки – темны, голос как яд горчит –
 Всё исцелим. Всех победим: чёрта и даже Бога!
 Ярче свечи, жарче печи, сердце моё, стучи!

ТЕПЛО

Подойду к реке, зачерпну в ладони,
 Разожму, пускай утекает прочь.
 Меж страницами книги дурман и донник
 И решимость недоброе превозмочь.
 Между словом прошлым и словом будущим
 Будет долго-долго журчать вода...
 Зачерпну. И руки мои связующе
 Отдадут тепло своё. Навсегда.



И оно уклейкой блеснёт в течении
 И достанется селезню на обед.
 Не реки серебряное свечение –
 Моего тепла отражённый свет.
 Пусть оно мерцает из каждой заводи,
 Каждым всплеском пусть побеждает лёд.
 На последней странице, в словах и в памяти
 Приютится и пламенем расцветёт.

Я – окунь подо льдом,
 Я – тёмная вода.
 Поставлены на кон
 И сила, и судьба,
 Поставлено на кон
 Душевное тепло.
 Я – окунь подо льдом,
 А подо мною дно.
 А сверху льётся свет
 Лазурно-голубой,
 А дно ползёт ко мне,
 А дно зовёт домой...
 Последнее на кон,
 Срастается стена
 Я лучше стану льдом,
 Чем стану частью дна.

—

ВИКТОР ГРАБКО

Тирасполь

Привет. Ну как там? Тепло на югах-то? Не на нового ли хахаля так неустанно ворожишь на картах? Я то? Я здесь на заплатах, закладках, жить пытаюсь хоть как-то. Заляпал рубашку последнюю. Теперь она в красных пятнах.

Я бы и рад был. Если бы только не град пустых обещаний тревожил сознание, что покорёжено. Пальцы «в края» отморожены. На улице май, а мне холоднее, чем в ноябре на паперти. Кроет пади. Укрывает без смысла и толку моя меланхолия, простынею тонкой из тёплых воспоминаний покрывшихся ледяной коркой. Как долго ещё это длиться будет, ответил бы кто.

Исподлобья смотрю на лица.

Дотянуть бы до пятницы и напиться.

Не забивай свою светлую голову всем, что отчалив, отчётливо выкрикнул... Совсем не то, задумывалось изначально.

Не забивай свою голову светлую тёмными мелочами.

У меня с собой лишь пачка сигарет, чтобы бронхи в пути не скучали,

На последний троллейбус до «Балки» билет

И никакой печали.



Опустевшая кухня,
 Гитара звучит в колонках ноутбука.
 Слово за слово цепляется звуком.
 Я растворён. Меня поглотила скука.
 Мысли блуждают по кругу.
 Опускаются руки.
 Застыло сознание.
 Стоицизм и апатия –
 Два главных закона.
 Я обладаю единственным знанием
 (Прочти, пожалуйста, каждое слово).
 Любовь созревает не к месту, как флюс,
 (Словно исподтишка
 удар самураю).
 Ты не моя, но в этом есть плюс –
 Я никогда тебя не потеряю.

Блаженны умалишённые в своём беспробудном покое.
 Камни разбросаны, время для них ещё не настало.
 Твои руки целованы были не только мною.
 Эмоции все ко дну опустились устало.
 Ты блуждала у берегов реки, так похожей на море.
 Целовала рассветы, всю себя скрывая под одеялом.
 Молча смотрела на волны, уже настрадавшись вдоволь.
 У берега Стикса время для сбора камней настало.

Не важно
 какой твой дом –
 жёлтый или публичный.
 Мы одинаково смертны,
 одинаково не приличны.
 За плечами обоих
 ничего
 кроме грабель и шишек.
 Ты Пятница,
 а я на тонущем корабле
 единственный выживший.

Суть нашего века
 повод найти
 в отсутствии повода.
 Возраст
 уже не равняется
 нажитому опыту.
 Так нигилист нигилиста
 погоняет Тургенева сборником.
 Так
 о покойниках певший
 однажды станет покойником.

Так кто во всём виноват?
Звёзды?
Или мы сами?
Ответ найдётся
если взглянуть на всё
другими глазами.
Когда две полусферы
окрасятся
красными полосами
И мы,
Вцепившись друг в друга,
зависнем
под небесами.

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОВА

Дмитров

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ

Я – друг поэта...

Посвящается моему коллеге по перу и лучшему другу

Чернокрылый проводник,
Птица вольная.
Рвешь страницы старых книг,
Сыплешь соль на яд.

Будет впору по тебе
Город зим и выюг,
Император и плебей,
Город – враг и друг.

Помни: ты придёшь опять –
Сквозь всех зим ветра.
Ведьма-осень будет ждать
Инквизитора.

НОЧНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

Седая ночь накинута на плечи
Свой чёрный, прохудившийся платок.
Хоть люди и твердят, что время лечит,
Она не любит временной поток.



По-старчески бормоча тихо ругань,
Бубня и спотыкаясь на ходу,
Она ведёт ко мне навстречу друга.
Сегодня я его впервые жду.

И мы приходим в склеп. Там колыбели
Их миллионы. Больше их, чем звёзд.
И в каждой спит, закутан в саван белый,
Младенец, никогда не ливший слёз.

Мой друг ворчит: «Ходить сюда нелепо.
Скорби хоть век. Убитым не ожить.
Им не покинуть замершего склепа.
Им даже глаз не суждено открыть.

Их укрывают каменные своды.
Дождь, плача, омывает каждый труп.
Чтобы отпеть их всех, не хватит года...»

...И всё-таки, молитва рвётся с губ.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

С крыш
Падают листья
И путаются с волосами
Как ржавчиной вгрызаясь в металл
Отчаянно окисляя и разъедая по каплям нутро
Сплетаясь в рыжеватый оскал
Шепча десятью голосами
На ухо, в мысли:
«Спи. Шшш...»

ЧЁРНАЯ

*(По мотивам балета П. Чайковского
«Лебединое озеро»)*

Чернокрылая тень
Среди белой орды.
Не касаясь воды,
Я парю в темноте.

Ты чиста, как роса,
Хоть в плену много лет.
Засыпает рассвет
На твоих волосах.

Ты слепишь белизной,
Но подумай сама:
Даже принц и шаман
Восхищаются мной.

Ты в почёте у птиц,
Я – у знатных людей.
И кружусь ночь и день
Среди пафосных лиц.

Мне фанфары трубят,
И мужчины поют.
Как реликвию чтут,
Только любят – тебя.

ЗОЛУШКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Пышные платья сменили рваньё,
И не на кухне, а в зале поёт.

Сёстры приставлены к знатым домам:
Титулы, деньги, парфюм и дурман.

Дай только пищу голодным волкам:
Мелкая сошка одета в шелка,

Учит французский и скачет верхом –
Стелется шлейфом завистников хор.

Слава и лоск. Возвышение. Трон.
Сплетни слетаются с разных сторон.

«Ишь, королева! Все руки в грязи!» –
В голосе нищенки злоба сквозит.

Роды. Девчонка. Придётся ещё.
Кожа висит. Организм истощён.

Принц появляется лишь на заре –
Ночью уходит к её же сестре.

Год уже правит. Другая нужна.
«Яд не токсичен. Не бойся. До дна».

...Траур недолго проносит страна.
Лучшая сказка на все времена.

ЕЛИЗАВЕТА КОВАЧ

Тирасполь

Этот город коснется щеки тёплой краской заката,
Южным ветром – ладони, утёсовской песней – души,
И вдохну я, как в детстве, не воздух, а сладкую вату,
И пойму, что за счастьем мне незачем больше слепить.



Этот город обласкан руками великих французов,
Ароматом акаций цветущих пропитан насквозь...
Я стою и гляжу, как над Оперным кружится муза
И роняет стихи на душистое сено волос.

Этот город гудит на наречье, чужим непонятном,
Копошится Привоз, зазывая кичливых гостей...
А они не глядят на торговок – и это понятно –
Их чаруют коленки и юбки твоих дочерей.

Этот город пребудет во мне не бульваром в оконце,
Не Потёмкинской лестницей, что к небесам побежит...
Да пребудет навек, город мой, предзакатное солнце,
Что целует тебя в итальянский прибрежный гранит!

Ты заснёшь, как дитя, в безмятежном великом покое,
Где неспешные волны баюкают в море Луну...
Ну а я не усну... Я подружку-гитару настрою,
И тихонечко трону зовущую песню струну...

ЦОК-ЦОК-ЦОК

Опять простужены в начале августа,
Ждём Айболита мы, дрожим от страха.
В шесть рук без усталости мы лепим анста,
А получается – лишь черепаха.

Подушки мокрые, глаза опущены,
Связь с миром воздуха – в окошке форточка.
Улыбки слабые и те по случаю,
И каша пресная, и суп без косточки.

Больничным запахом пропахла комната,
Глаза иконные тревожат душу...
Волос червонное сыночка золото –
Он на руках уснул и не дослушал

Рассказ для братика про степь привольную,
Края заморские и море пенное...
Отдам полцарства я за ночь спокойную,
Да и коня отдам – за слезы нервные!

Заснут, уставшие, крещу легонечко...
А дальше цок-цок-цок – и всё по кругу!
Вновь лягу засветло, вспакну тихонечко –
На час ослаблена моя подруга.

А поутру опять рисуем радугу,
Переливаются картинка лета.
Без ласки солнышка остались надолго,
А впрочем, я совсем и не об этом...

ПЛАЧ

Мы отдали мечту на заклятие
И до боли упились несбывшимся...
Пусть кричу я теперь птицей раненой,
И молюсь за детей не родившихся.

И в подушку реву от усталости
Слабосильными, нервными строчками...
Знаю – добрые люди без жалости
Расправляются так с одиночками.

Искупила слезами, молитвами,
Звали заводи, звали проруби,
А в душе – только ямы да рытвины –
А когда-то гнездились в ней голуби.

Прохожу сквозь людское чистилище,
Зависаю над самой бездною...
Я сама себе – суд и судилище –
Остальное всё – бесполезное!

И опять просыпаюсь – красивая! –
Богом в звёздной купели крещёная,
Непокорная, смелая, сильная,
Потому и никем не прощённая!

Висят в бесстыжей нагоде
Плоды рябины...
Прекрасны в сонной красоте
Как ты, Марина...

Твой томик знаю наизусть
До самой корки,
Прости, что лью сегодня грусть
Скороговоркой...

«Пригвождена», «С другою как?».
Петля, могила...
Я ненавижу пастернак,
А ты любила...

Он завязал стальной рукой
Твою котомку...
Теперь вот я давлюсь строкой,
Впадая в ломку...

И мне не вычерпать до дна
«Судеб скрещенье»,
Любви моей одна цена –
Не всепрощенье!

Я раздаю себя – за так! –
За строчкой строчка...
Какой ты всё-таки дурак!
Точка!



Два драматурга рисуют героев,
Мнут, словно тесто с утра хлебопёк,
Связаны будто они поневоле,
Кем и когда, им, увы, невдомёк.

Ночи проводят с самой Мельпоменой,
А ведь могли бы друг с другом, рабы...
Но между ними высокие стены,
И верстовые петляют столбы...

Действие, только б не знать это имя,
Вылить чернила на черновики,
Тонкая связь их почти ощутима,
Словно касаясь любимой щеки!

Словно целуя горячие губы!
Те, что в ремарке сокрыты от всех,
Два драматурга настойчиво, грубо,
Множат в тетрадах второй смертный грех...

Вместо сердец две глубокие раны,
Чайками-тексты в накальную нить,
Два драматурга, как это не странно,
Пишут стихи, а могли и убить!

Опять твой запах не дает уснуть,
И уплывает в ночь моя квартира,
Ступаю босиком на Млечный путь,
Держа в руке расстроенную лиру.

Не выбрать между: «после» и «теперь»,
И не отбросить глупые вопросы...
Когда твою я открывала дверь –
Моя реальность улетала в пропасть.

Пусть не добавят строчки ничего
К моим рукам, губам, словам и вздохам...
Ты рядом был! И было мне легко!
И, как голодный радуется крохам,

Влюбляюсь в кастаньеты каблучков,
Когда иду по самому по краю...
Слова, слова, слова – как много слов!
А я ведь в каждом слове умираю...

Гремит трамвай, как кости домино –
Проснулся мир и он проснулся в мире...
Свеча в руке... Так это для того,
Чтобы стоять в окне, как будто в тире...

«ЛИТМУЗЕЙ»

ДМИТРИЙ СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

К 220-летию А.С. Пушкина

А.С. ПУШКИН

(Из биографии)

Одесса

В 1823 году (7 мая) наместником Новороссии и Бессарабии был назначен граф Воронцов. Назначение это было началом новой правительственной политики по отношению к краю, который считался запущенным и в котором Воронцов должен был прочно утвердить общероссийские административные порядки¹. Воронцов пользовался репутацией либерального и просвещённого вельможи. Пока двуязычный Александр ещё одним языком произносил либеральные речи, Воронцов искоренял палки в своём корпусе и вёл переговоры с Н. Тургеневым об устройстве общества для подготовки освобождения крепостных.

Когда курс царской политики окончательно отклонился в сторону чистой реакции, Воронцов немножко опоздал приспособиться. Его участие в антикрепостническом обществе доставило ему несколько неприятных минут. В докладе Грибовского о нём говорилось как о генерале, на которого возлагает надежды тайное общество. Он сочувственно упоминался в бумагах арестованного майора Раевского. Вообще он был политически несколько скомпрометирован, и в момент назначения в Одессу одной из его главных забот было – реабилитироваться в глазах царя.

Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (9.09.1890 – 6.06.1939). Литературный критик, литературовед, англист. Княжеский род Святополк-Мирских восходил к Рюрику. Он преподавал русскую литературу в Оксфорде. Становление его литературно-критических взглядов проходило под влиянием английской «новой критики» и прежде всего творчества поэта и критика Т. Элиота. Потом постепенно перешёл на марксистские позиции. «Д. Мирский крайне социологизирует и историко-литературные явления, и факты современной литературы» – писал о нём М. Поляков в предисловии к его книге «Литературно-критические статьи» (1978). Во второй половине 1920-ых годов участник евразийского движения, редактировал в Париже вместе с С. Эфроном журнал «Вёрсты». Очень высоко ставил творчество М. Горького, Б. Пастернака, М. Цветаевой и др. М. Цветаевой он устраивал поездку в Англию, выступление в Лондоне, даже оплачивал до 1931 года парижскую квартиру М. Цветаевой. В 1931 году вступил в английскую компартию. В 1932 году вернулся из эмиграции в СССР. В 1937 году репрессирован. «Известный британский писатель и журналист Мэлком Маггеридж, встречавшийся с Мирским уже после его возвращения в СССР, сделал его прототипом героя одного из своих романов и уделил ему немало внимания в мемуарах под названием “Хроника времени, растраченного попусту”...»; «В издательстве Оксфордского университета вышла книга профессора того же Оксфорда Джералда Смита, одного из ведущих западных славистов, под названием “А.С. Мирский: русско-английская жизнь”» – пишет в очерке «Красный князь» (2002) писатель Алексей Цветков... Публикуемая нами глава из неоконченной книги Д. Мирского «А.С. Пушкин (Из биографии)» повествует о пребывании А.С. Пушкина в Одессе в 1823-24 гг., и, хотя некоторые высказывания автора кажутся в XXI веке чрезмерно социологизированными, мы считаем этот текст важным для литературной истории, несмотря на некоторые огрехи методологии того периода творчества Д. Мирского, когда создавалась книга о Пушкине.

Как только стало известно, что Воронцов будет наместником юга, арзамасские друзья принялись хлопотать за Пушкина, и всеобщий ходатай, Александр Иванович Тургенев, добился того, что новый наместник согласился взять ссыльного поэта к себе в Одессу.

После ареста В. Раевского и решительного отказа царя простить Пушкина Инзов почти перестал выпускать его из Кишинева. В мае 1823 года поэт «насилу уломал» его отпустить в Одессу. «...Я оставил мою Молдавию, – рассказывает он брату Льву, – и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе...». Съездив на короткое время обратно в Кишинёв, Пушкин 3 июля окончательно переселился в Одессу.

Инзов был обижен на Пушкина, так охотно менявшего его на новое начальство. «Ведь он ко мне был прислан», – жаловался «добрый мистик». И Пушкин, несмотря на всё удовольствие переселения из бессарабской Азии в «одесскую Европу», словно предчувствовал, что ему придётся ещё пожалеть о Кишинёве и об Инзове. «...Кажется и хорошо, – продолжал он то же письмо брату Льву, – да новая печаль мне жала грудь – мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинёв на несколько дней, провёл их неизъяснимо элегически – и, выехав оттуда навсегда, о Кишинёве я вздохнул»².

Цепи были далеко ещё не покинуты. Тюрьма ждала его и за Кишинёвом, и Пушкин не делал себе иллюзий на этот счёт. «Надобно мне провести три года в душном азиатском заточении, чтоб почувствовать цену и не вольного европейского воздуха», – писал он об Одессе Л.И. Тургеневу.

Всё же Одесса, отделённая от центральной России тысячами вёрст бездорожья и сближенная с берегами Средиземного моря деятельной торговлей, действительно была своего рода Европой.

*Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подьмлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразием живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой.
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжёлый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.*

(«Путешествие Онегина»)

С 1819 года Одесса была порто-франко, то есть таможенная граница России её обходила, и иностранные товары ввозились туда беспошлинно. Торговая буржуазия Одессы была в значительной своей части иностранная.

Общественное положение одесских негоциантов было непохоже на положение бородатых купцов внутренней России. Они были равноправные члены высшего общества. Характерная одесская фигура тех лет – Иван Ризнич. Крупный экспортёр, по происхождению славянин из Триеста, Ризнич был принят у наместника, переписывался с генералом Киселёвым и в конце 20-х годов женился на польской графине.

Улицы одесские были немощёные, и во время дождей грязь была такая, что колесное движение по городу прекращалось. Зато были хорошие гостиницы, казино, превосходный французский ресторан Оттона и даже итальянская опера. Главное, было море, постоянное движение иностранных кораблей, непосредственное ощущение близости стран, не подчиненных императору Александру.

Но с одной стороны – Европа, а с другой – Одесса была русским провинциальным городом, с царским наместником в центре и со всем обязательным ассортиментом канцелярий и чиновников.

Её европейские черты недолго развлекали Пушкина. Очень скоро он начал томиться и здесь, и жалобы на невыносимую скуку в письмах из Одессы скоро становятся даже настойчивей, чем в письмах из опустевшего Кишинёва 1822-1823 года. А близость моря и ежедневный вид уходящих кораблей дразнили возможностью побега.

*Пора покинуть скучный берег
Мне неприязненной стихии... –*

писал Пушкин в первой главе «Онегина», в самом начале своего одесского пребывания. А «почтовой прозой» брату Льву проще и ясней:

«Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своём отпуске чрез его министров – и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ. Осталось одно – писать прямо на его имя – такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпёж».

Наместник «Ивана Ивановича» в Одессе был под стать самому городу. О «европейском» образе мыслей Воронцова шла «европейская молва». Сын русского посла в Англии, он получил английское воспитание и слыл англоманом. Он усвоил английские понятия о почтенности буржуазного богатства, и его любезное и внимательное обращение с негоциантами делало его популярным среди одесской буржуазии. Усвоил он и английскую аристократическую вежливость в обращении с низшими, не похожую на обычную грубость русских генералов. Единственное, чего он требовал за это от подчинённых, было ясное сознание его неизмеримого социального превосходства над ними. Подчиненные охотно чувствовали это и на его вежливость отвечали преданностью.

Но «милорд Уоронцев» (как Пушкин иронически писал его имя, как бы произнося его по-английски) был только «полу-милорд». Настоящий английский «милорд» был глубоко убеждён прежде всего в превосходстве всего английского над всем... русским. Русская литература для него не существовала. Русский поэт в его глазах мог быть только плохим подражателем Байрона, безнравственного, но всё же «милорда». За это презрение к родной литературе Пушкин имел полное основание называть Воронцова «вандалом».

Он его называл ещё «придворным хамом» и «полуподлецом», который может стать подлецом полным. Превращение Воронцова в «полного подлеца» происходило как раз теперь, когда ему надо было заглаживать свой слишком затянувшийся либерализм. Тут уж он действовал по-русски бесстыдно, как в известном эпизоде, о котором Пушкин говорит в стихотворении «Сказали раз царю». Зато он и реабилитировался с успехом: когда Александр в 1824 году составлял свой список политических подозреваемых генералов, Воронцова в него он уже не внёс.

Пушкина Воронцову рекомендовали почтенные люди, и он готов был взять свихнувшегося, но способного молодого человека под своё покровительство, уверенный, что, подобно всем другим, Пушкин ответит ему благодарностью и преданностью. Он не предвидел, что это покровительство обратится в историческую борьбу между двумя концепциями человеческого достоинства и общественного первенства. Воронцов видел в Пушкине «коллежского секретаря», «а я, – писал Пушкин Тургеневу, – признаюсь, думаю о себе что-то другое».

И Пушкин занял по отношению к Воронцову позицию, совершенно неожиданную для полумилорда. Он сразу понял, что «ласковость» Воронцова – совсем не то, что доброта Инзова. В Кишинёве он постоянно столовался у Инзова; в Одессе, несмотря на крайнее безденежье, он твёрдо решил, что «на хлебах у Воронцова» он жить не станет. «Не хочу и полно», – писал он брату. Так с самого начала одесской жизни Пушкина началась (сперва приглушённая) борьба поэта с наместником.

Иначе сложилось отношение Пушкина к жене наместника, Елизавете Ксаверьевне, урождённой Браницкой. Полька со стороны отца, со стороны матери она была внучатая племянница Потёмкина и, следовательно, родственница Раевских. Она была старше Пушкина на семь лет, и в это время ей было уже за тридцать. Современники единогласно говорят об её исключительной прелести и привлекательности. В. Соллогуб, знавший её уже совсем немолодую, говорит о ней: «Всё существо её было проникнуто такою мягкою, очаровательною женственною грацией, такою приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин, Раевский³, и многие, многие другие без памяти влюблялись в Воронцову». Любовь Пушкина к ней относится уже к последним месяцам его пребывания в Одессе. Но с самого начала Елизавета Ксаверьевна внесла осложняющий момент в отношения Пушкина к дому наместника: из-за неё он чаще бывал в этом доме, в котором по другим соображениям он хотел бывать возможно реже.

Сближению Пушкина с Елизаветой Ксаверьевной способствовали частые наезды в Одессу Александра Раевского, давно влюблённого в свою троюродную тётку. Пушкин теперь особенно сблизился с ним. В 1820 году первое знакомство с байронической романтикой «охлаждённого чувства» давало А. Раевскому в глазах Пушкина ореол поражающей новизны и импонирующей оригинальности; теперь отход от романтических мечтаний по-новому приближал поэта к разочарованной трезвости Раевского. Раевский

хотел над незрелым изображением сильных страстей в «Бахчисарайском фонтане», и Пушкин, уже поднявшийся на новую ступень своего гения, хотел вместе с ним над своим вчерашним днём. В Одессе в 1823 году написан «Демон», в котором все узнали А. Раевского. Стихотворение это сразу сделалось знаменитым – так резко запечатались в нём те черты байронического демонизма, которые особенно импонировали русской публике 20-х годов.

Приезды А. Раевского оживили Пушкина, у которого в Одессе не было других друзей, ни таких возбуждённых и воспитывающих, как кишинёвский однофамилец Раевского, ни таких бесхитростно привязанных, как Алексеев и Горчаков. Новые знакомства были многочисленны, но поверхностны. Несколько более дружных сблизился Пушкин с молодым поэтом В. Туманским. Туманский был одним из самых способных подражателей Пушкина, но это не был настоящий поэт, как Дельвиг, Баратынский или Языков, а литературно грамотный и рассудительно-романтический молодой чиновник, сумевший понравиться Воронцову, который с одобрением отзывался о нём как о молодом человеке «совсем не Пушкинова разбора».

Едва ли не более дружен был Пушкин с экзотической достопримечательностью Одессы, тем «Морали», именем которого кончается приведённая выше строфа из «Путешествия Онегина». «Морали» – это произнесенное по-французски «мавр Али». Полуараб-полунегр, Али был бывший шкипер коммерческого судна, но Пушкин предпочитал считать его бывшим корсаром. Пушкин любил весёлый характер мавра и мальчишески веселился с ним. Но в тяге к этому африканцу был и другой мотив, очень характерный для Пушкина. «Может быть, мой дед с его предком был близким роднёй», – говорил Пушкин Липранди. Мавр Али и море оживляли в Пушкине воспоминания о его арапском предке, и мечта об Африке связывалась с мыслью о побеге:

*Пора покинуть скучный берег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вдыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.*

В последнем двустишии Пушкин говорит ещё о прежней, кишинёвской любви, внушившей «любовный бред» «Бахчисарайского фонтана». Одесса связана с другими именами.

Имя Амалии Ризнич стало известно в печати раньше всех других имён «донжуанского списка» Пушкина, и поэтому ей долго отводили преувеличенное место в жизни и лирике Пушкина. Однако место это и так довольно значительное тем более что мы едва ли не больше знаем о любви Пушкина к ней, чем к какой-либо другой женщине.

Полуитальянская австрийка, жена крупнейшего одесского негодяя, уже упоминавшегося Ивана Ризнича, с почётом принятая у наместника, Ризнич мало заботилась о своей репутации при этом дворе. Всегда окружённая толпой поклонников, она открыто вела себя как «любви подруга»⁴ и не старалась даже казаться добродетельной. Под конец, несмотря на её положение, её, по-видимому, даже перестали принимать у Воронцовых.

Пушкин любил её недолго, но страстно и мучительно. Цикл стихов, относящийся к ней, – в сущности, единственный такой цикл в пушкинской поэзии, который может быть установлен с некоторой степенью достоверности. Самое раннее стихотворение цикла – «Простишь ли мне ревнивые мечты...» – относится к середине октября 1823 года. С биографической конкретностью, крайне редкой в его законченных и опубликованных стихах, Пушкин говорит об окружении своей любовницы, об её желании «казаться милой» всей толпе своих поклонников, об её двусмысленном поведении с его соперником:

*В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полудета,
Зачем его должна ты принимать?..*

И с красноречием страсти он умоляет её щадить его ревность.

Следующие стихи цикла, за исключением одного («Ночь»), останутся неотделанными черновыми набро-

сками. Они полны страстного напряжения, которое иногда почти выходит за пределы того, что мы привыкли считать «пушкинским». Особенно исключителен набросок «Придет ужасный час...», где мучительное желание полного обладания переходит в желание чувственной страстью преодолеть самую смерть. Последний набросок «Все кончено: меж нами связи нет...» относится к началу февраля 1824 года. Несомненно, около этого времени и произошёл разрыв между ними.

Воспоминания современников полностью подтверждают то представление о любви Пушкина к Ризнич, которое возникает из стихов этого цикла Пушкин любил её с исключительным напряжением, совершенно не скрывая ни своей страсти, ни мук своей ревности, а она одновременно с ним имела другого любовника. В сопровождении этого любовника, польского князя Яблоновского, она в мае 1824 года уехала за границу.

Через год она умерла в Италии. Получив известие об её смерти, Пушкин написал знаменитую элегию «Под небом голубым страны своей родной...», в которой он с грустным удивлением вспоминал о скоротечной силе своей не оставившей следов страсти:

*Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжёлым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной, легковёрной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слёз, ни пени.*

По после того же времени он посвятил её памяти другие стихи – пропущенные строфы шестой главы «Евгения Онегина», которые говорят нам, что легковёрная тень, так легко забытая поэтом, была также мучительной тенью, оставившей не легко изгладимый след страдания:

*Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошёл, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень!*

И в другом месте «Евгения Онегина» говорится в ином тоне о Ризнич, «негоцианке молодой», окружённой поклонниками в оперной ложе:

*А муж – в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнёт и – снова захрапит.*

Скоро после её смерти этот муж поднялся ещё выше и одесском обществе, женившись на младшей сестре Каролины Собаньской и Евы Ганьской. Ещё через два года он разорился, и о нём забыли...

1823 год был годом ступающей реакции. Ещё в конце 1822 года монархи Священного союза на Веронском конгрессе приняли решение об интервенции в Испанию. Интервенция была поручена королевской Франции. Вступив в марте 1823 года в пределы Испании, французская армия заняла Мадрид и в сентябре, после упорного сопротивления, взяла Кадикс, родину революции 1820 года. Фердинанд был восстановлен во всей полноте неограниченной власти. Началась вакханалия белого террора. Риэго был казнён⁶.

Революционный подъём 1820 года, который Байрон приветствовал как «второй рассвет свободы», был ликвидирован на всём Западе. В Греции дела также шли плохо. Руководители освободительной войны,



бандитские вожди, фанариотские князья и более европейская по своему развитию буржуазия острова грызлись за власть, предавая дело национального освобождения. Освобождённые части Греции находились в состоянии гражданской войны, и, пользуясь ею, турки, несмотря на полное разложение султанской монархии, одерживали успех за успехом. В этом положении европейские филэллыны – друзья греческой свободы – напрягли все усилия, чтобы спасти Грецию.

Во главе движения стал Байрон, сам отправившийся в Миссолунги, ключевой пункт центральной Греции. Глубоко разочарованный в человеческом материале, который ему представила Греция, он, несмотря на это, с величайшим самоотвержением бросил всего себя на дело сплочения национальных сил греков и борьбы с реакционной партией, ориентировавшейся на царскую Россию. На этом посту он и погиб, умер от малярии в Миссолунги 7 апреля 1824 года.

В России реакция, достигшая, казалось, крайних пределов, уже в 1820 году ставила все новые рекорды. Любимцем и советником царя сделался архимандрит Фотий, фанатический и невежественный монах, заключивший тесный союз с Аракчеевым. Аракчеев и Фотий вели теперь кампанию против своих конкурентов в деле мракобесия, мистиков-космополитов, и весной 1824 года добились полной победы. Глава мистиков Голицын был устранён от власти и на его место назначен пресловутый адмирал Шишков. Удар коснулся и А.И. Тургенева: после торжества «истинно русских» аракчеевцев он был уволен со своего поста директора департамента.

От всё усиливающейся реакции пострадал, между прочим, и Лицей, взятый под подозрение ещё со времени секретного следствия над Пушкиным в 1820 году. Умелый дипломат и придворный, Энгельгардт лез из кожи, чтобы спасти те джентльменские лицейские традиции, с которыми он связал свою репутацию. Но бороться с Аракчеевым ему было не под силу. В 1822 году Лицей был подчинён управлению кадетских корпусов, цитадели аракчеевской военщины, а в 1823 году сам Энгельгардт был уволен. Лицей, как созданный по мысли Сперанского островок либеральной дворянской культуры, перестал существовать.

1823 год – время важных сдвигов в политическом мировоззрении Пушкина. Неправильно представлять себе эти сдвиги как поправление. Политические симпатии Пушкина не изменились. Изменилось, углубилось его понимание исторической действительности. Это изменение неотделимо от общего процесса созревания Пушкина как художника и человека: именно в Одессе Пушкин становится зрелым Пушкиным.

Но революционное возбуждение, которое Пушкин переживал в 1821 году в связи с волнующими событиями «второго рассвета свободы», было возбуждением романтическим. Он романтически верил в близость великих переворотов, в близкую возможность «вечной свободы», но эта вера не опиралась на реальный учёт исторических сил. Теперь он начинает яснее сознавать закономерности истории и реальные социальные силы, движущие событиями.

Для понимания политической позиции Пушкина особенно важны два письма: к А.И. Тургеневу от 1 декабря 1823 года и к Вяземскому, датированное концом июня 1824 года.

В первом, отвечая Тургеневу на его просьбу сообщить ему оду «Наполеон», Пушкин выписывает для него «самые сносные строфы» – строфы о французской революции как пробуждении мира от рабства, об убийстве «новорождённой свободы» Наполеоном и последнюю строфу – о «вечной свободе». «Эта строфа, – добавляет Пушкин, – ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года – впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена своя)».

В этой «басне» («Свободы сеятель пустынный...») иногда видят отказ Пушкина от либеральных идеалов. Это неправильно. Она выражает трезвое сознание крайней узости той базы, на которой покоится революционное движение в таких отсталых странах, как тогдашние Испания и Россия, и как следствие – сознание неподготовленности этих стран для революции. Это трезвое сознание лирически окрашено презрением к «мирным народам», которые дают покорно себя резать и стричь. И конечно, «народ» здесь – не народ в нашем смысле этого слова, а широкие дворянско-буржуазные слои, терпеливо сносящие гнёт Фердинандов и Аракчеевых⁷.

Не менее важно письмо к Вяземскому на тему о разочаровании в греческой революции:

«...Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе моей братьи негров, можно и тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого. Но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией – это непростительное ребячество. Иезуиты толковали нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и лавочников, есть законно-рожденный их потомок и наследник их школьной славы. Ты скажешь, что я переменял своё мнение. Приехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада, и ты бы со мною согласился».

Здесь Пушкин делает два основных возражения против увлечения восставшими греками. Резким сближением греков с неграми он сводит первых с классически-романтического пьедестала и, оспаривая их преимущественное право на всеобщее внимание, утверждает их равное со всем угнетённым человечеством право на свободу и достойное человеческое существование.

Во-вторых, отрицая право греков считать себя «законнорожденными» потомками первых творцов человеческой культуры, он указывает, что греки – отсталый народ, не принадлежит к числу «просвещённых европейских народов». Романтический ореол, отражавший как раз наиболее отсталые черты их национального характера, – ложный ореол. Корсары и клефты романтического воображения – очень прозаические разбойники, а патриоты, финансирующие движение, – не более как «лавочники», мещанская буржуазия, не имеющая ещё своей просвещённой интеллигенции.

Рассуждение Пушкина направлено против романтических иллюзий, за то, чтобы видеть вещи как они есть, и в то же время за гегемонию подлинно европейского просвещения, против навязываемой ему экзотической романтики, которая при ближайшем знакомстве оказывается прозаически-«шакостной». Это освобождение от романтических иллюзий и обращение к реальной, хотя бы и прозаической, действительности в политических взглядах Пушкина неотделимо от того поворота к реализму, который в то же время происходил в его творчестве.

Год, проведённый в Одессе, – самый важный и решающий момент во всём творчестве Пушкина – время издания первых глав «Евгения Онегина» и «Цыган».

Ещё в 1822 году Пушкин задумал «Тавриду», поэму, лишённую романтического сюжета «байронических» поэм, но сохраняющую их лиризм в новом сочетании с прямым биографическим использованием крымских воспоминаний.

Замысел этот очень скоро был оставлен. Некоторые стихи из «Тавриды» впоследствии были использованы в главе первой «Евгения Онегина».

Между тем Пушкин познакомился с «Дон Жуаном», гениальной поэмой Байрона, в которой тот, отказываясь от «байронической» романтики, создал новую поэтическую форму, сочетавшую мощную реалистическую сатиру с глубоким субъективным лиризмом. Развитие сюжета, очень свободное, постоянно прерывалось разнообразными отступлениями, то лирическими, то публицистическими, то шутивными.

«Дон Жуан» явился толчком к «Евгению Онегину». Но от этого толчка в «Онегине» осталось немного: строфическая форма, широкий диапазон тона, от страстной лирики до шутивной болтовни, многочисленные отступления и реалистическая основа. Несмотря на свою связь с «Дон Жуаном», «Евгений Онегин» – это первое вполне оригинальное произведение русской литературы, ибо и «Руслан», и «Пленник», и «Фонтан» находятся ещё в зависимости от определённых иностранных образцов. Одновременно с Пушкиным на тот же путь оригинальности вступил его величайший современник Грибоедов, писавший «Горе от ума» в то же время, когда Пушкин писал первые главы «Онегина». Секрет оригинальности обоих произведений в их реализме, в их смелом обращении к конкретной русской действительности как основному материалу творчества. 1823 год, год создания «Горя от ума» и «Онегина», – год совершеннолетия русской национальной литературы.

Эта дата не случайна. Реализм «Евгения Онегина» и «Горя от ума» мог возникнуть только на почве революционного движения декабристов. Но реализм Пушкина и Грибоедова был в значительной мере преодолением декабристского мировоззрения, его романтики и его дворянского характера. Материал обоих великих произведений был ещё дворянский, но реалистический метод обращения с конкретной русской действительностью открывал неограниченные перспективы по художественному овладению всей действительностью. «Горе от ума» стоит рядом с «Евгением Онегиным» у начала русского реализма. Но комедия Грибоедова осталась одиноким памятником скупого гения её автора, тогда как пушкинский роман в стихах – только начало творческой работы, настолько многосторонней и богатой, что она одна могла бы составить целую национальную литературу.

«Евгений Онегин» был начат в Кишиневе, незадолго до отъезда в Одессу, 9 мая 1823 года. Первая глава была окончена в Одессе 22 октября, вторая – 8 декабря, 8 февраля 1824 года была начата третья, законченная уже только в Михайловском. До самой болдинской осени 1830 года «Евгений Онегин» оставался постоянным спутником Пушкина, и этот центральный период пушкинского творчества может быть назван периодом «Евгения Онегина». Эти семь лет – время наибольшего расцвета пушкинского лиризма и мощного непрерывного роста его реализма. Прочное единство лиризма с реализмом определяет стиль самого «Евгения Онегина».

Особенно силён лирический элемент в первых, одесских главах, они так насыщены лирикой, что как бы поглотили всю лирическую энергию Пушкина за этот период, лирическими стихотворениями одесский год относительно беден.

Первая глава «Онегина» – широкое реалистическое обобщение петербургского опыта 1817-1820 годов. В ней можно видеть всходы тех реалистических зёрен, которые мы находили в стихах 1818-1819 годов, связанных с кругом «Зелёной лампы», но осложнённые и обогащённые новой поэзией сердца, родившейся в Гурзуфе и теперь достигшей полного выражения. Но ещё важнее то новое, что впервые появляется здесь, – люди, характеры, живые человеческие образы, обладающие всей убедительностью жизни и воплощающие глубокое знание современной действительности.

Люди «Евгения Онегина» – типичные исторические, конкретные образы определённого класса и определённого времени. Абстрактный и идеализированный герой «Пленника» заменяется обыкновенным человеком. Новизна и особенность пушкинского подхода к обыкновенному человеку особенно ясно выступает из сравнения с «Горем от ума». Грибоедов резко противопоставляет своего положительного героя, умного, пылкого, великодушного Чацкого, дворянской толпе. У Пушкина Онегин, Ленский и Татьяна, как живые и мыслящие личности, также противоположны животной массе провинциального и светского дворянства. Но Чацкий для Грибоедова стоит вне критики. К героям «Онегина» Пушкин подходит без всякой идеализации. Это человеческий материал, который может обернуться так или иначе, и то, как он обернётся, и составляет историю общества.

Реализм Пушкина «объективнее» грибоедовского, не в смысле более безразличного, безоценочного отношения к действительности, а в смысле более пристального изучения разнообразных возможностей, заложенных в её человеческом материале. Реализм Пушкина возникает из потребности более глубокого познания тех человеческих единиц, из которых складывается общество. Пристальное изучение человеческого материала русского дворянского общества тесно связано с вопросом о судьбе русского дворянского просвещения и шире – об исторических путях России.

В конце 1823 года, когда две первые главы «Онегина» были уже написаны, Пушкин начал новую поэму, «Цыганы».

Работая над ней одновременно с третьей главой романа, он закончил их почти одновременно, в октябре 1824 года, уже в Михайловском. В «Онегине» Пушкин заложил основу нового реалистического стиля. В «Цыганах», формально оставаясь в пределах идеализированного романтического стиля «Пленника» и «Фонтана», он выразил поэтику и идеологию своего романтического периода.

Изображение бессарабских цыган в этой поэме не реалистично даже в чисто внешнем отношении: Пушкин помещает их не в той части Бессарабии, где они действительно жили, не в «грязной» и прозаической центральной молдавской Бессарабии, а в романтическом и полупустынном Буджаке. Более глубоким отступлением от реализма была идеализация цыганской свободы – игнорирование того факта, что цыганы не только жили под общим давлением крепостнического государства, но и сами были крепостными молдавских бояр. Пушкин это знал и упоминает об этом в проекте предисловия к поэме. Но ему были нужны не реальные цыганы, а идеальный образ первобытной демократии в духе Руссо.

Обстановка «Цыган» возвращает нас к мечтам 1821 года о «вечной свободе» и «вечном мире». Алеко – поэтический образ того «великого человека», которого община, живущая в условиях свободы и мира, принуждена выбросить из своей среды как нарушителя общественного порядка. В «Цыганах» это общее положение уточнено и конкретизировано. Алеко – беглец дворянско-буржуазной, собственнической цивилизации, человек, сложившийся в определённой социальной и исторической среде. Острая конкретность и противопоставление двух обществ – цивилизованного и первобытного – поднимают «Цыган» высоко над «Пленником» и (тем более) «Фонтаном». Алеко – собственник и эгоист. По сравнению с романтическим отвлечённым пленником он снижен и развенчан, лишён его лирического ореола.

Но Алеко трагичен. Это первый трагический образ в творчестве Пушкина. Он гибнет от трагической необходимости: его социальная и историческая природа противоречит его желанию освободиться от своей собственной природы и войти в жизнь свободного народа.

Для цивилизованного европейца мечта вернуться в идеальное естественное состояние – утопия. В утопическом бегстве от себя нет спасения. Как бы ни было уродливо цивилизованное общество с его просвещением, всякое усовершенствование может возникнуть только из исторического закономерного изменения его собственной почвы и развития его просвещения. Таков смысл первой поэмы Пушкина, в которой впервые сказалась многоплановая глубина его художественной мысли.

Несомненен биографический характер «Цыган». Нельзя считать случайностью, что эта великая поэма о ревности была задумана и начата во время связи с женщиной, которой он был обязан «ужасным опытом» мучительнейшей из страстей. Но именно это биографическое происхождение «Цыган» – яркая иллюстрация того, как Пушкин мог раздвигать в художественном обобщении факты личного опыта. От почти жанровой

элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» до великой поэмы, где ревность становится основным выражением собственнической природы цивилизованного человека, – таков путь углубления и обобщения Пушкиным этой темы.

Пока Пушкин создавал свои первые вполне гениальные произведения, публика только знакомилась с предыдущим этапом его творчества. В марте 1824 года вышел «Бахчисарайский фонтан». Его успех превошёл все прежние. Даже воинствующие классики могли только расшаркиваться перед победителем.

Издателем поэмы был Вяземский, который предпослал ей предисловие в виде «Разговора издателя с классиком с Васильевского острова или с Выборгской стороны». Это была новая и блестящая апология романтизма как «парнасского афеизма», утверждавшего полную свободу творчества. Пушкин благодарил Вяземского за его «подарок», но в то же время возражал: стоило ли тратить столько блеска и остроумия на противника столь ничтожного?

Благодаря Вяземскому и А. Бестужеву уровень русской критики, начиная с 1822 года, очень поднялся, но и теперь не мог удовлетворить Пушкина. Вяземский был умён, но дальше общего вопроса о свободе творчества, в сущности, не шёл. Бестужев был полон задора и пафоса, но «ужасно молод», его импрессионистические характеристики были поверхностны и приблизительны. Посвящая всё больше внимания вопросам критики и литературной теории, всё глубже и яснее осознавая характер собственного творчества и его место в истории, Пушкин хотел критики конструктивной, дальновидной, понимающей литературный процесс в его целом. Первые зачатки такой критики в том же 1824 году дал Кюхельбекер, который, поселившись в Москве, редактировал полужурнал-полуальманах «Мнемозина» и в ней начал критическую кампанию, скоро привлекая внимание, а во многом и сочувствие Пушкина.

Но сам Пушкин в своей литературной переписке вырастал в величайшего критика своего поколения. Он переставал быть «только» поэтом и всё больше становился всесторонним и профессиональным литератором. Превращение Пушкина из поэта, поющего для себя, «из вдохновения», «не из платы», в профессионального «сочинителя» совершилось в Одессе.

Вопрос литературного заработка давно уже был острым вопросом для Пушкина. Безденежье было его обычным состоянием ещё в Кишинёве. Верным доходом у него были только те 700 рублей в год, которые полагались всем бывшим лиценстам, находящимся на службе в чине X класса. Отец присылал мало и нерегулярно, но в Кишинёве можно было обходиться почти без денег. Столовался Пушкин у Инзова. Оригинальная одежда, которую он себе выдумал, стоила недорого. Соблазнов никаких не было. Одесса же в этом отношении не хуже Петербурга. У одного Оттона можно было оставлять деньги без числа:

*Часы бегут, а грозный счёт
Меж тем невидимо растёт.*

И Пушкин очень остро ощутил в Одессе своё безденежье. Уже в том же августовском письме 1823 года к брату Льву он писал:

«Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти; хоть я знаю закон божий и 4 первые правила – но служу и не по своей воле – и в отставку идти невозможно – всё и все меня обманывают – на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных. На хлебах у Воронцова я не стану жить – не хочу и полно – крайность можно довести до крайности – мне больно видеть равнодушные отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург...».

И Пушкин вспоминает, как Сергей Львович бранился за 80 копеек на извозчика.

Но изъяснять всё это Сергею Львовичу было потерянными трудом. Денег он не присылал. А Пушкину, более чем когда-либо, была нужна «домашняя независимость», денежная независимость от власти, воплощённой в фигуре Воронцова.

С мыслью жить пером Пушкин освоился уже раньше. Это требовало некоторого усилия, так как противоречило и дворянским понятиям о том, что дворянину можно жить только доходом со своих имений или царским жалованьем, и романтическим представлениям о певце, поющем, как поёт птица. Восставая против этих понятий, Пушкин уже в январе 1824 года писал брату:

«...Я пел как булочник печёт, портной шьёт, Козлов⁷ пишет, лекарь морит – за деньги, за деньги, за деньги – таков я в наготе моего цинизма».

Но до сих пор песни давали немного денег: за «Кавказского пленника» Пушкин получил от издателя поэмы, Гнедича, всего 550 рублей: несравненный переводчик Гомера не был шепетилён в денежных рас-

чѣтах с издаваемыми им поэтами. С «Бахчисарайского фонтана» положение резко изменилось. Эта книга была событием в истории русского издательского дела. Книгопродавцы предложили за неё Вяземскому небывало высокую цену – и Вяземский имел возможность послать Пушкину 3000 рублей гонорара. Посылка Вяземского поразила и обрадовала Пушкина. Получив её, он писал:

«От всего сердца благодарю тебя, милый европеец, за неожиданное послание или посылку. Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше, право, не хуже другого».

Немного позже, получив новые выгодные предложения от книгопродавцев, он снова восклицал:

«Какова Русь, да она и в самом деле в Европе, – а я думал, что это ошибка географов».

Денежный успех «Бахчисарайского фонтана» окончательно сделал Пушкина профессиональным литератором, первым русским профессиональным писателем в «европейском» смысле слова, независимым от царского жалованья и от помещичьих доходов своего отца. Эта независимость продолжалась до начала 30-х годов, когда женитьба резко изменила его экономическое положение. Но теперь в своей борьбе с Воронцовым он мог опереться на материальную поддержку публики.

Борьба эта к тому времени приняла острый характер. В начале 1824 года приехал в Одессу Липранди. За обедом у Воронцова он встретил Пушкина и был поражён, до чего тот переменялся с Кишинёва: «Пушкин был чрезвычайно сдержан и в мрачном настроении духа. Вставши из-за стола, мы с ним столкнулись, когда он отыскивал между многими свою шляпу, и на вопрос мой – куда? – “Отдохнуть! – отвечал он мне, присовокупив: – это не обеды Бологовского, Орлова и даже...” не окончив фразы, Пушкин вышел...».

После этого Липранди ещё несколько раз приезжал в Одессу и каждый раз находил Пушкина всё более недовольным. Алексеев, приехав однажды с Липранди, нашёл в нём какое-то ожесточение. Оживлялся он только в обществе А. Раевского и мавра Али.

«Ожесточение» Пушкина выходило наружу в многочисленных и резких эпиграммах на Воронцова и его окружение. Из этих эпиграмм сохранилась одна – знаменитая характеристика Воронцова как «полу-подлеца», относительно которого

*...есть надежда,
Что будет полным наконец.*

Воронцов, как Пушкин заметил в позднейшей эпиграмме о «достопочтенном лорде Мидасе», был *тонок* и умел поставить себя в выгодное положение в общественном мнении. «Европейская молва» о его «европейском образе мыслей» не только убеждала всех в сумасшедшей неправоте Пушкина, не умевшего оценить такого благодетеля, но даже вызывала толки в Петербурге о чрезмерном покровительстве Пушкину, как продолжающемся проявлении прежнего воронцовского либерализма. «Полу-подлец» принуждён был оправдываться. Он писал в Петербург, что наоборот, он в две недели не говорит и четырёх слов с Пушкиным, в то же время воспользовался этими толками, чтобы изменить своей привычной ласковости и лишить Пушкина своего покровительства. «...Он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дожидаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания», – писал Пушкин А.И. Тургеневу, который никак не мог понять, почему Пушкин, ужившийся с Инзовым, не умел ужиться с Воронцовым.

Между тем уже 28 марта Воронцов обратился к Нессельроде с просьбой убедить царя убрать Пушкина из Одессы. С этого времени его письма к влиятельным друзьям становятся полны жалоб на Пушкина. Он повторяет на все лады, что «не тот поклонник его таланта» и что «нельзя быть истинным поэтом без постоянных занятий, а он не работает». Полу-невежде не было дела до «Евгения Онегина» и «Цыган». Под работой он понимал чиновничью работу, которую так хорошо выполнял поэт «не Пушкинова разбора» – Туманский.

Чиновничьей работы Пушкин действительно не выполнял никогда. То, что его к ней не принуждали в Петербурге, до ссылки, конечно, не было знаком особого внимания к поэту. Числиться на службе, ничего не деля, было старинным правом русского дворянина, которым Пушкин только пользовался для новых целей. То же самое продолжалось и в Кишинёве, и, хотя Инзов сообщал в Петербург, что он употребляет Пушкина для французской переписки, это, по-видимому, была благонамеренная ложь в интересах самого Пушкина.

Но Воронцов, раздражённый гордостью поэта, решил во что бы то ни стало обратить его в чиновника. В конце мая 1824 года Пушкин одновременно с несколькими другими мелкими чиновниками канцелярии наместника вдруг получила предписание ехать в Херсонский и Елисаветградский уезды на обследование саранчи, которая в это время появилась в больших количествах в Новороссийской степи. Пушкин принял это как рассчитанное издевательство. Современники, даже такой расположенный к Пушкину, как Липранди, полагаясь на молву о «европейском образе мыслей графа», были уверены, что Воронцов хотел дать Пуш-

кину случай отличиться и за хорошо выполненное поручение представить его к награде. На самом деле это был сознательный акт «вандализма», рассчитанный на то, чтобы сломить гордость поэта, заставить его на практике почувствовать, что он не более как «коллежский секретарь», и отучить его от мысли, что он может быть «что-то другое». В командировку Пушкин поехал, но, вернувшись, обратился к правителю канцелярии Воронцова Казначееву с письмом, в котором он с замечательной чёткостью формулирует свои позиции в борьбе с Воронцовым:

«Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, вправе ли отозваться на предписание его сиятельства. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно насчет моего положения.

Семь лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти семь лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто моё ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишиться меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь на 2000 верст от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты; я принимаю эти 700 рублей не так, как жалованье чиновника, но как паёк ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моём времени и занятиях. Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова, так же как и вашим, как и мнением всякого честного человека.

Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Семёновичу: если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства; но, чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной.

Знаю, что довольно этого письма, чтоб меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов, но чувствую, что, переменяв мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь».

На ответное письмо Казначеева Пушкин снова отвечал принципиальным письмом (подлинник по-французски):

«Мне очень досадно, что отставка моя так огорчила вас, и сожаление, которое вы мне по этому поводу высказываете, искренно меня трогает. Что касается опасения вашего относительно последствий, которые эта отставка может иметь, то оно не кажется мне основательным. О чём мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я уже успел примириться. О моём жаловании? Так как мои литературные занятия могут доставить мне больше, естественно принести им в жертву мои занятия службой. Вы мне говорите о покровительстве и о дружбе? Две вещи несовместимые. Я не могу и не хочу претендовать на дружбу гр. Воронцова, ещё менее на его покровительство: ничего, по-моему, так не унижает, как покровительство, и я слишком ценю этого человека, чтоб желать унизиться перед ним. На этот счёт у меня есть демократические предассудки, которые стоят предассудков аристократии. Я жажду только независимости (извините мне это слово ради понятия), с помощью мужества и упорства я в конце концов обрету её. Я уже поборол в себе отвращение писать и продавать мои стихи из-за средств к жизни; главный шаг сделан; если пишу я ещё только под капризным действием вдохновения, – то с того времени, что стихи написаны, я смотрю на них только как на товар, по столько-то за штуку. Я не понимаю изумления моих (Пушкин, очевидно, цитирует выражение Казначеева. – Д. М.) друзей (да и не очень знаю, что такое мои друзья). Я устал зависеть от хорошего или плохого пицеварения того или иного начальника, мне надоело, чтобы со мной на моей родине обращались с меньшим уважением, чем к первому английскому шалопаю, приезжающему показать нам свою пошлость и свой дурной французский язык.

Не сомневаюсь, что гр. Воронцов, который человек умный, сумеет выставить меня неправым в глазах общественного мнения – торжество весьма лестное и которым я предоставляю ему насладиться беспрепятственно, ибо мне столько же дела до этого общественного мнения, сколько до брани и восторгов наших журналов».

Пока Пушкин вёл «эту полемическую переписку» (как он называет её в письме к Вяземскому) с Воронцовым, Воронцов продолжал свою переписку на тему «избавьте меня от Пушкина». В Петербурге охотно шли навстречу Воронцову, к мольбам которого прибавлялись и другие.

Генерал Скобелев, доносчик-любитель (дел «белого генерала»), прислал донос о всё большем распростра-

нении «возмутительных» стихов Пушкина и взывал к царю, чтобы было приказано содрать с него несколько клочков шкуры. Письма Пушкина тщательно перлюстрировались, и хотя он был вообще осторожен и посылал всё сколько-нибудь опасное «с оказией», а не по почте, и хотя Вяземский специально предупреждал его о сугубой осторожности, ввиду готовившейся новой расправы, полиция всё же получила, что ей было нужно. Она перехватила письмо Пушкина, на основании которого его можно было обвинить в кощунстве и безбожии. В письме Пушкин говорит, что предпочитает Гёте и Шекспира «Святому духу», и сообщал, что ему дает «уроки чистого афеизма» «Англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я ещё встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, что *существование существа творца и промыслителя невозможно*, мимоходом уничтожил слабые доказательства бессмертия души. Система не столько утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная». Любопытно, что англичанин-атеист был не кто иной, как домашний врач Воронцовых.

Для впавшего в окончательное изуверство царя этих нескольких строк было достаточно, чтобы «уничтожить» Пушкина.

27 июня Нессельроде писал Воронцову о Пушкине: «он не останется у Вас». Тургенев бросился хлопотать, но было поздно. Царь принял решение, и 11 июля состоялось «высочайшее повеление» об исключении Пушкина со службы и ссылке его в псковское имение родителей под надзор гражданских и духовных властей.

Существует мнение, что главной причиной, заставившей Воронцова так упорно добиваться «уничтожения» Пушкина, была ревность, вызванная отношениями Пушкина и Елизаветы Ксавьерьевны. Не подлежит сомнению, что в последние одесские месяцы, после разрыва с Ризнич, Пушкин был влюблён в Воронцову. Несомненно также, что она относилась к нему гораздо лучше, чем её муж. Известно, что она подарила Пушкину перстень с печатью, которым он чрезвычайно дорожил и которому посвящено знаменитое стихотворение «Талисман». Из её единственного сохранившегося письма к Пушкину (1833 года) ясно, что у них было много общих воспоминаний. Наконец, в противоположность мужу, Елизавета Ксавьеревна не скрывала своего преклонения перед творчеством Пушкина. После его смерти она хлопотала о том, чтобы в одесских газетах были помещены достаточно восторженные статьи о нём, и предлагала редактору одной из них развить мысль, что все лучшие стихи Пушкина написаны в Одессе – утверждение несколько преувеличенное, но не совсем нелепое, если вспомнить о «Евгении Онегине» и «Цыганах».

Восстановить цикл стихов, относящихся к Воронцовой, гораздо трудней, чем в отношении Ризнич. К ней относятся несомненно «Талисман» (1827) и «Прощание» («В последний раз твой образ милый...») (1830), по всей вероятности «Ангел» (1827). Но к ней ли относится ряд любовных стихотворений (1824-1825) – «Сожжённое письмо», «Желание славы», гениальная элегия «Ненастный день потух», знаменитые стихи из «Разговора книгопродавца с поэтом» о той «одной», пред кем поэт дышал чистым упоеньем любви? Если рассматривать эти стихи как цикл, биографическое содержание его неясно и противоречиво. «Сожжённое письмо» говорит о продолжающейся взаимной любви, «Желание славы» – о взаимной любви в прошлом, после которой пришли «слёзы муки, измена», «Разговор книгопродавца с поэтом» – о любви, с самого начала отвергнутой (хотя и не «утаённой»).

Легенда о ревности Воронцова как главной причине ссылки Пушкина на север основана главным образом на сплетне, тогда же сочиненной и пущенной Вигелем, который приехал в Одессу вскоре после Пушкина, и впоследствии рассказанной им не без литературного таланта в его «Записках». Согласно этой сплетне, А. Раевский в своих ухаживаниях за Елизаветой Ксавьерьевной всячески старался разжечь в Пушкине любовь к ней, чтобы тот своей неосторожной пылкостью навёл на себя, отклонив от самого Раевского, ревность Воронцова. Раевский рисуется в этом рассказе в самых верных красках. Однако, по всей видимости, всё это чистая выдумка Вигеля, у которого были свои причины ненавидеть Раевского. Что Воронцов не постеснялся бы средствами с человеком, к которому он ревновал жену, мы знаем из его дальнейшей биографии: в 1828 году он прибег к ложному политическому доносу, чтобы добиться удаления из Одессы того же Александра Раевского. Но у нас нет достаточных оснований, чтобы осложнять мотивом ревности ясную историю социальной борьбы вельможи с поэтом.

В середине июня, когда почва для уничтожения Пушкина была хорошо подготовлена в Петербурге, Воронцовы с большим обществом гостей уехали морем из Одессы в своё имение на Южном берегу Крыма. Поездка была решена ещё зимой, и в числе гостей первоначально предполагался и Пушкин. Но когда дошло дело до её осуществления, его не пригласили.

Незадолго до отплытия Воронцовых в Одессу на морские купанья приехала с детьми жена Вяземского, Вера Фёдоровна. С Пушкиным она до сих пор не была знакома. Интересно следить по её письмам к мужу за быстрым ходом её дружеского сближения с Пушкиным. В первом письме (13 июня) Пушкин – даже ещё

не Пушкин, а «племянник Василия Львовича». Голова у него устроена вверх ногами. В деле с Воронцовым он кругом виноват. Никогда не было человека более легкомысленного и злоязычного. 20 июня Вяземская уже находит его «менее дурным», 27-го – она уже читала «Евгения Онегина» и в курсе его творческих планов. 4 июля: «Я стараюсь его усыновить» (Вера Федоровна была на 7 лет старше Пушкина). 11 июля: «Я начинаю его любить, как друга. Не пугайся. Я его считаю хорошим, но озлобленным от несчастий; он оказывает мне дружбу, и это меня трогает... он мне говорит с доверием о своих неприятностях и о своих страстях»⁸. 19 июля, возвращаясь к отношениям с Воронцовым, она уже целиком на стороне Пушкина.

Дружба с Вяземской была счастливым событием для Пушкина. В первый раз у него была такая дружба с милой, умной и чуткой женщиной, которую он глубоко уважал и нисколько не стеснялся. Дружба эта осталась навсегда. Это была дружба не только душевная, но и практическая. Вяземская просто и без церемоний ссужала Пушкина деньгами (и брала у него, когда случалось ей сидеть без денег). Помощь её распространялась и на более рискованные и опасные дела. Когда стали доходить слухи о новой грозе, собирающейся над ним, Пушкин конкретно занялся подготовкой побега, и Вяземская ему помогала.

23 июля в Одессу из Крыма вернулась Елизавета Ксавьеревна, одна, без мужа. Отношения её с Верой Фёдоровной сразу приняли характер тесной дружбы. Они были всё время вместе, и нет сомнения, что и Пушкин был всё время с ними. Есть глухие известия, что и Воронцова помогала в устройстве побега. Уезжая от мужа, она знала, что Пушкин не останется в Одессе, но как именно с ним поступят, не знала. Наконец «высочайшее повеление», побывав сначала у Воронцова в Крыму, было (вероятно, 23 июля) получено в Одессе. Пушкин ждал отставки, но не новой ссылки. Он был ошеломлён и прибежал к Вяземской весь растерянный, без шляпы и перчаток. Вяземская была не менее поражена. Выезжать надо было немедленно, и, вероятно, эта неожиданность расстроила все планы побега.

Пушкин получил подорожную от Одессы до Пскова. В ней было специально оговорено, что маршрут его не «касается до Киева». Он должен был ехать, не останавливаясь, во Псков и там явиться к губернатору, который должен был распорядиться отправкой его в Михайловское.

30 июля Пушкин выехал из Одессы. Он ехал через Николаев, Кременчуг, Черников, Могилёв и Витебск. По дороге он останавливался у знакомых и незнакомых помещиков, которые принимали его с гордостью. В Могилёве офицеры стоявшего там полка устроили ему восторженную встречу и грандиозный банкет. Россия ещё не была николаевской Россией. Выражение сочувствия к лицу, объявленному неблагонадёжным, ещё не стало невозможным.

Предписания ехать к губернатору Пушкин не выполнил. Не доезжая до Пскова, он свернул прямо в Михайловское, куда приехал 9 августа 1824 года.

Вскоре после отъезда Пушкина С.Г. Волконский, женившись на М.Н. Раевской, поселился в Одессе, и Одесса сделалась центром деятельной ячейки Южного общества. Есть сведения, что Волконский имел определённое задание присоединить к обществу Пушкина. Но Пушкина уже не было.

Примечания:

¹ Одной из первых мер Воронцова была ликвидация остатков автономии Бессарабии.

² ...*Мне стало жаль*

Моих покинутых цепей...

Я о тюрьме моей вздохнул.

(Стихи из «Шильонского узника»)

³ Александр.

⁴ «Ты на земле была любви подруга» – первый стих сонета В. Туманского на смерть Ризнич.

⁵ В это время русский царь был в Тульчине, где он делал смотр второй армии. В Тульчине собралось начальство со всего юга, в том числе Воронцов. Там он и сказал о Ризго слова, увековеченные Пушкиным и заклеившие Воронцова как полного подлеца.

⁶ Замечательно, что эти стихи, которые некоторые исследователи любят приводить как свидетельство поправления Пушкина, фигурируют и в донесениях шпионов николаевского Третьего отделения как опасные, «возмутительные» стихи.

⁷ Имеется в виду не поэт И. Козлов, а В.И. Козлов.

⁸ Пушкин был, несомненно, предельно откровенен с Верой Фёдоровной. Поэтому стоит подчеркнуть, что, наряду с прозрачными намёками на его любовь к Воронцовой, в письмах Вяземской нет ни малейшего намёка на что-либо подобное вителевской истории о Раевском.

ЕЛЕНА ПОГОРЕЛЬСКАЯ**ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ ИСААКА БАБЕЛЯ**

За свою недолгую жизнь Бабель побывал во Франции трижды. Причём два раза – в 1927-1928 и в 1932-1933 годах – жил там подолгу. На короткое время Бабель приезжал в Париж в 1935 году, на антифашистский Конгресс в защиту культуры, куда его (как и Бориса Пастернака) не хотели отправлять, и наверняка не отправили бы, не будь настоятельного требования французских писателей.

Илья Эренбург вспоминал о том, что Бабель «умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом»¹. Таким же естественным был Бабель в общении со своими соотечественниками за границей, к нему тянулись многие представители русской эмиграции в Париже. И, конечно, русских литераторов, живших за рубежом, он интересовал прежде всего как известный писатель, приехавший из СССР. Так, например, 11 ноября 1932 года находившийся в провинции Кань-сюр-Мер Евгений Замятин писал Константину Федину: «Остаюсь здесь ещё до середины будущей недели из-за кое-каких кино-дел, а затем <...> в Париж. Мне оттуда пишут Анненков и Савич², что там Бабель, вернулся и Эренбург. Любопытно будет повидаться с ними. Этакая досада, что здесь нельзя достать газет, а по русско-парижским получаешь только очень отдалённое представление о том, что творится в российской литературе»³.

В Париже Бабель довольно тесно общался со многими эмигрантами из России. После ареста, в тюрьме, в собственноручных показаниях он писал: «Во время первой поездки я виделся с Ремизовым, Осоргиным, Мариной Цветаевой. Ремизову оказал небольшую денежную помощь, завязал знакомство с сыном Леонида Андреева – Вадимом, молодым эмигрантским поэтом, и возбудил ходатайство о разрешении ему вернуться в СССР»⁴. Несмотря на то, что показания были написаны под давлением следователей, списку упомянутых в них имён можно верить. Сохранилось, например, относящееся ко второму визиту Бабеля во Францию неоконченное и, вероятно, не отправленное ему письмо Марины Цветаевой. Содержание письма ставит, однако, под сомнение их контакты в первое его пребывание в Париже, в которых писатель признался на следствии. По упоминанию статьи «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак» письмо Цветаевой можно датировать кануном 1933 года:

«С Новым Годом, милый Бабель!

Прощаю Вам для него Ваше огорчительное и уже хроническое упорное равнодушие к единственному не-эмигрантскому поэту эмиграции, к единственному тамошнему – здесь. (А почему не там? Сложно. Хотя, уезжая, предупредила, что вернусь не раньше как через 10 лет <>).

Итак, Голубчик, я бы давно Вас окликнула, если бы не (совершенно излишний) страх, что могу Вас чем-нибудь скомпрометировать, вернее страх Вашего страха. Настолько не могу, что я бы...

Но сейчас, по окончании большой статьи о Маяковском и Пастернаке, в которой своей рукой пишу следующую страницу

Считаю себя в полном и спокойном праве через всю разлуку никогда не видавшихся людей и через весь ров [зачеркнуто: рубежа, такого же иллюзорного] как [зачеркнуто: Франции, Германии] России [зачеркнуто: просто на] так же протянуть Вам руку как через какой-нибудь стол в Москве.

Итак – <не окончено>⁵.

Однако список, приведённый в показаниях на следствии, далеко не полный. Сюда надо добавить ещё ряд имен. Например, музыканта и публициста-евразийца Петра Петровича Сувчинского. Об их знакомстве свидетельствуют четырнадцать записок Бабеля Сувчинскому, находящихся в Национальной библиотеке Франции. Пять из них относятся к 1928 году, остальные – ко второму визиту Бабеля в Париж. 2 марта 1928 года он надписал Сувчинскому отдельное издание пьесы «Закат»: «Петру Петровичу Сувчинскому – “на память”»⁶.

По свидетельству жены поэта-авангардиста Бориса Божнева Э.М. Каминер, в Париже Бабель общался с её мужем, и Божнев дарил Бабелю свои книги⁷.

Дружил Бабель и с художником Юрием Анненковым, который оставил небольшие, но яркие воспоминания о писателе. Вообще же, по свидетельству Сосинского, Бабель «не чурался общения с русскими эмигрантами», ему были интересны люди вне зависимости от их политических взглядов. Он бывал не только в парижских трущобах или в рабочих кварталах, его можно было увидеть, например, на лекции П.Н. Милаюкова⁸.

С самим Владимиром (Брониславом) Сосинским Бабель был связан довольно тесно. Вот письмо Сосинскому от 18 сентября 1927 года, которое содержит разговор на серьёзную и для обоих важную тему о литературных поисках и мастерстве (по всей вероятности, Сосинский дал Бабелю для прочтения несколько новых ненапечатанных рассказов):

«Воскресная моя поездка окончилась неудачей. По неопытности я проплутал целый час в поисках нужного мне трамвая, попал на Chatlet в девятом часу. Мне объяснили, что поездка в Clamart возьмёт час, а то и полтора. Неловко было приезжать так поздно – и вот я вышел обманщиком. Очень жалею о том, что не повидался с вами, и очень прошу извинить меня. <...>

Рассказы Ваши прочитал. По-моему, у Вас есть то, что называется литературным дарованием, но мало самостоятельности. И над языком надо работать больше, чем Вы это делали до сих пор. Очень надо следить за тем, чтобы не засорять язык иностранными оборотами, шаблонными, стёршимися фразами, безвкусными прилагательными... Впрочем, я не беру на себя смелости давать советы. По совести говоря, я сам во всем сомневаюсь. Талант это есть, вероятно, соединение неутомимых мозгов, недремлющего сердца и мастерства. Если развивать одно качество в ущерб другому, тогда нарушается божественная гармония искусства и литература выходит плохая, претенциозная.

От всего сердца желаю Вам, Бронислав Брониславович, успеха»⁹.

Ещё в первый приезд Бабель подружился с французским историком, политиком и писателем Борисом Сувариним, который вспоминал: «Во время наших бесконечных разговоров – у него, у меня, в кафе, на улице, даже в метро, даже во время прогулок – мне никогда не приходило в голову делать заметки (память в то время у меня была слоновая). Мы говорили главным образом о России, о литературе и советской политике. Но я очень любил его размышления о Париже, о Франции, ибо глаз внимательного и веселого наблюдателя обнаруживал то, что старый закоренелый парижанин вроде меня больше не замечал. И это вызывало у него забавные и проницательные мысли»¹⁰. Кое-что Суварин всё же записал, однако заметки эти относятся ко второй поездке Бабеля во Францию.

Сегодня мы располагаем материалами, которые позволяют внести ряд уточнений в историю взаимоотношений Бабеля и Алексея Михайловича Ремизова.

Из письма Святополк-Мирского Ремизову в июне 1926 года мы узнаем, например, о том, что именно Ремизов «открыл» Бабеля, как и Сельвинского, для него и для редакции журнала «Вёрсть»¹¹. А ближайшая помощница Алексея Михайловича, Наталья Резникова, дочь О.Е. Колбасиной-Черновой, вспоминает: «В 1924 году Ремизову впервые попался перепечатанный в какой-то зарубежной газете рассказ Бабеля “Соль”. Для А.М. это было совсем новое и очень понравилось ему. Я помню, как в этот период мы пришли к Ремизовым вчетвером: моя мать, мои сестры и я»¹². А.М. усадил нас на диван и прочёл нам “Соль” с большим подъёмом и пафосом, как героическую поэму. На нас это чтение произвело большое впечатление. По мнению А.М., тон рассказа требовал такого чтения. Я всегда сожалела, что Бабель во время своего пребывания в Париже не познакомился с Ремизовым и не слышал его чтения»¹³.

Свидетельство Резниковой достоверно: вырезка из парижской газеты «Звено» от 1 декабря 1924 года, по которой Ремизов, видимо, и читал «Соль» собравшимся у него в тот вечер, он хранил до конца жизни. В этом номере была напечатана ещё одна новелла Бабеля – «Смерть Долгушова», и краткое, но весьма хвалебное предисловие К.В. Мочульского «Два рассказа из книги “Конармия”».

Ремизовского чтения Бабель, возможно, не слышал, но лично знаком с Ремизовым был. Об их общении в Париже помимо показаний самого Бабеля на следствии существуют косвенные документальные свидетельства. Так, сохранилась записная книжка Ремизова с адресами его парижского окружения, начатая предположительно в 1925 году. Адреса Бабеля в ней, правда, нет, но зато рядом с именем К.Д. Бальмонта есть запись: «Vabel Исаакъ Эммануиловичъ»¹⁴.

Ремизов следил за творчеством Бабеля и читал те его рассказы, которые появлялись в Париже, в эмигрантской прессе. 6 июля 1926 года он писал находившейся на лечении в Виши жене, Серафиме



Павловне Ремизовой-Довгелло: «Прилагаю вырезку из Дней из России (из Красной Газеты), до чего это по-русски. (Да, в “Днях” перепечатывают повесть Бабеля)»¹⁵. Фраза в скобках о повести Бабеля, в отличие от остального текста, написана красными чернилами – скорее всего, не только потому, что она была вставлена позднее, но и потому, что Ремизов хотел её выделить. После смерти жены в 1943 году, Ремизов переписал свои письма к ней в несколько тетрадей большого формата, часто меняя первоначальный текст. Вот как стал выглядеть приведённый выше фрагмент: «Прилагаю из “Дней” из России (“Красная газета”): до чего это по-русски! В “Днях” перепечатывают повесть Бабеля»¹⁶.

В нескольких номерах газеты «Дни», с 6 по 10 и 13 июля, были помещены фрагменты киноповести «Беня Крик». Но источником служила не «Красная газета»: парижские «Дни» перепечатывали киносценарий «Беня Крик» из № 6 журнала «Красная новь» за 1926 год.

Похоже, Ремизов сам искал встречи с приехавшим во Францию Бабелем. Устроить эту встречу мог человек, довольно близко знавший Ремизова и в то же время входивший в число парижских знакомых Бабеля, скорее всего, это был Пётр Сувчинский или Владимир Сосинский. Встреча Ремизова и Бабеля, видимо, состоялась в отсутствие Серафимы Павловны, так как не нашла отражения в её дневниковых записях. Более того, по не понятным до конца причинам, контакты двух писателей в Париже оказались скрытыми для близкого окружения Ремизова¹⁷. По словам исследователя творчества и биографии Ремизова А.М. Грачёвой, тот соблюдал осторожность конспиратора в общении с людьми, которые возвращались в советскую Россию.

Бабель упомянул Ремизова и в своём отчёте о второй заграничной поездке на встрече в редакции газеты «Вечерняя Москва» 11 сентября 1933 года: «Ремизова ночью выбросили из квартиры оттого, что он долго не платил квартирной платы. Он схватил рукописи, жену, вещи и ночью они скитались по городу»¹⁸. Бабель говорил о конкретном случае, произошедшем в 1933 году. Много позже, 10 октября 1948 года, сам Ремизов так прокомментировал этот эпизод:

«Весной 33 года выгнали нас с квартиры.

Жили мы в Булони.

Вот я и сочинил: денег никаких – попрошу вспомоществование в Soc<i>été> des Gens de Lettres.

Надо документальное прошлое. Всё это я приготовил – сколько ночей трудился, высчитывал.

Ходил не один, а с С.О. Карским.

Даже прошение не приняли, не то, что чего дать!»¹⁹

И всё же существует хоть более позднее, зато не косвенное, а прямое подтверждение контактов двух писателей в Париже. Это записка Сувчинского Ремизову от 3 декабря 1951 года:

«Дорогой Алексей Михайлович,

Если Вы не можете написать о Бабеле – лично, то не могли бы Вы написать о его текстах, о том, что будет напечатано в этой книге? <...>

Конечно, если это Вас затруднит, то – не стоит!»²⁰.

Через день, 5 декабря, имея в виду книгу Бабеля, Сувчинский, по-видимому, уже пообщавшись с Ремизовым и получив его отрицательный ответ, писал: «Мой “внутренний голос” насчет этого Предисловия говорит также “нет”»²¹.

Отказ написать предисловие к произведениям Бабеля скорее всего связан с тем, что Ремизов не считал себя вправе публично высказываться о репрессированном на родине писателе. О какой конкретно книге могла идти речь, тоже неясно. Вероятно, не осуществлённым осталось не только предисловие Ремизова, но и сам сборник Бабеля, о котором говорилось в записках Сувчинского. Однако упоминание о том, что Ремизов мог бы написать какие-то личные заметки, то есть по сути воспоминания о Бабеле, не оставляет сомнений в их непосредственном общении в конце 1920-х годов, а возможно, и позднее. Заслуживает внимания и показание Бабеля на следствии о предоставлении Ремизову «небольшой денежной помощи»: постоянно жаловавшийся на материальную нужду Ремизов считал, что причиной её была его просоветская репутация²².

В начале 1950-х годов общение с Ремизовым продолжила первая жена Бабеля Евгения Борисовна. 2 марта 1952 года она написала Ремизову:

«Многоуважаемый Алексей Михайлович,

обращаюсь к Вам со следующей просьбой. Издательства Laffont – Gallimard готовят к выпуску Энциклопедию, главным образом литературную. Я занята в данный момент проверкой русского каталога. Мне бы хотелось просить Вас выбрать лично из Ваших произведений то, что Вы считаете наиболее важным для помещения в Энциклопедию». В каталоге я нахожу:

“Sœurs en croix”²³

“Stratilatov”²⁴

“Sur champ d’azur”²⁵

“La mère”²⁶

Предоставляю этот список на Ваше усмотрение и добавляю или изменяю согласно В/указаниям. Буквы А В С D уже прошли, т<ак> ч<то> примите это во внимание. Прошу Вас указать переводы, если были сделаны и кем. Также предпочтительны произведения, вышедшие на франц<узском> языке. Но всё же это не обязательно.

Не откажите в любезности и укажите мне также последние крупные произведения И. Ал. Буннина.

Благодарю Вас заранее и простите за беспокойство.

С искренним уважением

Е. Бабель»²⁷.

«Галлимар» назван в письме ошибочно. Речь идёт о четырёхтомном «Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays» («Словарь произведений всех времён и всех стран»), который впервые был издан в 1952-1954 годах на французском языке Робером Лаффоном совместно с известным итальянским издательством Валентино Бомпиани («Robert Laffont» – «Valentino Bompiani»), затем многократно переиздавался²⁸. В первом томе была напечатана статья о «Конармии» («Cavalerie Rouge»), в четвёртом – об «Одесских рассказах» («Récits d’Odessa»). В последнем томе помещена статья о романе Ремизова «Крестовые сестры» («Sœurs en croix»).

Через месяц после письма, 8 апреля, Евгения Бабель навестила Ремизова у него дома, оставила запись и нарисовала свой автопортрет в одной из «Золотых книг Обезвельволпала»²⁹.

Примечания:

¹ Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. Книги первая, вторая, третья. М., 2005. С. 519.

² Писатель и переводчик Овадий Герцович Савич (1896–1967) в 1932-1936 годах был корреспондентом «Комсомольской правды» в Париже.

³ Константин Федин и его современники: Из литературного наследия XX века. Кн. 1. М., 2016. С. 139.

⁴ Поварцов С.Н. Причина смерти – расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля. М., 1996. С. 140.

⁵ Цветаева М.И. Письма. 1928-1932. М., 2015. С. 574.

⁶ Частное собрание.

⁷ Об этом Элла Михайловна Каминер рассказала в письмах дирижёру Геннадии Рождественскому (см.: Наше наследие. 1998. № 46. С. 162).

⁸ См.: Поварцов С.Н. Причина смерти – расстрел. С. 139.

⁹ Бабель И.Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 159-160.

¹⁰ Суварин Б. Последние разговоры с Бабелем // Континент. 1980. № 23. С. 344.

¹¹ См.: Письма Д.П. Святополк-Мирского к А. М. Ремизову. Публ. Р. Хьюза // Диаспора: Альм. Вып. V. Париж; Санкт-Петербург, 2003. С. 335-401.

¹² У Колбасиной-Черновой было три дочери. Наталья вышла замуж за поэта Д.Е. Резникова, её сестра-близнец Ольга стала женой В.А. Андреева, а младшая дочь Ариадна – В.Б. Сосинского.

¹³ Резникова Н.В. Огненная память: Воспоминания об Алексее Ремизове. СПб., 2013. С. 124.

Известно, что Ремизов был хорошим чтецом и исполнял на публике не только свои произведения, но и произведения других авторов. Публично с чтением рассказа «Соль» выступал и Владимир Маяковский.

¹⁴ ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 942. Л. 3об.

¹⁵ Там же. Ед. хр. 340. Л. 143.

¹⁶ Там же. Ед. хр. 299. Л. 81.

¹⁷ Подробнее см.: Урюпина А.С. О русской эмиграции в Париже конца 1920 – начала 1930-х гг. (По материалам архива А.М. Ремизова в ГЛМ) // И. Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век: Материалы Международной научной конференции в Москве 23-26 июня 2014 года. М., 2016. С. 548-564.

¹⁸ Цит. по: Фрейдлин Г. Вопрос возвращения II: «Великий перелом» и Запад в биографии И.Э. Бабеля начала 1930-х годов // Literature. Culture and Society in the Modern Age: In Honor of Joseph Frank. Stanford Slavic Studies. Vol. 4. Part II. Stanford, 1992. P. 218.

¹⁹ ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 251. Эта запись сделана Ремизовым на конверте, в котором, по всей вероятности, и хранились документы, собранные для Société des gens de lettres. На конверте есть и более ранняя помета Ремизова: «21.II.1933».

²⁰ ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 3. Ед. хр. 158.



²¹ Там же. Ед. хр. 163.

²² Комментируя дневниковые записи своей жены, Ремизов писал об этом: «Мы приехали в Париж 7 ноября 1923 г. и сейчас же поднялось на меня гонение: меня объявили “большевиком”. А это выразилось во всяких денежных отказах, что было очень чувствительно; при всяких дележах меня обходили, напр., устраивался “бридж” “в пользу писателей”, я никогда не получал, даже И.А. Бунин, раздавая из своей нобелевской премии, мне ничего не дал (Бунин получил нобелевскую премию в 1933 году. – Е.П.), а на вечерах моего чтения мешали устройству, никто не помогал распространению билетов и часто в день моего вечера устраивалось другое собрание. То, что про меня говорят, меня никогда не трогало, но всякие денежные неудачи, связанные с моей “репутацией”, меня огорчали, и что С<ерафима> П<авловна> терпит из-за меня всякие лишения, это меня мучило. Мы жили одиноко и скрытно» (ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 287. Л. 48; цит. по: Урюпина А.С. «Жили одиноко и скрытно»: О репутации и литературном окружении А.М. Ремизова в Париже 1920-1930-х годов (по материалам архива писателя в Гослитмузее) // Октябрь. 2015. № 7. С. 187-188).

Уместно в этой связи привести фрагмент из воспоминаний Резниковой: «...не надо забывать, что у А.М. была мания в этом отношении: в течение всей своей жизни он всегда подчеркивал свою нужду, неустроенность и заброшенность» (Резникова Н.В. Огненная память. С. 206).

²³ Роман «Крестовые сестры» в переводе на французский язык см.: Alexei Rémi-zov. *Sœurs en croix. Roman*. Trad. et introd. par R. Vivier (Paris: Les éd. Rieder, 1929).

²⁴ Повесть Ремизова «Неуёмный бубен» (главный герой – Иван Семенович Стратилатов) на французский язык не переводилась.

²⁵ Повесть «В поле блакитном» – первая часть книги «В розовом блеске» – на французском языке см.: Alexei Rémi-zov. *Sur champ d'azur*. Trad. J. Fontenoy (Paris: Librairie Plon-Nourit, <1927>).

²⁶ Рассказ «Мать» был напечатан на французском языке в составе книги: Alexei Rémi-zov. *Où finit l'escalier: Récits de la quatrième dimension. Contes et légendes*. Trad. G. Lély, J. Chuzeville, B. De Schlœzer, G. Et L. Pitoëff, J. Bucher (Paris: Editions du Pavois, 1947).

²⁷ ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 4. Ед. хр. 171.

²⁸ В 1980 году словарь был издан в семи томах, в первом томе на с. VII в числе сотрудников (для русской части) упоминается m-me Isaac Babel.

²⁹ ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 947. Л. 45 об. «Обезвелоппал» («Обезьянья Великая и Вольная Палата») – общество, официально основанное Ремизовым в 1908 году. В 1950-е годы было составлено восемь записных книжек – альбомов под названием «Золотые книги Обезвелоппала», в семи из которых проставлены номера; Евгения Борисовна расписалась во второй из пронумерованных книг.

«СЕТЧАТКА»

АЛЕКСЕЙ ТИМИРГАЗИН

«УЗОРНИК ВЕТРОВЫХ СОБЫТИЙ». ПОЭТЫ ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ И ГРИГОРИЙ ПЕТНИКОВ

В 2019 году в издательском доме «Коктебель» (Феодосия-Москва) издана книга «Узорник ветровых событий», посвящённая яркому и значительному культурному деятелю – русскому поэту, переводчику, фольклористу, одному из «Председателей земного шара» Григорию Николаевичу Петникову (1894-1971). Он оставил интересное творческое наследие, однако его жизненный и творческий путь остаётся малоизученным и представленным несколько однобоко.

Однобокость в восприятии личности и творчества Григория Николаевича отчасти связана с тем, что поэт со времени своей учёбы в Харьковской третьей гимназии до последних лет своей жизни, проведённых в маленьком городе Старый Крым, всегда находился в ярком творческом окружении. Он дружил и тесно общался с такими деятелями русской культуры, как Велимир Хлебников, Божидар, Николай Асеев, Владимир Маяковский, Тихон Чурилин, Борис Пастернак, Анастасия Цветаева и... чтобы не воспроизводить полный список, ограничимся тем, что поставим здесь многозначительное многоточие. Когда же мы рассматриваем темы: Хлебников и Петников, Маяковский и Петников, Асеев и Петников и далее по списку, фигура Петникова сама собою отступает на задний план и становится в тень своих более знаменитых поэтических собратьев.

Уже в конце 1920-х – начале 1930-х годов, открывая свои публикации о безусловно самобытном и оригинальном поэте, рецензенты считали нужным сообщить читателю, что Петников в ранний период своего творчества *входил в окружение* Хлебникова, Маяковского и Асеева. В дальнейшем такие указания сделались практически обязательными в любом посвящённом Петникову материале. Иной раз эта истина приобретала воистину космические масштабы, как, например, в статье критика Игоря Поступальского, опубликованной в 1935 году в московском журнале «Художественная литература». Подробно рассказав читателю о словотворческих экспериментах Хлебникова и о сущности «самовитого» слова, критик выступил с очень образным утверждением, что ранний Петников был едва ли не самым ревностным учеником Хлебникова: «Поэзия Петникова, подобно планете, вращалась вокруг центрального светила дооктябрьского отечественного футуризма. И если, выражаясь фигурально, Маяковский в этой поэтической системе тогда являлся, примерно, Юпитером, т. е. самой громадной и наиболее (если не считаться с Нептуном) от центрального светила удалённой планетой, то Петников, напротив, был по своему поэтическому объёму и близости к Хлебникову, допустим, Меркурием».

Между тем, с самого начала своего творческого пути (1910-е годы, Харьков) Петников отнюдь не являлся провинциальным апологетом того или иного мэтра, а шёл своим собственным, индивидуальным путём, горячо отстаивая право поэта на новаторство. И когда в 1916 году Велимир Хлебников впервые оказался в Харькове, в лице Григория Петникова он встретил отнюдь не провинциального апологета, но равноправного соратника и верного единомышленника в области словотворчества.

Тем не менее, обращаясь к теме взаимоотношений двух поэтов, являющейся одной из многих сюжетных линий только что изданной книги «Узорник ветровых событий», в подзаголовке имя знаменитого бюджетянина мы традиционно ставим на первое место.



Знакомство и близкие дружеские отношения Хлебникова и Петникова пришлись на самые роковые годы российской истории. Это были 1916-1920 годы. Историю их взаимоотношений во многом мы можем узнать из первых уст. Хлебников уделал достаточно много внимания своему товарищу в статье «Октябрь на Неве». Петников в последние десятилетия своей жизни, отчасти побуждаемый историками литературы, сделал немало записей мемуарного характера, в которых, конечно же, нашлось место и Хлебникову. Интересные подробности добавляют также современники – свидетели этой большой поэтической дружбы.

К моменту первой своей встречи с Хлебниковым Григорий Петников успел подружиться в Харькове с молодым поэтом Николаем Асеевым. Основой их дружбы, по словам Григория Николаевича, была «общность интересов, оценок, увлечений слововедением, «Словом о полку», экспериментами в области нового слова. <...> Занимались вместе исторической грамматикой Буслаева, Востоковым, Потёбной, Срезневским, словари и друг». Одной из любимых книг молодого Петникова был «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Серьёзные занятия старославянским языком, поиски новых слов наложили заметный отпечаток на первые поэтические опыты Григория Петникова, а высокая филологическая культура, свойственная поэту с юных лет, плодотворно отразилась на его творческих поисках.

Николай Асеев, вместе с Петниковым погружившийся в языковую стихию русского языка, изучал пословицы, поговорки, летописи, старорусские сказания, «Житие протопопа Аввакума», «Слово о полку Игореве». Из древнерусских летописей поэт извлекал понравившиеся истории и перелагал на современный русский язык. В 1912-1914 годах он создал цикл славянских стихотворений «Сарматские песни», а в 1915-м издал книжку переложений избранных мест из финского эпоса «Калевала» и переложения из скандинавских саг «Повесть об Эймунде и Рангаре».

В 1914 году Петников издал свою первую книгу переводов из немецкого писателя-романтика Новалиса «Фрагменты». В апреле того же 1914 года поэты Григорий Петников, Божидар (Богдан Гордеев), Николай Асеев и художница Мария Синякова создали издательство «Лирень», представлявшее собой товарищество поэтов, выпустившее с 1914 по 1922 год около двадцати книг Петникова, Хлебникова, Божидара и других авторов, а также литературный манифест «Труба марсиан», первый и второй выпуски «Временника 317-ти», сборник «Лирень». Оформляла сборники Мария Синякова, а позже – художница Бронислава Корвин-Каменская, жена поэта Тихона Чурилина.

В 1915 году Петников и Асеев напечатали в «Лирне» совместный сборник стихотворений «Леторей» объёмом в тридцать две страницы и тиражом 250 экземпляров. Это была первая поэтическая книга Петникова и третья Асеева, ранее издавшего сборники «Ночная флейта» (1913) и «Зор» (1914). В совместную книгу двух поэтов вошло четырнадцать стихотворений Асеева и пятнадцать – Петникова. Отвечая впоследствии на вопрос литературоведов, из каких составных слов образовался «Леторей», Петников вспоминал: «И лето (через ять писалось оно) это значит не только тёплое время года, но и юг, летный, скажем летная, т.е. записав, т.е. написанное на многие годы. Лето – значит и год. Рей – от глагола – реять (писалось и не через ять) – т.е. метнуть, ринуть, быстро нестись, лететь. Вот сколько в этом реять значений! Так вот на этих славянских корнях и основалось наше слово – леторей...»

Вскоре, в 1916 году, в Харьков впервые приехал Велимир Хлебников, встретивший в лице Григория Петникова и Николая Асеева верных единомышленников в области словотворчества. В результате появился знаменитый литературный манифест «Труба марсиан», изданный осенью 1916 года в виде свитка. Манифест подписали Велимир Хлебников, Григорий Петников, Мария Синякова, Николай Асеев. Условно была поставлена подпись покойного к этому времени Божидара. По поводу этой подписи Петников вспоминал: «Насчет имени Божидара, как память о нём, которого стихи и образ которого был дорог по нашим с Асеевым ему (Хлебникову) рассказам: это наше с Хлебниковым общее, совместное решение, чтобы под «Трубой» стояла подпись – имя Богдана, Божидара».

После окончательной редакции «Трубы марсиан», осуществлённой на квартире Петникова на Старомосковской улице, Хлебников и Петников сфотографировались в харьковском фотоателье. На оригинале фотографии рукой Хлебникова была поставлена дата: «15. IX. 1916 г.». Позднее Петников прокомментировал эту фотографию: «После этого он [Велимир Хлебников. – А.Т.] уехал, помнится, что в Астрахань. А фото – это памятка о нашей совместной редакции, подготовке к выпуску, она была оч. быстро напечатана... так вышло удачно в отношении быстроты и аккуратности её выпуска в свет. Возможно, что её замысел родился у Хлебникова под Астраханью, в степи, как вспоминает об этом Д. Петровский».

Февральские дни 1917 года Григорий Николаевич впоследствии вспоминал кратко: «Февральскую революцию встретил, будучи студентом Харьковского университета. Принимал участие в литературных вечерах в пользу политкаторжан, освобожденных из тюрем и ссылок царской России».

Вскоре, 21 апреля 1917 года, вместе с повторно приехавшим в Харьков Хлебниковым Петников написал знаменитое ритмизованное «Воззвание Председателей земного шара», опубликованное в том же году в Москве в сборнике «Временник–2» за подписью: В. Каменский, Г. Петников, В. Хлебников. Указанный среди авторов «великий футурист» Василий Каменский 1 февраля 1917 года отправился в гастрольную поездку по Кавказу и югу России. Двадцать шестого февраля в Ростове в редакции «Приазовского края» из тогда ещё негласных телеграмм он узнал о «Взрыве Российской революции». Возвращаясь в Москву, Каменский в Харькове встретился с друзьями – художницей Н.И. Кравцовой и «весенним поэтом» Петниковым и, вероятно, каким-то образом оказался причастным к написанию «Воззвания».

Исследователь русского футуризма Николай Харджиев в своё время предположил, что стихотворная разбивка строк «Воззвания» во «Временнике–2» случайна и не соответствует авторскому замыслу. Однако сам Петников в письме к литературоведу Николаю Степанову 21 января 1932 года сообщил: «Только мы...» *ошибочно внесено в том стихотворении (т. 3), это – манифест... (он у меня в архиве имеется в первой рукописной редакции – прозаической), статья, которую мы [с Хлебниковым. – А.Т.], задумав издавать, порешили ритмизировать и значительно при этом исправить. Всё же это не стихотворение.*

Не ограничившись одной лишь поэтической декларацией, молодые поэты принялись создавать Правительство земного шара на практике. Весной 1917 года рукой Хлебникова написано открытое письмо Максиму Горькому. Хлебников же вывел под письмом и три фамилии-подписи: Каменский, Петников, Хлебников. «Алексей Максимович! Хотя мы сторонники войны между возрастами, но мы знаем, что возраст духа не совпадает с возрастом туловища. Поэтому мы обращаемся к Вам с небольшой просьбой: ответьте нам, руководясь решением совести, на вопрос: можем ли мы быть достойными членами Правительства земного шара или нет? Создать его мы предполагаем в ближайшем будущем. Жмём Вашу руку». Письмо предполагалось опубликовать в сборнике «Временник–2», однако его напечатали только в 1997-м – в сборнике Николая Харджиева «Статьи об авангарде в двух томах» с указанием источника – по беловому автографу, находившемуся у Г. Петникова.

Зато весной или в начале лета 1917-го в Петроград ушло письмо Хлебникова и Петникова, адресованное другу Джона Рида, американскому журналисту, писателю, Альберту Рису Вильямсу; ему также предложили войти в число Председателей земного шара. По харьковскому адресу Петникова на улицу Старомосковскую, 54, от Вильямса пришло дружественное письмо, написанное по-русски, с согласием и поддержкой. Вильямс сообщил также домашний адрес Герберта Уэллса.

А затем последовала легендарная поездка Хлебникова и Петникова в Петроград, подробно описанная Хлебниковым в статье «Октябрь на Неве»:

«Ранней весной 1917 я и Петников садились на московский поезд.

Только мы, свернув ваши три года войны в один завиток грозной трубы, поём и кричим, поём и кричим, пьяные дерзостью той истины, что Правительство Земного Шара уже существует. Оно – Мы.

Только мы нацепили на свои бобы неувядаемые венки Председателей Земного Шара, неумолимые в своей загорелой дерзости, мы – обжигатели сырых глин человечества в кувшины времени и балакири, мы – зачинатели охоты за душами людей...

«Какие наглецы!» – скажут некоторые. «Нет, они святые!» – возразят другие. Но мы улыбаемся и покажем рукой на солнце: «Поволоките его на веревке для собак, судите его вашим судом судомоек – если хотите – за то, что оно вложило эти слова и дало эти гневные взоры. Виножник – оно. Правительство Земного Шара – такие-то».

Этим воззванием был начат поэтический год, и с ним в руках два самозванных Председателя земного шара вечером садились на поезд Харьков-Москва, полные лучших надежд.

Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнёсшиеся члены китайского посольства Тинь-Э-Ли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар, писатели Евреинов, Зенкевич, Маяковский, Бурлюк, Кузмин, Каменский, Асеев, художники Малевич, Куфтин, Брик, Пастернак, Спасский, лётчики Богородский, Г. Кузьмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд, Прокофьев, американцы – Крауфорд, Виллер и Девис, Снякова и многие другие.

В Петрограде Хлебников и Петников приняли участие в дне «Займа свободы». Выпущенный Временным правительством 27 марта 1917 года, «Заём Свободы» стал главным мероприятием новой власти в сфере финансов и одной из её крупнейших социально-политических акций. Помимо стабилизации финансового положения заём должен был решить и важные политические задачи. Широкая агитационная кампания должна была привести к росту «патриотического духа», оборонческих настроений, усилить политические позиции новой власти. Кадетские газеты отмечали: «Необходимость под-



держки правительства – основная задача нашего времени, необходимость предоставления ему нужных средств – это один из важнейших способов его поддержки». Успешный заём должен был также способствовать упрочению авторитета новой власти у союзных государств.

Двадцать пятого мая по инициативе Союза деятелей искусства день «Займа Свободы» прошёл в Петрограде. Состоялись шествия и концерты, на открытых сценах выступали поэты и ораторы. От Зимнего дворца, через арку Генерального штаба, а затем по Невскому проспекту и другим улицам двигались колонны украшенных транспарантами и призывами грузовиков, на которых находились представители различных организаций и объединений художественной интеллигенции: Союза деятелей искусства, «Мира искусства», кубистов, футуристов и других. Была выпущена однодневная газета «Во имя свободы» с произведениями многих известных поэтов, в том числе стихотворением Хлебникова «Сон».

Среди многих других автомобилей свой грузовик получил и Хлебников, как представитель блока «левых». Художник Юрий Анненков тушью и синими чернилами быстро изготовил плакаты на больших листах белой бумаги. На Невском в грузовик сел Владимир Маяковский. Однако антивоенные лозунги и надписи о Правительстве земного шара резко разошлись с главной идеей праздника о продолжении войны до победного конца. Вскоре полиция сорвала с бортов машины все плакаты. И тогда грузовик с Хлебниковым, Маяковским и Петниковым двинулся на питерские окраины, где Маяковский, стоя на грузовике, читал антивоенные стихи.

Хлебников описывал этот день в статье «Октябрь на Неве»:

«На празднике искусств 25 мая знамя Пред<седателей> з<емного> ш<ара>, впервые поднятое рукой человека, развевалось на передовом грузовике.

Мы далеко обогнали шествие. Так на болотистой почве Невы было впервые водружено знамя Председателей земного шара.

В однодневной газете “Заём свободы” Правительство земного шара обнародовало стихи: “Вчера я молвил: гуля, гуля! И войны прилетели и клевали из рук моих зерно”».

Рассказ Велимира Хлебникова дополняют воспоминания Григория Петникова: «В грузовике были Хлебников (торжествующий и загадочно улыбающийся этой затее) и я. Выехав, нарушая очередь машин, готовых к “параду”, мы вскоре за аркой встретили Владимира Маяковского, он прыгнул через борт в нашу машину, в этот предземшаровский грузовик, и втроём вместе со сговорчивым молодым шофёром мы двинулись по Невскому».

Петников вспоминал: «Часть наших плакатов при въезде с Дворцовой пл. на Невский была сорвана милицией. Часть уцелела, и грузовик направился в рабочие окраины Питера. Маяковский с этого грузовика читал стихи, направ. против войны. <...> В одной из петроградских кадетских газет был отчёт о празднике “займа свободы”, осуждавший вылазку бюджетян в мае – против войны».

Недолгое пребывание в Харькове – и осенью 1917 года по командировке-мандату «Известий Харьковского Совета рабочих депутатов» Петников снова выехал в предреволюционный Петроград, где поселился в знаменитой «Квартире № 5» в здании Академии художеств. Квартира принадлежала помощнику хранителя музея Академии художеств Сергею Константиновичу Исакову, отчиму художника Льва Александровича Бруни. Сам Лев Бруни осенью 1917 года находился на Урале, в Миасском заводе, и вернулся в Петроград только в декабре.

Ещё в 1915 году вокруг Льва Бруни сложилось сообщество молодых деятелей искусства, собиравшихся в «Квартире № 5». Там бывали Петр Иванович Львов, Владимир Евграфович Татлин, Николай Андреевич Тырса, Натан Исаевич Альтман, Николай Николаевич Пунин, Артур Сергеевич Лурье. Там же в 1915 году состоялось знаменательное знакомство поэта Велимира Хлебникова и художника Петра Митурича. Петников вспоминал: «В этой квартире собирался – это на третьем этаже, по витой лесенке железной по верхотуре этой квартиры бруниевской, я жил в месяцы перед Октябрьской революцией, в этой же комнате, наверху, просторной и светлой, окнами на Николаевский мост, на Неву, я жил, в ней же собирались деятели (поэты и художники, скульпторы) блока левых».

Хлебников в те дни часто бывал в «Квартире № 5» и ночевал вместе с Петниковым в комнате с большим кожаным диваном и люстрой из больших морских раковин, с окнами, выходящими на Неву, на Николаевский мост. В этой же квартире в виде почтовой карточки (открытки) очень чётко рукой Хлебникова написано письмо Временному правительству; вместе с Хлебниковым и Петниковым письмо обсуждали и подписали его несколько Председателей земного шара.

В статье «Октябрь на Неве» Хлебников писал:

«В Петрограде мы вместе встречались – я, Петников, Петровский, Лурье, иногда забегал Ивнев и другие Председатели.



– Слушайте, друзья мои. Вот что: мы не ошибались, когда нам казалось, что у чудовища войны остался один только глаз и что нужно только обуглить бревно, отточить его и общими силами ослепить войну, а пока прятаться в руне овец. Прав ли я, когда говорю так? Правду ли говорю я?

– Правильно, – был ответ. Было решено ослепить войну. Правительство земного шара выпустило короткий листок: “Подписи Председателей земного шара” на белом листе, больше ничего. Это был первый его шаг.

– Мёртвые! Идите к нам и вмешайтесь в битву. Живые устали, – гремел чей-то голос. – Пусть в одной сече смешаются живые и мёртвые! Мёртвые, встаньте из могил.

В эти дни странной гордостью звучало слово “большевичка”, и скоро стало ясно, что сумерки “сегодня” скоро будут прорезаны выстрелами.

Петровский в чёрной громадной папахе, с исхудалым прозрачным лицом, улыбался загадочно.

– Чувешь? – коротко спрашивал он, когда внезапно грохотала при нашем проходе водосточная труба.

– Что воно случилось, никак в толк не возьму, – проговорил он и стал загадочно набивать трубку с тем видом, который ясно говорил, что дальше не то ещё будет.

Он был настроен зловеще. <...>

В Мариинском дворце в это время заседало Временное правительство, и мы однажды послали туда письмо:

“Здесь. Мариинский дворец. Временное правительство. Всем! Всем! Всем!

Правительство земного шара на заседании своём 22 октября постановило: 1) Считать Временное правительство временно не существующим, а главнонасекомствующего Александра Федоровича Керенского находящимся под строгим арестом.

“Как тяжело пожать каменной десницы”.

Председатели земного шара

Петников, Ивнев, Лурье, Петровский, Я –

“Статуя командора”

В другой раз послали такое письмо:

“Здесь. Зимний дворец. Александре Федоровне Керенской.

Всем! Всем! Всем!

Как? Вы ещё не знаете, что Правительство земного шара существует? Нет, вы не знаете, что оно уже существует.

Правительство земного шара (подписи)”.

Однажды мы собрались вместе и, сгорая от нетерпения, решили звонить в Зимний дворец.

– Зимний дворец? Будьте добры соединить с Зимним дворцом.

– Зимний дворец? Это артель ломовых извозчиков.

– Что угодно? – холодный, вежливый, но невесёлый голос.

– Артель грузовых извозчиков просит сообщить, как скоро выедут жильцы из Зимнего дворца?

– Что? Что?

– Выедут обитатели Зимнего дворца?

– А! Больше ничего? – слышится кислая улыбка.

– Ничего!

Слышится, что кто-то хохочет у другого конца проволоки.

Я и Петников тоже хохочем у этого конца.

Из соседней комнаты выглядывает чьё-то растерянное лицо”.

В 1967 году по просьбе литературоведа Александра Парниса Петников прокомментировал статью Хлебникова:

«О “коротком листке”: это наша летучка Предземшаров, “Временник 317-ти”, отпечатанная в одной из маленьких частных типографий в Петрограде. Зашли мы в эту типо-литографию, где печатались мал. афишки, визитн. карточки, и на другой день она вылетела в свет... Второе же письмо, в Зимний Дворец – Керенскому писалось в середине октября в васильеостровской студенческой столовке в то голодное время, куда мы заходили обычно с Хлебниковым ради скудной похлёбки с плавающей картофельной шелухой и четвертинкой тощей костистой воблы... / Некоторые штрихи из жизни петроградской, предокт. Правительства земного шара, решившего “накинуть петлю на толстую ногу войны”...».

Письмо временному правительству, как писал Хлебников и подтвердил в своих воспоминаниях Петников, было написано 22 октября 1917 года. А через два дня, по словам Хлебникова в той же статье,



заговорили пушки. Из окон «Квартиры № 5» Петников наблюдал прибытие из Кронштадта «Авроры», вставшей на якорь возле Николаевского моста, движение красногвардейцев и матросов к Зимнему дворцу. Петников писал: «Сигналы с “Авроры” были видны в мои окна, после чего я пошёл к Зимнему м. п. «спокойно ходила пятерка» – № 5 трамвая, соединяющая Васильевский Остров с центром, с Невским».

Наступившим утром после захвата Зимнего дворца Петников написал стихотворение «Начало Октября», сделавшись, таким образом, одним из первых поэтов, воспевшим свершившуюся революцию:

*Когда заря на водах Невки
В мостах встревожит сон течений,
И Красной Гвардии запевки
Уже на заводских дворах –
В сырых кострах простой ночи
Сверкает искрой имя – Ленин.*

Через много лет поэт и переводчик Михаил Зенкевич в письме Григорию Петникову подтвердил: «Ведь вы один из первых, а, по-моему, даже первый из поэтов воспевали трехтрубный крейсер “Аврору”, который видели на Неве перед Академией художеств, где вы гостили у Льва Бруни».

Таким образом, де-факто Григорий Николаевич Петников претендует на роль одного из родоначальников новой советской поэзии. Правда, литературные критики старались не замечать этого факта, а в первые послереволюционные десятилетия, когда свежи ещё были воспоминания, напрямую пытались его дезавуировать, как, например, в одной аналитической статье 1935 года: «Есть у Петникова подражаемого периода и стихотворение “Начало Октября”, датированное тем же 1917 г. <...> В этом стихотворении революция дана чисто описательно. И хотя поэт фиксирует появление нового без всякой вражды к нему, наоборот, даже с некоторым сочувствием, всё же и это стихотворение не даёт оснований считать Петникова начала октябрьских лет одним из действительно активных поэтов Советской страны, особенно, если мы вспомним, как на Февральский и Октябрьский перевороты активно откликнулись Маяковский и Асеев или даже Хлебников, первоначально встретивший империалистическую войну стихами реакционными (называю только футуристов, не ссылаясь на пролетарских поэтов)».

Так или иначе, но в революционные дни Григорий Николаевич находился в Петрограде в непосредственной близости от происходящих событий и в тесном общении с Велимиром Хлебниковым. «Мало ли где мы бывали вместе с Хлебниковым в те годы!» – восклицал Петников в одном из набросков своей автобиографии, вспоминая революционный Петроград. Посещали они квартиру Бриков, где встречались с Владимиром Маяковским: «Встречи на Надежинской ул. – у Бриков, О.М. и Лили Брик. Бывали там мы вместе с Хл. Это предокт. и окт. период я больше всего помню (очень врезался он в память). И это понятно.

В Петрограде мы недоедали с Хл<ебниковым>. Обедали на В<асильевском> О<строве> в студенчesk. столовке. Супы из картофельной шелухи, в таком роде и остальное. <...> У Бриков было лучше. Маяк<овский> приносил вечером большой эмалированный кувшин, полный молока. Были конфеты и т.д. Были разговоры, о поэзии, о событиях дня. Маяк<овский> был тогда в полувоен<ной>. форме. Видел, что Маяк<овский> очень влюблён в Лилю... Комната О.М. была на полу завалена книжками, больше стихи, стихи...».

Восьмого октября 1917 года Хлебников и Петников побывали в музее Льва Толстого, о чём Петников вспоминал: «В то “тревожное” <...> время, надо отметить, жизнь не останавливалась, и музеи работали, и кино, и театры, кофейни, с транспортом было трудно только... даже наоборот – не замирало ничто, а было весьма оживлённым, хотя и беспокойным, волнующим, для многих непонятным и неизвестно чем могущим кончиться-завершиться, но готовым по всем приметам и данным к великому перевороту. В начале октября месяца толстовский музей был открыт. <...> Мы бывали в очень разных местах, а музей Толстого был одним из таких мест, никак не напоминающих для нас с Хлебниковым “экскурсию”... Было интересно». Вспоминал Петников и свои беседы с Хлебниковым о Льве Толстом, о романе «Война и мир»; Хлебников очень интересовался этим романом и ценил его.

В одном из набросков воспоминаний Петников упомянул также, что побывали они даже в Куокалле у художника Ильи Ефимовича Репина: «Куокалла. У Репина с Хлебниковым».

Вспоминая дальнейшие события, Григорий Николаевич Петников писал: «В ноябре я был уже не в Петрограде, а в Москве, где мы вместе [с Хлебниковым – А.Т.] скитались по разным ночёвкам, в том числе и в казармах Кремля, и в подвальном помещении, у тёплых топок центр<ального> скудного ото-

пления по знакомству с кочегаром-истопником, нашим общим знакомым (в одном из домов Москвы) и приятелем Дм. Петровского, это была его Петровского инициатива добрая погреться в подвале огромного дома, у тёплых котлов».

После насыщенных событиями путешествий по революционному Петрограду и визита в Москву Григорий Петников вернулся в Харьков и снова активно включился в литературную жизнь города. В Харькове продолжило действовать книжное издательство и творческое содружество «Лирень». В 1918 году в «Лирне» вышли сборники Петникова «Поросль солнца» (перездан в 1922) и «Быт побегов». В эпоху бурных революционных преобразований в стихах Петникова читателю открывался удивительный мир природы, мир лесков и пролесков, полей и нагорий, морских и речных побережий. Широко используя славянизмы и созвучные с ними неологизмы, поэт создавал неповторимый архаизованный пейзаж. Как писал позднее поэт Николай Ушаков:

«Вместе с Хлебниковым и отчасти Асеевым устанавливая начала самовитого слова, он вводил в нашу довоенную поэзию затруднённый словарь, полный украинизмов, славянизмов, квази-славянизмов и слов, которые, попав на страницы сборников, казались опечатками, слов, в которых “а” (зрь) хотелось выправить на “о” (зорь), но которые ещё резче подчёркивали отвлечённый, но своеобразный славяно-финский пейзаж.

Кама перестала быть конкретной географической рекой, выпадающей в Волгу, она превращалась в условную Рериховскую реку, синешую среди лилово-синих глыб и отрогов в древних стоянках и кашпцах.

Казалось, что у стихов нет начала и конца, но в каждом из них была деталь неповторимая и точная и потому спасительная для поэта: золотце марта, определявшее солнечные утренники ранней весны, или конский череп, приносимый на шесте к языческой реке, или нора змеёныша у леса – и стихотворение возникало из хаоса, становясь достоянием поэзии».

В Харькове Петников неоднократно выступал с чтением стихов Хлебникова. «Театральный журнал» упоминает состоявшийся в декабре 1918 года вечер «нового искусства»: «Читал ещё Хлебникова, Асеева, Пастернака и себя Г. Петников, ничем себя не выделяя из остальных поэтов». Об одном из выступлений Петникова вспоминал режиссер Сергей Юткевич, живший в Харькове в 1917–1918 годах: «На первом этаже особняка на Сумской улице располагался харьковский “Цех поэтов”. Верховодил в нём Георгий Шенгели. Но отнюдь не его стихи привлекли меня туда. Я ходил слушать, как Григорий Петников читает совсем другого, истинно замечательного поэта – Велимира Хлебникова. Каждый раз это было потрясением. Я полюбил написанное им сразу и навсегда. А однажды, всё в том же “Цехе”, мне посчастливилось увидеть и услышать и самого Хлебникова. Был он худ, странен, дурно одет, но всё это переставало замечаться при взгляде на его вдохновенное лицо. Читал он стихи свои не слишком эффектно, заметно уступая Петникову. Однако весь их необычный строй, их новаторская образность воздействовали на меня с огромной силой».

В декабре 1918 года в Харькове установилась советская власть. В первые же дни в Харькове – тогдашней столице Украины – организован Всеукраинский Совет Искусств во главе с Алексеем Капитоновичем Гастевым. В состав Всеукраинского Совета Искусств входил Всеукраинский Литературный Комитет под председательством Петникова. В феврале 1919 года вслед за правительством Советской Украины Всеукраинский Совет искусств со всеми своими комитетами переехал из Харькова в Киев. Усилиями Всеукраинского Совета искусств в Киеве был издан «Сборник нового искусства» со стихотворениями Бориса Пастернака, Григория Петникова, Велимира Хлебникова, Николая Асеева, Владимира Маяковского. Затем Петников оставил работу в Литературном Комитете и ушёл в Красную Армию, где был сначала простым красноармейцем, а затем назначен инструктором Политотдела XIV Крымской Красной Армии. Отступив из Крыма вместе с Красной Армией, Петников вскоре заболел тифом, и его привезли в госпиталь на окраине Кременчуга, откуда военно-санитарным поездом вновь доставили в Киев.

Получив в результате тифа осложнение на ноги, Григорий Николаевич вернулся в Харьков, где издавал журнал «Пути творчества». Это почти неизвестное сегодня издание в своё время было значительным явлением литературы. На его страницах публиковались произведения Николая Асеева, Бориса Пастернака, Георгия Шенгели, Осипа Мандельштама, Алексея Гастева, Андрея Белого, и конечно же, Велимира Хлебникова.

В середине апреля 1919 года Велимир Хлебников снова появился в Харькове и прожил там на этот раз довольно долго – до августа 1920 года. В пятом номере журнала «Пути творчества» опубликованы стихи Хлебникова «Весны пословицы и скороговорки», «Ты же чей разум стекал», «В этот день голубых медведей», «Весеннего Корана / Веселый богослов». Затем выпуск журнала был приостановлен – Харьков заняли части Добровольческой армии Деникина. Хлебников перебрался на дачу Красная Поляна под Харьковом, где в числе других обитателей жили Петников и его жена Вера Синякова.



Бесценный свидетель той эпохи художник Борис Косарев вспоминал, что Хлебников постоянно ухаживал за Верой: «Был такой известный эпизод с шелковицей. О нём знали не все, но до Петникова что-то дошло. Как-то Вера взобралась на шелковицу, вслед за ней полез Хлебников. На дереве он её обнял и стал целовать. В конце концов оба свалились наземь. Хлебников постоянно ухаживал за Верой. Петников это видел и записал. Отчасти этим, наверно, объясняются их постоянные споры и пикировки. Доходило до того, что Петников, выходя из себя, кричал: “Витя, я сейчас дам Вам по морде (физиономии)! Вы знаете, что это такое?! Вы видите эту руку?” (“Петников называл Хлебникова не Виктор, а Витя, Витенька”). Хлебников обижался и начинал выкрикивать: “Я сейчас уйду от Вас, я сейчас уйду!”. Все бросались его успокаивать и удерживать – мир восстанавливался.

Семьёй Петниковы, по-видимому, были неважной. Б.В. [Косарев. – А.Т.] вспоминает такой эпизод: когда, после очередной размолвки с мужем, Вера исчезла куда-то, – очевидно, уединившись с Хлебниковым, – то на вопрос Косарева: “Где Вера?” – Петников мрачно и многозначительно отвечал: “В бегах...”, и, несмотря на приставания, отказывался комментировать это своё заявление. Может быть, поэтому, когда Хлебников с Петниковым собрались ехать в Крым и Хлебников в последний момент передумал (утром накануне отъезда он, не желая просыпаться, отбивался от Петникова почему-то стихами “Сквозь полёт золотистого мячика...” и, полагая, что этого вполне достаточно, так и не встал), – Петников уговаривал его на коленях и даже плакал... Но ему пришлось уехать одному: Хлебников остался. Очевидно, он рассчитывал, что, оставшись с Верой наедине, добьётся большего успеха, чем при муже.

Однако Хлебников ошибся: как только Григорий Николаевич уехал, Вера стала избегать его. Дело дошло до того, что она разрабатывала и рассчитывала специальные маршруты, чтобы при передвижениях по дому не столкнуться с Хлебниковым. Уже Хлебников ходил и у всех спрашивал: “Где Вера?”. Но все разговорщицки молчали».

Осенью 1919-го Хлебникова поместили в харьковскую психиатрическую лечебницу, так называемую Сабурову Дачу. В октябре он прислал из лечебницы письмо Петникову: «Григорий Николаевич! Я буду до следующего вторника. Приходите и раньше 28 октября! Податель сего письма или мой товарищ художник Субботин или служитель. Голод как сквозняк соединяет Сабурову дачу и Ст. Московскую. Пользуйтесь редким случаем и пришлите конверты, бумагу, курение и хлеба и картофель. И да благо вам будет, и да долготелен вы будете на земле! Алаверды. Дело такта изобрести ещё что-нибудь. Если есть книги для чтения (Джером-Джером), то и их. Мь».

По воспоминаниям Петникова, написанных по просьбе литературоведа Александра Парниса: «Это трудный 1919 г. На Украине – голод и сыпняк. По дороге из Харькова в Красную Поляну (путь на санях) тревожный (бандиты) и печальный: кругом часто в пути встречались замёрзшие трупы людей, часто в солдатских шинелях...

Хлебников в Харькове заболел сыпняком. В больнице, на Сабуровой даче, это в конце города, в районе заводов, на её большой территории были выделены корпуса – бараки для сыпнотифозных больных. В ту пору художник Субботин принёс мне письмо Хлебникова...<...> Всё это [просимое Хлебниковым в письме – А.Т.] было ему послано с Субботиним же, и потом... хлеб и куруво, и книги. Относительно Шопена. Когда Хлебников пришёл ко мне, он у меня заночевал, и говорилось очень много, долго, и после полуночи я играл Фредерика Шопена, этюды и два вальса <...>. Я играл, помнится, что-то из опер Вагнера, Хлебникову больше нравился Шопен.

Потом – чтение стихов, чай с чем бог послал, скажем – что-то вроде конфет – жжёный сахар для продолжения удовольствия... И беседы, беседы, планы, надежды...».

В 1920 году в Харькове Велимир Хлебников записал в своей тетради: «В квартире у Егорова»; впоследствии Григорий Петников прокомментировал эту запись: «Помнится, что это случайный знакомый Хлебникова, пригласивший его на ночлег к себе. Этого Егорова не помню. Не виделся с ним, а то что Хлебников ночевал там, он мне говорил, пояснив случайность ночёвки у него, почему и не пришёл ко мне.

Да, был разговор, что в той комнате, где жил Хлебников, помню койку, солдатское одеяло, горсточки табака, клочки, листки рукописей, стакан, тарелка с огурками, кусок чёрного хлеба... и стихи – стихи, все заполняли они! Его непрерывные работы, неотлучные мысли, длительнейшее вдохновение, наитие, всё это присуще было Хлебникову как редко у кого из тех поэтов кого я знал...».

Зимой 1920 года Хлебников вышел из больницы. После ухода из Харькова белогвардейской армии, в феврале–марте 1920-го возобновилось издание «Путей творчества», и в № 6-7 появилась написанная около девяти месяцев назад статья Хлебникова «О современной поэзии». Характеризуя творчество Петникова, Хлебников писал:

«Петников в “Быте побегов” и “Поросли солнца” упорно и строго, с сильным нажимом воли ткёт свой “узорник ветровых событий”, и ясный волевой холод его письма и строгое лезвие разума, управляющее словом, где “в суровом былье влажный мнестр” и есть “отблеск всеневозможной выси”, ясно проводят черту между ним и его солетником Асеевым.

“Пыл липы весенней не свеяв”, растёт тихая и чёткая дума Петникова “как медленный полёт птицы, летящей к знакомому вечернему дереву”, “узорами северной вицы” растёт она, ясная и прозрачная.

Крыло европейского разума парит над его творчеством в отличие от азийского, персидско-гафизского упоения словесными кущами в чистоте их цветов у Асеева».

По воспоминаниям Косарева: «Петников очень много набирался у Хлебникова, часто без разбору. Однажды в кафе на Сумской сидели трое – Косарев, Петников и кто-то ещё – и о чём-то разговаривали. А рядом расположилась какая-то богомного вида дама – из тех, что вечно крутятся около художников, – и мешала им своим присутствием. Какое-то время она просто прислушивалась к их разговору, потом решила обратить на себя внимание (Б.В. [Косарев – А.Т.] очень хорошо – наверное, похоже – избразил этакую томно-протяжную мяукающую интонацию): «Подайте мне, пожалуйста, газеты». Петников тут же, ни слова не говоря, срывает в охапку лежавшие перед ними на столе газеты и не глядя протягивает (суёт) за спину – в её сторону. Дамочка в обмороке. Б.В. – тоже: “Как можно?” – на что Петников отвечает: “Боря, Вы же меня знаете, – это я у Виктора научился”».

Для Велимира Хлебникова пребывание в Харькове в 1919–1920 годах оказалось очень плодотворным – он написал там шесть поэм и десятки стихотворений. В конце августа 1920-го он отправился в новое дальнее странствие по маршруту Ростов, Армавир, Баку, Персия... В своё время харьковский литературовед Григорий Гельфандбейн рассказывал об обстоятельствах ухода Велимира Хлебникова из Харькова следующее: «Г.Н. Петников в своё время рассказывал ему [Гельфандбейну. – А.Т.], что в 1920 г. он женился, и ему дали две комнаты на Московской улице. Он забрал к себе Х^лебнико^ва. Однажды, возвратившись с женой из театра, они застали Х^лебнико^ва сидящим в темноте в сапогах на их супружеском ложе. Жена испугалась, П. раскричался, Х. молча шагнул в окно – и был таков...».

28 июня 1922 года Велимир Хлебников скончался в деревне Санталово Новгородской губернии. В 1960 году прах поэта перезахоронили на Новодевичьем кладбище. Но ещё долго после этого поэт Григорий Петников, живший последние годы своей жизни уже в Старом Крыму, получал известия от друга своей давней юности. 30 декабря 1967 года бывшая жена Григория Николаевича Вера Синякова писала ему из Москвы: «У меня много разных цветов герани, но самая интересная лилия, которую я нашла около могилы Хлебникова. Она была жесткая, сухая. Я её пересадила в большой горшок, и она как в благодарность пустила фонтан листьев. На кончиках листьев появляются капли как слёзы, капают на пол, перед дождём или снегом. Вероятно, весной зацветет. Одна я ухаживаю за могилой Хлебникова. Им довольна. Посадили пролески, фиалки, незабудки и др. цветы. Изредка кто-то на могилу кладёт цветочку».

Ещё одна новость от Хлебникова содержится в письме Веры от 13 января 1969 года: «С января солнце заметно стало подниматься выше и сильнее стало греть. И я уже загораю. У меня одна думка – весна! Я мечтаю уже, как я буду у себя на балконе сеять цветы, мальву, которую я собрала в большом количестве тут же, где-то недалеко, в каком-то дворе без забора, разного цвета. Её же я посажу у Хлебникова, и у Гехта, и на даче. И много других цветов. Надеюсь, что у Хлебникова зацветут пролески и пармские фиалки, которые я посадила. Иногда кто-то ему на могилу кладёт цветы. И даже кто-то посадил цветы. Но только не родственники. Они не бывают на могиле у Хлебникова. Интересно, кто это? Какие-то обожатели!».

Намного пережив своего более прославленного друга, Петников в последние десятилетия своей жизни, откликаясь на просьбы историков литературы, неоднократно обращался в своих воспоминаниях к его образу. Эти воспоминания самым достойным образом пополняют обширную летопись русской поэзии.

ИОСИФ РУХОВИЧ**РОМАН МИХАИЛА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»:
ПРОЧТЕНИЕ ИРОНИИ**

*«Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой,
которого вы только что отпустили, прочёл ваш роман».*

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Как создаются стереотипы? Механизмы самые разнообразные, но в литературном процессе основной: по поводу получившего резонанс произведения высказывается литературный или общественный, а то и в одном лице, авторитет, мнение какое-то время литературной средой переваривается, затем приобретает статус аксиомы и начинает развиваться. Так порождаются всякие *ведения* с частными спорами, не затрагивающие основного направления. Особенно силён этот приём был в советское время с его большими и малыми культурами.

Такой «стерилизации» подвергся замечательный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вначале, в предисловии к первому изданию, высказался большой авторитет того времени Константин Симонов, заявивший в частности, что действие романа происходит в конце двадцатых годов. Ничем неподкреплённое мнение на протяжении всего советского булгаковедения и даже по наше время никогда не подвергалось сомнению. Обрастая статьями, томами и диссертациями, официальное булгаковедение исходит из следующих принципов: описывается литературная и театральная среда в указанное Симоновым время, роман повествует о романтической любви, прототипы: Мастер – сам Булгаков, Маргарита – Елена Сергеевна, третья жена писателя.

Стереотипы бывают длительными, иногда очень, но никогда вечными. В конце концов, находится исследователь вооружённый новыми принципами мышления и «незамыленным» взглядом. И вдруг произведение, как протёртый бриллиант, разгорается новыми невиданными гранями и открывает совершенно новые смыслы.

Таким литературоведом стал ещё в советское время Альфред Барков. Не входящий в среду официальных специалистов, не имея степеней и званий, он оказался образованнейшим продолжателем *научного* литературоведения, начатого Бахтиным, Тыняновым, Лотманом и многими другими великими русскими исследователями. Чтобы не повторяться и не обременять постоянным цитированием, отсылаю заинтересованного читателя к умной, хорошо аргументированной, с привлечением обширного материала, хотя и небесспорной, работе А. Баркова «Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение», тем более что в своих рассуждениях я буду во многом основываться именно на этой работе.

В чём удивительная, прямо таки сатанинская, притягательная сила романа, заставляющая читать и перечитывать, если даже знаешь почти наизусть? Если передать содержание, так вроде ничего уж такого особенного... Однако тянет!

Сошлюсь на свой читательский опыт. Первое чтение привело в восторг. Однако последующие, вкуче с некоторыми литературоведческими и критическими материалами, породили недоумения, обнаружились непонятные места и даже откровенные нестыковки. Почему мастер не заслужил света? А Левий Матвей, отчаянно проклинавший Бога, оказался не только в свете, но и в обеих частях романа. И вообще, почему он Матвей, а не Матфей? Зачем «роман в романе»? Ну, и так далее. В конце концов, я даже склонялся к тому, что роман как бы и незаконченный, невыстроенный, неувязанный.

Однако не склонился. В великих произведениях всегда есть какая-то тайна. Всегда кажется, что в них есть второе, третье, а может и глубже, дно. Что до истинного понимания ты не дошёл, чего-то не хватило... Вот эта, подсознательно ощущаемая тайна тянет и тянет, пока что-то не забрезжит. А. Барков («Образ рассказчика в «Белой гвардии» как основное композиционное средство романа») совершенно справедливо замечает: *«Поскольку интуитивное восприятие является единственным критерием оценки художественности любого произведения, то вывод может быть только один: все видимые “недостатки” включены автором преднамеренно, в качестве композиционного средства, играющего существенную роль в постижении его смысла».* Но как включает автор

«недостатки»? Барков считает, что таким приёмом является мениппея (термин М.М. Бахтина), то есть автор поручает рассказ одному из героев, а тот уже может *«врать как угодно»*, но, безусловно, проговорится. Другими словами, интенции автора и рассказчика не совпадают, и на этом противоречии раскрывается замысел произведения. Такой подход под пером Баркова оказывается чрезвычайно плодотворным, ещё раз отсылая к его трудам.

Смущает, правда, попытка придать приёму всеобщий характер, то есть объяснить всё с этой точки зрения. Но, как сказал В.Б. Шкловский, литература есть сумма приёмов и писатель никогда не ограничивается каким-либо одним.

Кроме того, мениппея предполагает сатирическую направленность, но главное ли для Булгакова сатира?

Мне кажется, что в «Мастере» очень сильно ощущается ирония, роль этого приёма несколько недооценена. Попробуем посмотреть на роман и с этой точки зрения.

Но что есть ирония? Это понятие далеко не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Недаром академик А. Лук в своём очень серьёзном труде «О чувстве юмора и остроумия» пишет: *«Ирония один из самых тонких и труднодоступных видов остроумия»*. Для понимания или анализа? Думаю и для того и для другого. И чтобы воспринимать иронию, особенно в литературном произведении, следует определиться.

Словари толкуют иронию как тонкую и скрытую насмешку. То есть насмешка толста и откровенна, а ирония, значит, наоборот. Что ж, можно и так... Но тогда что делать с тонкой и скрытой иронией? Вы чувствуете мою тонкую и скрытую насмешку над словарным определением?

И не забудем, что именно скрытность, порой нарочитая серьёзность, отличают иронию от юмора и, особенно, от сатиры. Томас Манн подчёркивал, что ирония – взгляд с высоты свободы, покоя и объективности, не связанный ни с каким морализаторством.

Непревзойдённое определение, как мне кажется, дал Михайло Васильевич Ломоносов: *«Ирония есть, когда через то, что сказываем, противное разумеем»*. Лучше не скажешь!

Интересна и трактовка Фрейда, сводящая любое остроумие к двум основным началам – сексуальному и агрессивному. Ну, это нас мало заинтересует, но вот вывод об остроумии как о *способе экономии психической энергии* за счёт уменьшения необходимости тормозить побуждения и импульсы, пожалуй, запомним.

Хотел бы добавить, что, по моему мнению, движущая сила иронии – стыд. И не только за себя, за близких, за окружающих, но и за общество, страну, да и за весь мир, как-то не так с нами поступающий. Стыд, мучающий нас как, пожалуй, никакое другое чувство, порой просто разъедающее душу.

И вот ирония. Когда «через то, что сказываем, противное разумеем». Шутка способна нас примирить с чем угодно. И сэкономить массу психической энергии. Но и разумеемое противное выявить тоже.

Если мы с вами договорились понимать иронию в ломоносовском духе, то попробуем её обнаружить в романе Булгакова.

Но прежде всего, пойдём от обратного. А что если ирония не понята? Не исказится ли художественный текст романа?

Вот Булгаков передаёт разговор двух *москвичей*: «– Ну, Тверскую вы знаете?». Вроде бы ничего необычного – разговор как разговор. Если не ощутить иронию. Симонов, видимо, принял это место всерьёз – Тверскую переименовали в улицу Горького в 1932 году. И, может быть, подсознательно определился со временем действия. Но, если разговор происходит до 1932 года, он просто нелеп – сомневаться в знании горожанина главной улицы столицы?!

А. Барков, почувствовав нарочитую нелепость фразы, предположил, предварительно с математической точностью доказав, что дата смерти мастера 19 июня 1936 года и, таким образом, Булгаков неявно ввёл в роман имя Горького, умершего в это же время. И подчёркивает: *«Здесь Булгаков демонстрирует прекрасное владение приёмами психологии, используя их для провоцирования неконтролируемых ассоциаций»*. То, что Булгаков превосходный мастер «неконтролируемых ассоциаций», не подлежит никакому сомнению, но именно в этом месте они кажутся слишком натянутыми. Во всяком случае, современному читателю без Баркова такое в голову вряд ли придёт даже на подсознательном уровне. Да и современнику Булгакова, в общем-то, тоже.

А вот в иронии здесь слышится *скрытая насмешка* и над переименованием исторических улиц, и что Тверская, как бы её не переименовывали, навсегда останется в сознании москвичей, и даже некоторая иррациональность действий властей. И, конечно же, что действие происходит значительно позднее.



Уверен, вы добавите к этому прочтению ещё массу толкований, особенно если соедините с другими «нелепыми фразами».

Ирония в романе начинается буквально с первых строк. *«Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина».* Что-то в стиле, настроении, лексике слышится знакомое, не правда ли? И настраивает нас на неспешное повествование, характерное для русской литературы девятнадцатого века. Недаром пруды названы Патриаршими, переименованными в Пионерские ещё в 1924 году. Конечно, «Патриаршие» создают и неконтролируемую ассоциацию и настраивают на религиозную тему романа. Но что-то ещё... А, вот! Совершенно неожиданная ассоциация с первыми строчками «Преступления и наказания» Достоевского: *«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время под вечер один молодой человек вышел из своей каморки...».* Сходство несомненное – и время суток, и аномальная погода, и количественные характеристики. Но главное – стиль. Вот уж поистине «противоположное разумею». никоим образом не думаю, что Булгаков пронизировал по поводу великого романа. Нет, уважаемые читатели, объект его иронии – мы с вами, читатели. Нас, привычных к меркам предыдущей литературы, Булгаков как бы вводит в степенность и последовательность повествования и надует, как надувало Коровьев. И окунёт в такую фантазмагорию – держись! И при этом преступление и наказание в подсознании останется и мы их, безусловно, в романе найдём.

Нет, пожалуй, ирония начинается даже раньше – с названия. «Мастер и Маргарита». Мы привыкли, что если в заглавии обозначены имена, то они главные герои и о них в основном пойдёт речь. «Анна Каренина», «Джейн Эйр», «Один день Ивана Денисовича» и так далее. Но и тут Булгаков иронизирует и надувает наше читательское ожидание.

В самом деле – сколько места уделяется заглавным героям и их «романтической» любви? В романе тридцать две главы и эпилог. Так вот, мастер (я пишу это слово со строчной буквы, также иронично как Булгаков) появляется впервые (!) только в тринадцатой главе, во второй трети романа. До этого никаких упоминаний о «главных героях» мы не находим, разве что в одиннадцатой главе в двух последних строчках мастер прижимает палец к губам: *«– Тсс!».* Что тоже можно понять как иронию – и как буквальное «ни звука, а то услышат», и как «никому ни слова!». Дескать, такое услышишь, самому себе не поверишь. Дальше мастер как действующее лицо исчезает и появляется уже в двадцать четвёртой. Дальше снова исчезает, чтобы появиться уже в самом конце романа в двадцать девятой главе.

Маргарите «повезло» больше, но не на много. Она – как действующее лицо – появляется в девятнадцатой главе и её «длительность» пребывания на страницах связана с приготовлениями, роскошью и последствием бала Сатаны.

Таким образом, чисто композиционно заглавные герои не являются главными. Тогда кто же? По объёму занимаемого места, безусловно, Воланд и несчастный поэт Бездомный.

Конечно, можно возразить, что дело не в занимаемом объёме, а в смысловой, идеологической, социальной и так далее роли образов в произведении. Согласен, но если внимательно присмотреться, то и в этих областях их роль невелика. И мастер, и Маргарита относятся к типу малоподвижных персонажей, их образы от заявленных в начале и до конца почти не изменяются. А вот Воланд и Бездомный – ещё как! Особенно поражают метаморфозы Бездомного.

Попробуем с точки зрения иронии прочитать образ Воланда – самый яркий персонаж романа. И не забудем, что ирония не сатира.

Очень иронично, как всегда, вводит Булгаков этот персонаж: *«Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно...»* и далее идут противоречивые описания внешности. Здесь дышит иронией буквально каждое слово. Непосредственно перед этой фразой звучит «показался первый человек». И заканчивается абзац «особых примет у человека не было». Но в начальной фразе автор впервые вмешивается в повествование (дальше ещё будет, вплоть до знаменитого «За мной, читатель!») и сообщает, что ему уже всё известно – «Впоследствии». И тем не менее заявляет, что Воланд человек.

Роскошная ирония *«было уже поздно».* То есть, если бы вовремя и точнее представили сводки с описаниями в соответствующие органы, то можно было бы предотвратить проказы сатаны.

Если Воланд человек, это Булгаков подчёркивает неоднократно, то хотелось бы понять что он за человек. И тут нельзя не коснуться вопроса о прототипах.

Поиск прототипов – развитая отрасль литературоведения, их без усталы ищут и обязательно находят, ибо даже самый заядлый фантаст с какой-то натурой писать начинает. Считается, что такие находки

помогают глубже проникнуть в замысел писателя. Ой, ли? Прототипы в большинстве случаев толчок для писателя, а не натура. Известно, скажем, что прообразом Наташи Ростовской послужила Кузьминская, сестра Софьи Андреевны. Объемистый том её воспоминаний показывает, что, по-моему, особого отношения к героине великого романа она не имеет. По собственному опыту знаю, что поселившиеся в нейронах писателя герои никакого внимания на первоначальные толчки не обращают и ведут себя настолько самостоятельно, что и автора порой не слушаются. Сам Булгаков в «Театральном романе» прекрасно описал этот процесс – помните *коробочку*? «Правда, – пишет Булгаков, – если бы кому-нибудь я бы сказал об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу».

Но тут речь идёт о людях обычных, ставших необыкновенными уже в произведении. Когда же в романе ощущается намёк на исторические персонажи, то дело коренным образом меняется. К тексту добавляется значительный пласт знаний читателя об этом лице и его историческом времени. Эти знания взаимодействуют с художественным текстом, значительно расширяя и добавляя смыслы.

Такой намёк в образе Воланда явственно ощущается, поиски прообраза ведутся. И тут очень важно не ошибиться.

В моей библиотеке на самой дальней и неприкасаемой полке стоит книга о тайне Воланда, имеющая подзаголовок «Опыт дешифровки».

Попутно замечу – художник ни в коем случае не *шифрует* художественный текст, ибо не скрывается, а хочет быть понятым. Странно было бы представлять писателя, составляющим ребусы или криптограммы, а читателя их разгадывающим. Не надо думать, что *шифровка* вынуждается цензурой или этикой. Это, конечно, тоже, но далеко не главное. Возьмите, например, «Алмазный мой венец» Катаева – о какой цензуре могла идти речь? А, между тем, чуть ли не весь Советский Союз ломал голову – кто скрывается под таинственными именами. Литература, как и всё искусство, а может быть и вся жизнь – игра. В неё играет и сам писатель, и вовлекает нас. Тот, кто знает правила и язык, ищет расставленные коды и всё глубже и глубже проникает в неисчерпаемую тайну текста. Кроме того, тайна возникает ещё и потому, что зачастую писатель выражает словами то, что слов не имеет.

В упомянутой книге «найден» прототип Воланда в виде какого-то неординарного лётчика, которого Булгаков «мог знать». Биография лётчика описана достаточно подробно, но замысел романа так и остаётся непонятым.

А. Барков, основываясь на *тексте* романа и внетекстовых структурах, весьма основательно и доказательно считает, что под Воландом Булгаков имел в виду вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. С этим трудно не согласиться, но помня о самовольности прототипов, конечно же, не один к одному. Скорее Булгаков делает ироничные намёки.

Начнём с имени – Воланд. Что это и откуда? Не претендуя на бесспорность моих рассуждений, но абсолютно доверяя Булгакову, ни одной буквы просто так не писавшим, попробуем разобраться.

В разговоре с Бездомным мастер выражает уверенность, что Берлиоз «*всё-таки что-то читал*», и дальше явственно произносит «Фауст». Это имя ещё дважды звучит в романе – в эпитафии и обращении Воланда к мастеру в конце книги. Но ни в «Фаусте», ни вообще в мировой литературе имени «Воланд» нет, если не считать мелкого персонажа Faland в трагедии Гёте, никакого отношения к роману Булгакова не имеющего.

А не слышится ли ирония в этом имени? В самом деле, в описываемое время делалась попытка отказать от святцев при выборе имён. Появились Октябрины, Сталины, Электроны и прочая. В том числе и имена-аббревиатуры: Вилен – Владимир Ильич Ленин, Вилор – Владимир Ильич Ленин Октябрьская Революция и так далее. Не знаю что конструировал Булгаков, но основные согласные имени и фамилии вождя присутствуют.

На многие размышления наводит представление в варьете. Что «противное» имел в виду Булгаков? Ну, не просто же так озорничали Коровьев с Бегемотом?

По-моему, ирония здесь очевидна. Конечно же, это ироническая реализация сказки о коммунизме. Деньги сыплются с потолка, все товары высшего качества и совершенно бесплатно, обслуживание на высшем уровне. Только потом червонцы оборачиваются бумажками, да ещё и кусаются, а обманутые женщины оказываются в одном исподнем, а то и без. А с чьим именем мы связываем построение коммунизма «в одной, отдельно взятой стране»? Одну из стадий – военный коммунизм – уже и прошедшей.

Но самая интересная и замечательная ирония в словах Воланда о спектакле. Прежде всего, он хотел посмотреть москвичей «*в маске*» (словцо, кстати, из лексикона вождя). И что же он увидел? Что народ,



в общем-то, не слишком изменился. Это по сравнению с чем? Значит, он знал этот народ в недавнем прошлом?

Вспоминается разговор Уэллса в двадцатых годах XX века с «кремлёвским мечтателем», предлагавшим знаменитому фантасту приехать в СССР лет через двадцать. Вот тогда тот увидит! Сам «мечтатель» столько не прожил, так не вернулся ли с того света посмотреть, что же он натворил?

И тут Воладн произносит пресловутую фразу, толкуемую на все лады, *«только квартирный вопрос их испортил»*. Что это? Свойство Воладна говорить *«ни к селу, ни к городу»*, о чём предупреждал Булгаков ещё в первой главе? За всё время представления этот вопрос не был затронут ни разу. Да и мог ли он возникнуть *в массе* зрительного зала? Чтобы сделать такой вывод, стоило ли эту массу собирать?

Скорее всего, Булгаков полагал, что читатель хорошо знает, когда и после чего возникла эта проблема. И заставил Воладна заявить о порче народа после социального эксперимента. Хотя доверчивый народ по-прежнему верит в сказки. Кстати о сказках. В конце романа Булгаков называет Воладна и его команду очень сильными гипнотизёрами. Не о гипнозе ли заманчивой идеологии идёт речь?

Не та же ли ирония заложена в эпиграфе: *«...так кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»*? Не противное ли разумеет здесь Булгаков? Не идеологическое ли «добро» принесло столько зла?

В тексте ещё немало намёков на личность Воладна. Например, уже упомянутые противоположные описания его внешности. Не отсылают ли они нас к очерку «В.И. Ленин», в котором Горький признавался, что *«Писать его портрет – трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе»*. Превосходное сравнение мастера советской литературы и инженера человеческих душ! Особенно учитывая устойчивое представление о рыбьей чешуе как о чём-то скользком. Но иронией у Горького и не пахнет.

Или, скажем, что это за причуда играть в шахматы перед великим балом? Не намекает ли Булгаков на только что выпешдную поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: *«...мне бильярд – отрицанию глаз – шахматы ему – они вождям полезней»*?

Или выражение *«голову оторвать»* – не из лексики ли вождя?

Может быть, читатель найдёт ещё немало намёков на эту фигуру. Прошло уже столько лет и многое забыто...

Всё выше сказанное о Воладне, как возможно и ваши открытия, дорогой читатель, не означают, что Булгаков аллегорически выписывал портрет вождя. Нет, конечно! Но ироничные намёки, на мой взгляд, ощущаются явно и позволяют более глубоко уловить смыслы взаимодействия Воладна и его команды с советской действительностью.

Значительно позднее Александр Исаевич Солженицын назовёт Ленина антихристом. Не результат ли интуитивного прочтения романа Булгакова?

Явственно ощущаются намёки на историческое лицо и в образе мастера. Но тут, как и в случае Воладна, нужно быть крайне осторожным. Кто-то хорошо сказал – фантазия Булгакова не боится собственной смелости (к сожалению не вспомнил кто и в интернете не нашёл; может быть это я сам испугался собственной смелости?). Так может быть при прочтении и нам не следует бояться не однозначности иронии Булгакова?

Барков большую часть своей работы посвящает поиску прототипов образов романа. И самое значительное место уделяет мастеру.

Трудно не согласиться с Барковым, что под мастером Булгаков имеет в виду не себя, а весьма однозную и противоречивую фигуру писателя и человека Максима Горького. Но трудно и согласиться, особенно как однозначного прототипа.

В работе Баркова скорее раскрывается образ Горького, чем мастера. При этом образ не писателя, а человека. Весьма негативный, кстати.

Здесь не место разбирать влияние писателя и личности Горького на русскую и мировую литературу. Но то, что роль писателя велика, не подлежит никакому сомнению, независимо от знака восприятия теми или иными исследователями. Художника следует оценивать по достижениям, а не по проходным вещам или откровенным неудачам, на которые, по моему мнению, имеет право каждый. Важно то, что остаётся. И от Горького останется, конечно, не очерк «В.И. Ленин», но «Несвоевременные мысли».

Следует заметить, что за пределами таланта, любой гений человек обыкновенный со своими причудами, привычками, достоинствами и недостатками. И если судить о *художнике* как он жил и вёл себя в миру, то в соотношении с его произведениями картина может получиться не только неприглядная, но и совершенно не соответствующая духу его творений. К сожалению, в русском литературоведении

толкованию биографических перипетий жизни писателя придаётся слишком много внимания, отвлекая, а порой и искажая, его художественные тексты. Если судить о Пушкине по письму Вяземскому, написанному по отъезде А.П. Керн, то не поблекнет ли бессмертный шедевр мировой лирической поэзии «Я помню чудное мгновение...»? О каком это чудном мгновении идёт речь?

В этом отношении работа Баркова скорее напоминает расследование, чем исследование, с показаниями, уликами и прочим. И то, что Горький был – *по показаниям свидетелей* – слезлив, деталь любопытная, но мало что добавляющая к образу мастера.

Вместе с тем, обширнейший материал, привлечённый Барковым, очень интересен и убедительно показывает, что Горького Булгаков явно имел в виду. Приведу одну из тонких едких ироний: «Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль и фас, чтобы доказать, что он – мастер». Кто ещё, кроме Горького, мог рассчитывать на медальные и монетные профили и фасы? Не доказывал же мастер таким странным способом, что он мастер.

Действие романа происходит во второй половине тридцатых годов прошлого века, когда социалистический реализм расправлял... ну не то чтобы крылья, а, так скажем, накаченные плечи. И, поскольку большинство русских писателей отплыли неизвестно куда на «философском пароходе», со всей остротой встал вопрос – где взять новых писателей? Конечно же, из рабочего класса, но их надо *научить* писать. Так в тех годах возникла дискуссия о *мастерстве* писателя. Идея на первый взгляд проста и понятна – взять толкового парнишку и преподавать ему уроки литературного письма. Учатся же, и по многу лет, художники, музыканты, балерины. Так может быть и писателя надо учить? За эту идею горячо взялись Луначарский (в романе, по всей видимости, Латунский, жилище которого так лихо разворотила Маргарита), Горький и замечательный поэт и исследователь литературы Валерий Брюсов. Последний даже написал книгу со значащим названием «Ремесло поэта». Книга, кстати, весьма глубокая и, несмотря на название, прежде всего посвящена художественности. На другом конце дискуссии были Булгаков и многие другие большие писатели. Они предупреждали, что *мастерство убивает художественность*. Это, конечно сильное преувеличение, художественность не мыслима без мастерства, но крен в сторону мастерства ни к чему хорошему художественную литературу привести не может.

Хочется высказать собственное мнение по этой дилемме с высоты, так сказать, прошедших лет. Техника литературного письма чрезвычайно сложна, может быть даже сложнее чем в любом другом виде искусства, несмотря на кажущуюся, на поверхностный взгляд, простоту. Но можно ли ей научить? С древнейших времён технике рисования, ваения, музицирования учили опытные мастера, передавая свой опыт. Тут длительна и сложна физическая сторона дела – нужно «набить» руку, глаз, слух и так далее. И помощь учителя совершенно необходима. Но и в этих областях искусства, даже в такой сложнейшей в техническом отношении как ваение, замечательный русский скульптор Паоло Трубецкой предупреждал: «...творчество художника должно быть свободным, и *учить мастерству нельзя* (выделено мной). Учитель может только передать ученику свои приёмы, между тем талантливый художник должен сам вырабатывать свои». Что же говорить о литературе? Кто-нибудь слышал, чтобы учили писать стихи? Более того, большинство поэтов и писателей имели образование совсем в других областях – математике, инженерном деле, медицине и так далее. И даже зачастую продолжали заниматься своей «рабочей» профессией. Примеров масса. Врачи Чехов и Булгаков, лауреат Нобелевской премии *по литературе* физик Бертран Рассел, школьный учитель математики Александр Солженицын и так далее.

Сейчас уже стало банальностью выражение – воспитать поэта нельзя. Но считается, что научить его мастерству можно. По моему глубокому убеждению не только нельзя, но и просто опасно.

Расскажу один эпизод, просто просящийся в притчу.

Мой внучок, ярковыраженный левша, был определён в секцию бадминтона. Конечно, мы его предупредили, что надо во всём слушаться тренера, выполнять задания, стараться и тому подобное. Через некоторое время выяснилось – внучок играет правой ручкой. В чём дело? Оказалось, что на первом же занятии милая девушка объявила «Так, дети, взяли ракетку в правую ручку и...». Надо ли говорить, что великого бадминтониста из моего внука не получилось.

В каком-то смысле все писатели левши, а учителя требуют взять перо в правую руку.

Особенность писательского дела в том, что не только не требуется «набивать руку», но и ни в коем случае нельзя этого делать. Писатель обязан *учиться* писать всю жизнь, до самых преклонных лет. Собственно, если он уже не может учиться, то это и есть преклонные литературные года независимо от возраста. Но вот *учить* его нельзя, пусть держит перо в какой угодно руке. Художественность, давящая его изнутри,

может найти выход только в собственной форме, что в конечном итоге и есть мастерство. И сделать он это может только сам, участь на собственных успехах и неудачах, и читая огромное количество литературы. Элементарные знания о метре, рифме, строфике ему можно дать, но это делается ещё в школе.

Посмотрим, как иронизирует по поводу «мастерства» Булгаков.

Прежде всего, мастер, столкнувшись с соцреалистической критикой, заявляет, что он писать больше не будет. Особой иронии здесь нет – ну сломался писатель, что поделаешь. Подействовала критика, больше похожая на донос, определённые действия властей, на что Булгаков прозрачно намекает, другие жизненные условия. Не борец мастер, не герой, не станем же мы его осуждать за это.

Но вот в превращениях Бездомного ирония Булгакова тонка, скрытна и грустна, если не горька.

В первой главе Иван Николаевич предстаёт не только знаменитым, но и *талантливым* поэтом. Это потом уже мастер с иронией уничижительно скажет о его стихах «*что ж я других не читал*», превращая всю советскую поэзию в безликую и бездарную. Да и сам Бездомный станет негативно отзываться о своём творчестве. И мы под гипнозом этих «авторитетных» высказываний будем того же мнения. Но в первой главе сам Берлиоз, хорошо разбирающийся в литературе, что неоднократно подчёркнуто Булгаковым, даёт очень высокую оценку таланта Бездомного: «*Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – избирательная ли сила его таланта (...), но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой*». Вы можете придумать больший комплимент поэту?

И тут Бездомный подвергается соцреалистической обработке. Писать следует не то что хочешь и можешь, а то, что надо. И, несмотря на то, что поэт «*очень хорошо и сатирически изобразил*», печати поэма не подлежит.

Затем Иван попадает в руки мастера, объявляющего поэта своим *учеником*. Чему учил мастер остаётся за пределами романа, но результат «обучения» совершенно потрясающий – Бездомный заявляет, что уже никогда не будет писать. Так чему же он учился у мастера?

В конце романа лихой и самобытный поэт Бездомный вообще исчезает и в очень грустном финале появляется уже в облике ординарного Ивана Николаевича Понырева, с «*исколотой памятью*», которому колют какую-то тёмную жидкость, чтобы он вообще ничего не вспоминал. И только при полной весенней луне что-то брезжит в его сознании, что-то о бывшей когда-то настоящей жизни...

Не в этом ли один из замыслов и ирония Булгакова? В эпоху построения социализма и соцреализма талантливым *мастерам* места нет – мастер умирает и успокаивается, а талантливый Бездомный становится «*бывшим поэтом*»...

И всё-таки мастер не Горький, возразил бы я Баркову. Под пером Булгакова создан яркий, уникальнейший и, конечно же, собирательный *художественный* образ, иронически имеющий и черты Горького. Под таким углом зрения становится понятным, почему мастер не заслужил света, а только покой, то есть смерть. Большой художник, а Горький безусловно таким является в глазах Булгакова («*Не симпатичен мне Горький, как человек, но какой это огромный и сильный писатель...*» – из дневника Булгакова), не должен изменять своим убеждениям и предавать их. И тут напрашивается параллель. Горький проходит путь от «Несвоевременных мыслей», в которых осуждает Ленина за неоправданную и чудовищную жестокость, до лубочного «В.И. Ленин». А роман мастера заканчивается полным оправданием Понтия Пилата и выводит убитого и убийцу, чуть ли не под ручки, на «*шифковую лунную (призрачную)*» дорогу социалистического реализма. У меня от этой картинки просто мороз по коже. Убийственная ирония в последней беседе Иешуа и Понтия Пилата: «*...какая пошлая казнь! Но ты мне скажи – (...) – ведь её не было! Молю тебя, скажи, ведь её не было!* – Ну, конечно не было – отвечает хриплым голосом спутник, – это тебе померещилось. – И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек в плаще. – Клянусь – отвечает спутник...». И дописывает роман не мастер, а его верный ученик Иван Николаевич Понырев «*после укола*», меняющего «*нестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бы в а е т в о в р е м я м и р о в ы х к а т а с т р о ф*». Не в этом ли заключалось учение? К выделенному мною мы ещё вернёмся, как к одной из основных идей романа.

А. Барков полагает, что Горького Булгаков имеет в виду и под Берлиозом. Это представляется обоснованным и даже скорее чем под мастером. На советской арене Горький предстаёт в двух, почти не пересекающихся, ипостасях: как художник – мастер, и как *глава* советской литературы. В этом смысле «отрезало голову» звучит как обезглавливание. Прежде всего, МАССОЛИТА. Эту аббревиатуру Барков остроумно расшифровывает не только как «массовая литература», но и «мастера советской литературы». Заседание без Берлиоза уже не только иронично, но и просто пародийно. И по смерти Берлиоз – руководитель, общественный деятель – «*уходит в небытие*», а вот мастер – художник – всё-таки остаётся. Пусть и в покое.

К сожалению, в одной статье невозможно объять необъятные глубины романа, тем более, что ирония там буквально на каждой странице. Да и нужно ли? Дальше вы уж сами, уважаемый читатель. Раскройте книгу на любимых страницах, положите под правую руку работу Баркова, полную ценнейших сведений, а может быть – чем чёрт не шутит! – сказал бы Воланд, – и мою статью – и наслаждайтесь!

Кроме того, ирония не единственная точка зрения. Можно прочесть и идеологическую, и психологическую, и теологическую, и, конечно же, литературную стороны этого текста. И роман ещё преподнесёт сюрпризы!

Но одной из главных загадок – роман в романе – невозможно не коснуться. В самом деле, что это за приём изобрёл Булгаков? Над чем иронизирует?

Литературоведы, в том числе и А. Барков, исходят из совершенно правильного положения, что раз Булгаков поместил оба романа под одной обложкой, то следует найти взаимодействия художественных текстов. И находят. Чего стоит, например, параллель между Низой и Маргаритой. Но всё это не снимает вопрос о глубинном смысле приёма. На что намекает Булгаков?

Как мы уже видели, роман Булгакова исключительно литературен, то есть взаимодействует с большим количеством произведений и богатой литературной жизнью описываемой эпохи. Так может быть и объединение «античного» и «московского» романов должно отослать нас к какому-то источнику?

Но поиски аналогов в русской и мировой литературе, меня, во всяком случае, ни к чему не привели. Как вдруг взгляд упал на лежащую на столе Библию, с которой я сверял булгаковский текст. Господи! Вот же оно!

Действительно, разве в нашей Библии не соединены два совершенно разнородных текста? Даже более того, две разных религии. Разнородных как по содержанию, так и по стилю. Ветхий Завет – основа иудейской веры, и Евангелие – христианской. В первой части действует кровь и мщение и Бог, заботящийся о поклонении себе. Во второй – Благая весть об Иисусе, взывающая к человечности. Хочу предупредить – я никоим образом не кощунствую и не касаюсь вопросов веры, я лишь рассматриваю Библию как литературное произведение. По всей видимости, как и Булгаков. Именно неисчерпаемая художественность Библии порождает на протяжении тысячелетий множество толкований, направлений и даже целых конфессий.

Но как могут ужиться эти тексты под одной обложкой?

Исторически вроде бы ясно. Первые христиане были евреи и, естественно, рассматривали Иисуса как очередного пророка. Или, говоря современным языком, как реформатора во многом устаревших представлений церкви. Распространившись по миру, христианство, оторвалось от иудейских корней, но, тем не менее, сохранило Ветхий Завет почти в первоизданном виде.

Так не в этом ли заключается композиционная ирония Булгакова? Ещё раз хочу повторить – ирония не сатира и не сарказм, а только «противное разумеем».

Такое привлечение Библии как внетекстовой структуры романа Булгакова, порождает множество ассоциаций. И, прежде всего, «античный», как бы библейский, текст романа превращается в ветхий завет, а житие, мучения и смерть мастера в новый. Понятно, что это всего лишь глубокая, я бы даже сказал сатанинская, ирония. Роман явно антисимметричен Библии.

Я бы не стал рассматривать *пилатовы главы* как булгаковский вариант Евангелия. И не следует считать их «Евангелием от сатаны», хотя первая глава античного повествования напёптана именно Воландом. Но Булгаков неоднократно подчёркивает, что роман о Понтии Пилате, а не о Иешуа. Роман о трусости и предательстве, а не о добровольно принятых нечеловеческих муках. Более того, Иешуа просит не бить и не убивать его. Ещё одна тонкая и скрытая ирония – именно так переписывали историю советские мастера социалистического реализма. Как вам под таким углом зрения диалог в конце второй главы: «– А не надо никаких точек зрения! – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего. – Но требуется же какое-нибудь доказательство... – начал Берлиоз. – И доказательств никаких не требуется – ответил профессор...»? Действительно, достаточно магии чешуйчатого слова. И никаких других точек зрения не надо, есть одна-единственная, но совершенно правильная. Непонимание иронии, принятие буквально и всерьёз неоднозначного текста приводит к толкованию совсем не того романа.

Объединение разностилевых текстов, будь то исторически сложившиеся, как в Библии, или сознательный композиционный приём, немедленно порождает динамическое взаимодействие между частями и деталями и возникают всё новые и новые смыслы. К сожалению, фрактальное прослеживание связей, параллелей и ассоциаций выходит далеко за пределы одной статьи и даже одной работы. Остановимся лишь на общем для обеих частей романа совершенно невероятном образе.



Это образ тучи, мглы, накрывающей и ненавидимый прокуратором Ершалаим, и многострадальную Москву. Как мы помним, *«это бывает во время мировых катастроф»*. О каких катастрофах идёт речь?

В ершалаимской части романа это, прежде всего, казнь Иешуа. В соотношении с евангелиевским распятием понятно какие вселенские катаклизмы ждут нашу планету.

Но не только. Проповедь Иешуа грозит катастрофой иудаизму и израильскому народу. Это прекрасно понимает первосвященник Каифа, защищая свои ценности и навлекая гнев всемогущего Пилата. Покрываясь пятнами, с горящими глазами и скалясь, говорит: *«Не мир, не мир принёс нам обольститель народа в Ершалаим...»*. Так и напрашивается – *«не мир, но меч»*. И дальше: *«Но я, первосвященник иудейский, откуда жив, не дам на поругание веру и защиту народу!»*. Как известно не защитил, а напротив казнью сильно осложнил жизнь и себе и своему народу...

Если последствия ершалаимской катастрофы просматриваются в будущем, то московская имеет реальные черты настоящего. Ознакомившись с последствием своего социального эксперимента над ни в чём неповинным народом, Воланд наваливает кипящую тучу и мгла поглощает Москву. То есть та жизнь, что была так мила сердцу Булгакова (вспомним «Белую гвардию»), провалилась в тартарары и больше никогда не возродится.

Так что же за роман мы с вами прочли? И, наверное, будем читать ещё не одно столетие.

Для меня основной приём романа – ирония, экономящая массу психической энергии и примиряющая с самыми чудовищными событиями, – отрезанием и отрыванием голов, кипящими тучами, и даже с трусостью и предательством, с чем примириться никак нельзя. И в то же время роман чрезвычайно серьёзен, ибо «противное понимает». Он порождает у нас улыбку, но и заставляет напряжённо думать, отыскивая всё новые и новые смыслы. И, конечно же, побуждает задуматься о нашей собственной судьбе, судьбе нашей страны и народа.

Прежде всего, это полотно написано с очень высокой, я бы даже сказал с космической, и очень необычной точки зрения. Как картины Питера Брейгеля. Выполнена основная задача романиста – запечатлеть время. Мы видим, слышим и осязаем наше прошлое, настоящее и будущее.

Но какое будущее?

На первый взгляд Булгаков светлого не видит. Москва съедается тьмой, раскальвающей молниями само небо. Ироничная фальшь примирения Иешуа с Пилатом, который весь роман проходит *«в белом плаще с кровавым подбоем»*. Мастер, отказывающийся выращивать в реторте нового гомункулуса и обречённый *«слушать беззвучие»*. Бедный Иванушка, превращённый в беспмятного Ивана Николаевича Поньрева. Да и сам Воланд *«не разбирая никакой дороги, кинулся в провал»*...

И тем ни менее оптимизм всё-таки присутствует. И в самом ироническом стиле романа, экономящего нам массу психической энергии, и в многочисленных значащих «нестыковках», и в, если и не очень добром, то и незлом, взгляде на всё происходящее.

И, конечно же, в знаменитой фразе, давно оторвавшейся от романа: *«рукописи не горят»*. В диалектическом единстве с хорошо известным обратным (вспомним второй том Гоголя или тетрадь Тютчева), она порождает главную надежду – настоящее остаётся.

Роман ещё преподнесёт сюрпризы!

И последнее. Я начал статью с полемического наскока на официальное булгаковедение, но закончить хочется примиряюще, словами Воланда, обращёнными к покойному Берлиозу: *«Мне приятно сообщить вам, (...) что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой»*.

В том числе и моя.

«ФОНОГРАФ»

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ

НА ГРАНИЦЕ СНА И МИРОЗДАНЬЯ

Нежилец улыбнулся в пространство
И запели кругом голоса,
Кротко слышит: «В тоске постоянства
Не увидишь больше греха!»

Перед ним раскрываются двери,
Словно пасть в сумасшедший покой.
Опалён он неведомой верой,
Что дана ему чёрной судьбой.

Нежилец исчезает за дверью –
Ни следа, ни тоски, ни лица...
И закончилось высшее пенье,
Не вмещённое в ужас конца.

Но звезда за чертою познанья
Приютит его тихую тень
И пошлёт ему знак о свиданьи
С тем, кто будет нигде и ни с кем.

Юрий Витальевич Мамлеев (11.12.1931 – 25.10.2015). Российский писатель, драматург, поэт и философ. Лауреат премии Андрея Белого (1991). Основатель течения «метафизический реализм». Член американского, французского и российского отделений Пен-клуба, Союза писателей России. В 1956 г. закончил Московский лесотехнический институт, получил диплом инженера. С 1957 г. по 1974 г. преподавал математику в вечерних школах. Рассказы, романы, философские эссе распространялись в самиздате. В 60-е гг. в его квартире в Южинском переулке собирались многие деятели «неофициальной культуры» того времени. Ю. Мамлеев по личному распоряжению Ю. Андропова был «выдавлен» в эмиграцию в 1974 г. в США, где преподавал и в Корнуэльском университете (Cernell University). Позже, в 1983 г., разочаровавшись в Америке, переехал в Париж, во Францию, где преподавал русскую литературу и язык в Медонском институте русской культуры, потом в Институте восточных цивилизаций в Париже. После распада СССР Ю. Мамлеев вернулся в Россию. С начала 1990-х годов опубликовано более 30-и его книг, включая книги по философии. Продолжалась публикация его книг и на Западе в переводе на языки Европы. Как философ, Ю.В. Мамлеев, помимо преподавания индийской философии в МГУ, прославился работами, которые выходили в журнале «Вопросы философии» и отдельными изданиями. Широко известны его романы «Шатуны» (1966), «Московский гамбит» (1993) и последующие многочисленные тома его рассказов, пьес, статей.

Говорил: «Нечестивая, странная.
Ты умрёшь пред восходом луны...».
А она, как мечта окаянная,
Повторяла: «Со мною и ты...»

Будут плыть под ногами столетия,
Станет плоть наша тайно-одна...»
И в звериной тоске по бессмертию
Пред луною завывала она.

Я метался, её уговаривал.
Но превыше Тоски и Любви
За завесой огромного зарева
Высший голос раздался: «Иди!..»

Улыбаясь, уснул дурак
И увидел прекрасный сон:
На луне, головой с кулак,
Маманя ползёт на трон,

Дураку неведомёк теперь,
Что он умер давным-давно...
Полутень-полушут-полузверь
Себя колотит крылом!

От земли доносится вой,
Словно волчий из ада знак.
И кусает в зрачок больной
Дурака золотой мертвяк.

Уползла царица на трон,
Превратилась в пустой колпак.
Но кончается райский сон –
И мертвец уходит во мрак.

Не преступники мы и не бредим,
Лишь целуем далёкий закат.
Прожжены, как черви, огнём,
Но внутри у каждого – Ад.
Будет чёрный чёрт убегать от нас,
Хохотать неведомый враг.
И земля превратится в змеиный глаз,
Но нам чужд омертвельный страх.

Переждём, уснём, будем сны лизать,
Захочем в себя, упыри...
И очнёмся опять, и пойдём плясать,
И начнутся лихие дни!

На границе сна и мироздания,
Там, где в небе умерла луна,
Возникает странное создание,
И оно невидимо пока.

Но когда весь мир его увидит,
То в далёком, будущем бреду
Захочет дьявол, как Овидий
В заколоченном ночном гробу.

Мир исчезнет... Был он или не был?
Но из уст, кого не знал никто,
Потечет невиданная небыль,
И узнает каждый, кто есть кто.

Там, вдали, во смраде мироздания,
Вырастает метаголова.
Нет во мне последнего познания
И змея хохочет по утрам.

В чёрном хаосе забытых привидений
Вижу: прорастёт Великий Глаз.
Ты дрожишь от ужаса видений
И двоишься, превращаясь в мразь.

Будут странны мука и сомненья.
Станет бредом всё, что видишь ты...
Знаем оба: это выше тленья,
Это выше Сна и Красоты...

Он придёт... Он ничего не хочет.
Мрак и кровь и метаголова!
А потом появятся Источник –
Тот, который не был никогда.

Пискнул родной и заплакал...
Знает: не скоро умрёт.
Тихо кругом. Что же значит
Глаз у него за спиной?

Глаз расширяется в Бездну,
Крик умирает во тьму.
Мама, скажи, перед смертью
Сколько я лет проживу??



Хохот меня не калечит.
Дух мой – в далёкой стране.
Странной печатью отмечен
Тот, кто не виден нигде.

Мама, веди меня дальше!
Дух мой клубится в ночь,
В мире не будет страшно,
Ужас уходит прочь...

Мальчик вост, как роза в аду,
Выпускает пузырь изо рта.
Идиот в голубом меду
перед ним открывает врата.

Реет ангелов полусон,
Голоса убитых коров.
И не слышен далёкий стон –
То наброшен синий покров.

Мальчик спит, как роза, в раю...
Но на грани последних миров
Улыбается Вечный Враг
Полудаских и райских снов.

По луне бредёт полутруп,
Завершая распад любви.
И хохочет, утрюм и туп,
Упырёк на его груди.

Труп не видит восход земли
Голубой и огромный шар.
Лишь глаза упыря, как магнит,
Возбуждают его кошмар.

И спускаясь в подземный мрак,
И не зная заветных слов,
Он увидит последний крах
И сиянье пустых голов.

ТАТЬЯНА АИНОВА**И ВРЕМЯ ТЕРЯЕТ СВОЙ ВЕКТОР**

Снег. Снисхождение. Нежный покров
свыше – на всё – без разбору.

Снег на деревья, на крыши домов,
белой каймой на заборы,

белой попоной на спины машин,
под ноги белой страницей...

Сколько всего нужно скрыть от души,
что темноты страшится –

русло дороги, плешь у ворот,
времени чёрные плёсы
(вот укатил трёхколёсный год,
новый с клюкой приплёлся)...

Снег. Воплощённая весть белизны.
Рой тишины. Летает.
Дремлет в надежде добыть до весны.
И только на людях – тает.

Не говори о себе, обо мне:
«льдинка», «метель», «пинея»,
не отдавай ничьей седине
снега волшебное имя.

Это не то, чем повязаны мы,
это совсем другое.
Сахар и соль на губах у зимы
непревратимы в горечь.

Татьяна Аинова (4.03.1968 – 8.05.2019). Поэт, прозаик. Родилась и жила в Киеве. Автор книг стихов «Вместо меня» (2000), «Игры света» (2000), «Аквариумистика» (2006), «Игры света» (2007), «Гайные тропы» (2015). Стихи включены в антологии «Антология современной русской поэзии Украины» (Харьков, 1998), «Песни Южной Руси» (Донецк, 2008), «Земляки» (Москва, 2009), «А українською – так» (антология русской поэзии Украины в переводах на украинский) (Киев, 2010), «Два века о любви» (Россия, «Издательство Астрель», 2012), в альманахи «Каштановый дом» (Киев), «Пушкинское кольцо» (Черкассы), «Арьергард» (Киев), «Связь времен» (США), «Киевская Гринландия» (Киев) и др. Публикации в журналах «Самватас» (Киев), «Ренессанс» (Киев), «Соть» (Киев), «Вітчизна» (Киев, стихи в переводе на украинский язык), «Аристократ» (Киев), «Русский литературный журнал в Атланте» (США), «Русло» (Киев), «Крещатики» (Россия-Украина-Германия), «Дикое поле» (Донецк).

УТРО (ПРОБУЖДЕНИЕ)

Когда просыпаешься, главное – свет:
цвет его, звук, вкус
яблок, скрывающихся в листве,
ямб воробьиных уст.
В ответ устремляешься, главное вслед
лучам, подражая им –
двуструньем, звучащим в отцветший куст,
кусту расцветая нимб.
Тогда просыпаешься, светом храним,
признаться ему в родстве:
что неопалимая купина
взглядом твоим зажжена.

Сна незавершенное действие
гаснет, намекнув свысока,
только артефакта чудеснее
в памяти уже не сыскать:
тайный клад космических рыцарей?
солнечных лучей варикоз? –
книга с золотыми страницами,
тонкими, как крылья стрекоз.
Я готова чистить безропотно
жизни тесноватую клеть,
полюбить насущные хлопоты,
ни себя, ни дней не жалеть,
если откровенней приснится мне,
если напоследок спасёт
книга с золотыми страницами,
книга, где откроется всё.

НОСТАЛЬГИЯ

То замирая нотой до,
то проникая в стих,
росли усадьбы у садов,
немыслимы без них.

Гуляли барышни в садах,
тянулся ствол к стволу,
и детским словом «навсегда»
кончался поцелуй.

Но мы-то взрослые вполне –
нам некогда понять,
что их давно на свете нет,
и некому пенять.



А весь абсурд, позор и мрак
немирного труда –
за то, что мы живём не так,
не там и не тогда.

В оставленном замке сквозь камни окна –
рябина-заморыш.
Засохшая ветка – больная струна,
другие – как плети.
Непонятым хламом лежат времена,
веков утомлённых
соцветья – бессилён коснуться их сна
камланием ветер.

Из древней колодки не вырвать корней,
не вырасти флейтой.
Соседи – фонарных столбов не родней,
но также их кроны
редеют, влетаются листьями в вихрь,
а сломанный тополь –
как стражник, убитый для встречи двоих
прекрасных влюблённых.

Того, кто прокрался – чужой, молодой –
напрасно искали.
От факелов отблески жаркой водой
по стенам плескались.
Он в омуте платья её утопал –
ресницы смыкались.
Их тайну состарили сфинксы забрал
в застывшем оскале.

Но это окно – чтоб волнистая прядь
к ногам опускалась,
глазами, верёвкой, собой измерять,
насколько бесстрашен,
но эти ступени – чтоб тенью мелькнуть
и слиться слезами,
но лестница эта – единственный путь,
ведущий на башню!

Из камня? из воздуха? из пустоты?
Ещё невесомей,
чтоб каждая ночь изменяла черты?
Из чьих-то бессонниц,
где с пышных подушек сияет, маня,
небес куртизанка?
и замок был выстроен не для меня,
и я не для замка –

избравшая зеркалом замкнутый ров
с нечистой водою,
собравшая в гроздь продропшую кровь
погибших в сраженьях,
как будто поток снизойдёт с высот
и плавным движеньем
с опавшей листвой до реки донесёт
моё отраженье.

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ЯБЛОНИ

Шершавой дрожью листика в ладони
ты говоришь мне о себе или о ветре?
Как вольно музыке, когда бесплодны ветви! –
так вольно призракам, когда безлюдно в доме.
Но с каждым днём касанья безответней

от тяжести, пока ещё незрелой,
не царствующей над окрестной зеленью.
Не знаю, целятся ли луковые стрелы,
а ты ветвями указуешь вниз, на землю.
Желая, чтобы я туда смотрела?

И ничего не замечала, кроме
душистого бесплатного лекарства
нагретых ягод цвета свежей крови
и слаще – там, где начинает запекаться?
Плюс, разве что, ещё блины коровьи
(чтоб не вступать в них, как и в некие союзы,
убийственные для плодоносящей музы).

Ты всё зовешь меня в телесность лета,
но завлекает в небо птичий клёкот –
и я смотрю, как быстро и бесследно
там заживает шов от самолёта.
Ты веришь, яблоня, что тень твоя нетленна?
Нет? Ну, тогда я поджигаю фото...

P.S.

Я ничего не жгла, я написала:
Пусть ветер не ломает, а согреет,
и примирит земное с небесами,
и станет музыкой, и яблоки созреют,
чтоб гулко падать от легчайшего касанья.

Листья желтеют – небо из них уходит,
щедростью синевы творившее зелень.
только и остается им: лечь на землю,
лёгким тельцем прикрыть, отражая холод

медленным тлением. Тусклым и плоским светом
жёсткую наготу стволов освещая –
чтобы мы их хоть изредка посещали
и говорили друг другу «а помнишь? летом...»
Месяц до снега. Мир не сдаётся мраку.
листья в полете так и просятся в руки.
выбрать – поярче, без порчи, не самый хрупкий.
просто его поместить под стекло и в рамку
с надписью «памяти всех унесенных ветром» –
пусть повисит над диваном напротив кресла.
и замечать иногда, не вставая с места,
как замирает время, меняя вектор.

БЕЗОТВЕТНОЕ

Четыре седых волоска насчитала –
пока на висках. Это только начало.
Пора признаваться: тускнею, старею.
Я ранена будущей смертью – своей и
твоей и других, и никто не спасётся.
Зачем же мы любим наш город, и солнце,
и лес, и друг друга – и так безответно?
Зачем так поспешно кончается лето?
Зачем твоя крутость мутирует в кротость?
Мы едем домой или катимся в пропасть?

А впрочем, из недр человеческого стада,
где день ото дня репетиция ада,
уже вырывается нам на замену,
на смену-подмену, на жизни арену
похожая в профиль на рыбку-пиранью,
живучая даже за гибельной гранью,
стихи дрессируя своим аватаром.
Её головы ненасытным пожаром
коптят и дымятся всемирные сети,
покуда мы плавимся в частной беседе.

Ты мне возразишь: только частное честно.
Известно, что нам ничего не известно,
а бусинки дней не крупнее, чем просо.
Зачем же мы множим и множим вопросы?
Как будто за каждым ненужным ответом
ещё непременно вернёмся – телами,
в которых вода превращается в пламя
и время теряет свой вектор.

К ИСТОРИИ МОЕГО ПСЕВДОНИМА

Когда мне было семнадцать лет,
был жив один молодой человек.
И я носила его портрет
на внутренней стороне век.

Я думала, что он немолодой –
ему было тридцать, даже на вид.
И мог конкурировать с этой бедой
лишь миг, когда солнце минует зенит.
А, впрочем, для юности всё беда,
что не оргазм, не звезда, не война –
что ей не ровня. А я тогда
самой себе была не равна –
теряясь в рядах нетоварных пар
стойчески стиснутых губ и колен
заведомых узниц прокрустовых парт,
красневших от термина «многочлен»,
особо чувствительных к цифре «два»,
скупавших над книгами допоздна...
Он нам что-то умное преподавал
без шума и пафоса – будто не знал
о том, как он выглядит, как звучит,
и что за избранность в нём так видна,
но не опознана. Что за лучи
сквозь дрожь пронизывают до дна
наивных студенток – и мимо глаз
(глазеть в упор – что рубить с плеча:
глаза, отворённые напоказ,
уже не видят – они кричат).
А я молчала. И у доски.
Но выводила в экстазе тоски
сомнамбулической волей руки
псевдологические значки.
От незаслуженного «хорошо»
ученю вслед забывая запрет –
взаимного взгляда электрошок
в меня впечатал фотопортрет.
И не исправить. И не стереть.
И ни ощутить, ни забыть нельзя.
С тех пор я могла на него смотреть
всегда, когда закрывала глаза.
Так смотрят – сквозь сумерки – на рассвет.
Так смотрят – на музыку – сквозь оркестр.
С тех пор я носила его портрет
как вирус и как чудотворный крест.
Не понимая в нём ни черты.
По жизни он кто? математик, доцент,
по слухам женат – но не в этом стыд:
нельзя быть как все при таком лице.
Для всех – монотонный бетонный провал,
где всё в мельтешеньи своём мертво.
С таким лицом не качают права.
С таким лицом не ездят в метро.
Таких не живописал Глазунов,
не удостоился Голливуд...
Был вывод абсурден, и этим нов:
с таким лицом нынче-тут не живут.

Он миф, он герой сериала «Мой Сон»,
и тайны его не снаружи – внутри.
Там, помнится, было о том, что он
из тех, кому умирать в тридцать три –
могила и даты... Нет, верь-не-верь,
а на иконы таким нельзя:
не в меру дерзок разлёт бровей
и слишком больно горят глаза.
К чему эти игры со смертью, когда
он мог всё, что мог только он один –
пойти не туда, и войти туда,
куда ещё никто не входил.
С девичьего лона сорвать бельмо
чудесней, чем с суетных глаз слепца.
Да мало ли что отворится само
на зов – нет, не голоса и не лица –
того, что в них явлено! Мало ли тем,
желаний и целей, путей и мест!
Вот времени – мало. И нет совсем.
Он вёл нашу группу один семестр.
...Как сладко страдать, созерцая портрет,
предательски честно смиряясь с судьбой.
Я вижу его, а он меня нет,
и можно пока что расти над собой,
брезгливо смотреть на других мужчин
и втайне надеяться на волшебство –
авось, поумнею, сведу прыщи,
когда-нибудь стану достойной его...
как будто «когда-нибудь» – вектор мечты.
А это – три года спустя, на ходу
узнать – и космической льдиной застыть:
Вчера, на тридцать четвёртом году...
И не исправить... И не стереть...
И ни ощутить, ни забыть нельзя...
А я не могла на него не смотреть
всегда, когда закрывала глаза...
Так прошлое с будущим, жизнь и смерть
мгновенно меняют свои полюса.
Что прежде казалось невысказанным смель –
отныне обязана написать.
Для собственных глаз, с этих пор сухих.
Для истинной жизни – всему взамен.
И метишь беспомощные стихи
одним посвящением: А.И.Н...
Когда наступает Великий Облом,
попутно лишаешься шор и оков.
И многое запросто – красный диплом,
четыре книги (увы, стихов)
и прочие вехи бесплатных услуг...
Вот если б наука не сдохла в стране –
вполне мог случиться весёлый расклад,
когда миллион бы достался мне,

а не Перельману. Но я бы взяла –
и значит, достойнее Перельман.
К тому же на рынке, где сажа бела,
ценней математики мат-перемат,
поскольку без мата не описать,
как прозой жизни сбывался бред,
империи рушились в полчаса,
хай-тек размножался... И только портрет –
его не смогли растоптать года
стадами сапог, отсудить судьба,
подделать мечты. Но теперь, когда
я вдвое старше самой себя –
новейшая версия прежней души,
недоумевающей – кто она? где? –
теперь он в сердце моём зашит,
и я не могу его разглядеть.

Когда я впервые проснусь не здесь,
и это впервые не будет сном, –
в премудро сплетённом нигде гнездясь,
заметив ничто и срастаясь с ним –
и это впервые не будет грязь,
но это впервые не будет нимб.

А здесь про меня красиво наврут,
как шла я по трупам любимых мужчин,
и будет воспет мой нескорбный труд
и смыслом поближе к людям смещён,
но перечень избранных мной утрат
мне станет приятен, забыт, смешон.

За некую (ниточку?) вскользь держась,
немыслимое не решаясь смыть,
я встречу тебя и скажу: Ложись,
нам больше не тело ни ждать, ни сметь.
И это впервые не будет жизнь,
но это впервые не будет смерть.

Тот, кто беззвучно зазываем нами,
в чужие двери ломится, непрошен.
А сны – не больше, чем напоминанья
о будущем, небудущем и прошлом.
Я не умела обеспечить милость
небес. Но мстила – и, как в тухлой драме,
в горшке цветочном голова хранилась,
переплетаясь с кактусом корнями.

Но не тогда, не в давнем сне, в котором
струился город золотистым блефом,
кипело море. Подпирала горы
стена полуживших горельефов –

то озарялись, то чернели входы
в стене. Но я вошла, не выбирая.
И выпал лес – костёл сосновых сводов,
обрыв к реке. И *он* стоял у края.

Благословенны здешние пределы –
все ирисы, все пни, все гнезда птичьи!
И Скульптор, что ваял так неумело,
умом и страстью исказив античность.
Благословен недопрочтенный Свиток –
за то, что рвут и трогают руками!..

Но губы жгли и был прокурен свитер
вполне, чтоб ужаснулась: не из камня, –
и босиком, по травам, по иголкам,
доверчивому призраку не рада...
Проснулась и запомнила надолго:
от счастья умирают – это правда.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ НА СВЕТ»

(Евгения Джен Баранова, Хвойная музыка. Стихотворения. – М., Водолей, 2019)

Евгения Джен Баранова – поэт тонких соответствий. У неё ничего не говорится напрямую – всё вытекает из текста, который мыслится как единое целое. У Барановой нет проходных строк. Скажу больше: у неё нет даже проходных слов. Всё – «взвешено, исчислено и найдено весомым». И в этом – кардинальное отличие Барановой от множества современных стихотворцев.

*Вот так и проплыву тебя во сне,
как вздох над нет, как статую на дне,
как вытертую в таблице отметку.
Звенит крылом комарик-звездочёт,
густая кровь сквозь сумерки течёт
и капает с небес на табуретку.*

Евгения «удвоила» своё имя английским «Джен». Это уже словно бы «Евгения в квадрате». Объёмная, растущая вместе со своим потолком, убегающим вверх. И рост этот происходит уже между хорошим и лучшим, между скрытым и проявленным, между затемнённым и просветлённым. Не случайно она называет свои стихи «текстами»: это сочинения, напрочь лишённые тематической нарочитости. Тем – много, и каждая из них не заглушает другую. Многотемье, данное штрихами. Фуга, которую не тянет обратно в токкату. А бывает и так: тема заявлена, но побочные линии развития – не менее важны.

Герману Власову

*Не смей-не смей, не говори,
покуда красота
ползёт от Рима до Твери,
от круга до креста.*

*Щербатый дождь бабку расшиб
о каменный живот.
Здесь всё вода, кумыс-кувшин,
здесь всё водопровод.*

*Вода поёт, вода прочтёт,
вода тебя простит.
Живая хмарь, живой расчёт,
живой надежды щит.*

*И рыба – рыбе, и звезда,
и жгут насквозь лучи.
А ты молчи, пока вода.
Пока живёшь, молчи.*

Обжигающе острое дыхание жизни. Где-то я уже слышал этот посыл. Фёдор Тютчев, «молчи, скрывайся и таи...». Но у классика вода там вообще не присутствует. Современный писатель черпает отовсюду. Не нужно даже «нагибаться» за водой в первоисточник. Всё уже есть у нашего поэта в душе в качестве культурного багажа. Если утрировать, смысл современного искусства заключается в том, чтобы Гомера пересказать своими словами. Лексикой 21-го века. Мы наивно полагаем, что в искусстве и науке главенствуют первоисточники. Но всё не совсем так. Даже оригинальные тексты – всего лишь «переводы»: с Божественного на человеческий, с языка тьмы на язык света. Вот как об этом говорит Джен Баранова:

*Переводи меня на свет,
на снег и воду.
Так паучок слюною лет
плетёт свободу.
Так улыбаются киты,
когда их будят.
Так персонажами Толстых
выходят в люди.
Переводи меня на слух.
Из школы в школу.
Так водят маленьких старух
за корвалолом.
Так замирает над гудком
автоответчик.
Переводи меня тайком
на человеческий.*

Образный и логический ряд у Барановой всегда неожидан. Аллюзии играют с читателем в прятки. Здесь, например, подспудно слышится «переведи меня через майдан». С постоянным аукиванием разных смыслов этого многоёмкого слова – «перевести».

У Барановой редко повествование ведётся от первого лица. Иногда это следствие природной скромности: поэт, хотя и является, безусловно, отдельно взятым центром мироздания, имеет счастливую особенность не выдёргивать себя напоказ из общего мира. Окружающий мир – важнее, и это высокая степень человечности. Мир внутренний – изнанка внешнего и его богатство. Помните у Цветаевой: «Я тоже была, прохожий. Прохожий, остановись!». Лирический герой Барановой – такой вот человек, который вышел вечером с собакой на прогулку. «Идёт домой простое существо, бестрепетно привязанное к буквам». А порой... писать от первого лица по разным причинам неудобно. Вот, например, стихи Евгении о больнице. Написанные в третьем лице. Во многих стихотворениях героиня Барановой словно смотрит на себя со стороны.

*Когда происходило всякое
и тучи с городам дралась,
больной по лестнице Пакова
то вверх подпрыгивал, то вниз.*

*То разгонялся мимо ампулы,
то ставил йодистый узор
на грудь прожаренную камбалы,
на вермишелевый забор.*

*Бледнел до творога зернистого,
гонял таблеточную кровь.
И сердце ухало неистово,
как оскорблённая свекровь.*



*Просил прощения у капельниц,
бажилам вежливо кивал.
И думал – как-нибудь наладится.
И ничего не забывал.*

А вот стихи Евгении о судьбе поэта. Скрытый героизм такого предназначения вызывает сочувствие, симпатию и восхищение.

*Слова текут, как очередь в музей.
Возьми билет, на статуи глазей.
Нацупай шаг, привыкни, пристыдись.
Не жалуйся смотрителю на жисть.
По леднику ступай, по леднику.
Посверкивая ножничком в бок.
Поигрывая в салочки с людьми.
Слова растут – ты с ложечки корми.
Молчанием, болезнью, суетой,
бесформницей и комнатой пустой.
И завистью без толку / без вины.
Слова не для тебя тебе даны.*

Это характерная манера для Джен Барановой. Говорить негромко, но чётко и весомо. Без пафоса. Не впрямую, а по касательной. Не выставляя напоказ, но и не утаивая. Часто – в третьем лице мужского рода. Всё – правда. Правда – неотъемлемая часть поэзии. Скучный подвиг жизни, где «всё вторично, одинаково, вторично». Меня не покидает ощущение, что «Хвойная музыка» – книга глубоко трагическая. Жизнь висит на хрупкой ниточке, и ты ведать не ведаешь, в какой миг она оборвётся. В общем, «мemento mori» – смерть ещё не видна, но уже широко объявлена, и это сквозит едва ли не во всех стихотворениях, вошедших в книгу. И везде у Евгении – беззащитность человека перед Промыслом. Всей этой энтропии противостоит хрупкое, но неубиваемое самостояние поэта.

Евгения очень последовательно и результативно использует в своих стихах перечисление предметов как литературный приём. Помните, у Мандельштама: «Бессонница, Гомер, тугие паруса...»? А вот что у Барановой: «*Раньше старух поминали Степан, Овсей, / теперь поминают Аркадий, Кирилл, Валерий*». «*А ты думал – легко черемше, / сельдерею, кинзе, пастернаку?*». «*Как схоронит, на поляну / вынырнут свои – / дятлы, иволги, жуланы, / сойки, соловьи*». «*Ворочаюсь в пастели / в кармине в саже в сени в тоске*» (именно так, без знаков препинания). «*Смалец, горох, мука*». «*Фонарь, линейка, мусоропровод*». «*Черешня, баклажаны, кабачки*». Или так, с прилагательными: «*Чай – индийский, инжир – турецкий. Белый херес, бордовый лук*». Конечно, у Евгении чаще всего перечисляются однородные вещи. Тем не менее, эти многочисленные перечисления, щедро разбросанные тут и там по разным стихотворениям, создают необычный эмоциональный фон. Все они (люди, звери, растения) словно бы одним миром мазаны – и возникает ощущение небесного родства между всеми живущими на земле. Даже крупа у Барановой – и та будто бы живая. А вот уже совсем близко к Мандельштаму – по спряжению в перечислениях разнородных предметов: «*Бронза и уксус, художники и корабли*». Мы видим, всё это богатство у Джен – очень разнопланово. Ясно одно: частое использование в текстах существительных, которые идут «списком», не случайно. Это один из непререкаемых элементов поэтики автора. Много вещей, предметов, растений... сквозь них, собственно, и ведётся повествование. Книга составлена так удачно, что я стал как-то по-новому понимать подтексты стихов Евгении. В «Хвойной музыке» два основных плана стихотворений – дневниковая лирика и ретроспективные глубоководные занывания в детство. Самыми глубокими получаются те стихи, в которых мажор и минор – одновременны. Но автор, когда пишет, об этом не задумывается.

*Туда, где кормят гречкой,
где жёрдочка тонка,
стирает человечка
тяжёлая река.*

*И линиями ножек,
и кляксой головы
он хочет быть продолжен
такими же, как вы.*

*Он хочет быть повсюду.
Упрятаться, живой,
за бабушину посуду,
за шкафчик угловой.*

*Работать на контрасте.
Плясать издаലെка.
Но не теряет ластик
волшебная рука.*

ДАР БЛАГОДАРНОСТИ. ЕДИНСТВЕННАЯ – О ЕДИНСТВЕННОЙ

(Вера Зубарева, Тайнопись. Библиейский контекст в поэзии Беллы Ахмадулиной 1980-х – 2000-х годов. – М., Языки славянской культуры: Глобал Ком, 2017. – 224 стр.)

Я всегда с симпатией относился к тому, что делает в литературе Вера Зубарева. Шарм, интеллигентность, аналитический дар, особая доверительность – и, вместе с тем, «неслыханная» простота в общении. Поэтому вдохновенность работы Зубаревой о Белле Ахмадулиной меня нисколько не удивила. Она подошла к литературоведению так, как обычно подходят к поэзии – дождалась света в душе, понимания, «сигнала» свыше – и начала писать. Большая книга была завершена «в несколько присестов».

Белла Ахмадулина – возможно, самая загадочная представительница когорты поэтов-шестидесятников. И одна из самых виртуозных – это заметно даже в песнях, написанных на её стихи. Поэт Вера Зубарева, создатель идеи «русского безрубжья», словно бы биографически была «запрограммирована» на глубокий интерес к лирике Ахмадулиной. Она общалась с великой поэтессой, они дружили. Ахмадулина дала Зубаревой путёвку в большую литературу, написав предисловие к первой книге её стихов. И, когда твой друг покидает этот мир, ты хочешь сказать о нём что-то такое, что способен сказать только ты. А ведь ещё в юности Зубарева... зареклась писать о творчестве Ахмадулиной – из боязни, «что неумелое прикосновение к тайнописи повредит тайне». В общем, этой книги могло и не быть. Но она состоялась – необычайное сцепление обстоятельств, о котором рассказывается в эпилоге, «VELO» автора к ещё не видимой цели.

Каждое время по-разному «роет» свои глубины. Бывает так, что какую-то тему нельзя проговорить открыто, прямым текстом. Так и возникает герметизм – как ответ на опасность разглашения истины. Герметизм хорошо служит писателю и как защита знания от профанов. Но тайнопись – это не совсем герметизм. Произведение может быть одной своей стороной абсолютно понятным. А какие-то идеи могут быть закодированными или зашифрованными. Чем больше смыслов заложено в произведении, тем оно долговечнее. Белла Ахмадулина жила в достаточно плоское по объёму советское время. Про церковь и Священное Писание говорить было запрещено. Конечно, можно было писать «в стол». Надо полагать, что религиозная тайнопись появляется в лирике Ахмадулиной именно в начале 80-ж годов прошлого века. Белла в это время уже очень знаменита, и в ней ширится усталость от советской идеологии. И, наоборот, появляются всходы иной веры.

Думаю, важен в данном контексте и возраст поэта. «Земную жизнь пройдя до половины...», «Кризис среднего возраста» и т.п. В произведениях Ахмадулиной этого периода «задействованы» и мистика, и метафизика. Умнейшая Вера Зубарева всё видит и всё анализирует. При этом она абсолютно уверена: вариант, при котором она вычитывает в произведениях Беллы больше, нежели закладывал туда сам автор, исключён. То есть: мышление интерпретатора конгениально мышлению поэта. Что, безусловно, не так уж мало: много ли найдётся исследователей, мыслящих на столь высоком уровне? Сама Зубарева с удовольствием ссылается на таких знатоков творчества Беллы Ахмадулиной, как Виктор Куллэ, Владимир Губайловский, Владимир Коркунов, Александр Михайлов, Олеся Николаева.

Литературоведение Веры Зубаревой в высшей степени поэтично. Для меня несомненна слиянность мира Веры и мира Беллы. «Автор стихов и толкователь находятся на одной волне», – пишет об этом



сама Зубарева. «Тайнопись» – серьёзное литературоведение. Только в конце книги появляется «лирика» в виде трёх эссе о встречах с Ахмадулиной. Зубарева раскрывает нам мучительные переживания Беллы по поводу своих стихов, «пушкинскую ноту» в её творчестве. Всё это входит в ареал исследования поэмы «Род занятий». «Поэт, не дорожи любовью народной!» – говорил в своём знаменитом сонете Пушкин. Призыв великого поэта был услышан и понят Беллой. Но не сразу. Её преследует мучительная двойственность. Потрафить читателю и снискать массовый успех – или не думать об этом, идти за своей звездой? Она сжигает только что написанную поэму. А потом пишет новую – уже не о Пушкине, а о том, как она сжигала старую поэму. Получились своеобразные «Выбранные места из переписки с друзьями». Мирское и литературное было побеждено духовным.

Зубарева сравнивает поэму Ахмадулиной «Род занятий» с шахматами позиционного плана. Казалось бы, поэзия и шахматы – «две вещи несовместные». Но Белла, если так можно выразиться, тонко и скрупулёзно наращивает пространственные преимущества своей лирики. Она, может быть, проигрывает в динамике, зато выигрывает в общем впечатлении, обогащает целое. «И как в ней уживаются эта высота и кажущаяся оторванность от всего обыденного с таким раскрытым всем болям и невзгодам постороннего мира сердцем?» – спрашивает Вера Зубарева. Конечно, поэзия не имеет пола. Но мне представляется важным, что стихи женщины анализирует женщина. Сад, цветок, луна – это естественная среда обитания именно женщины, а не мужчины. Мужчина так хорошо об этом не напишет и не всегда поймёт чувства женщины. Зубарева прекрасно владеет несколькими языками и несколькими стилями русского языка. Вероятно, исследователь всё время помнит о Вере-эссеисте и Вере-поэте. Есть у меня и замечания к «Тайнописи» (книга – замечательная, как же без них?) Слова «имплицитный» и «сакраментальный» Вера употребляет так часто, что они... обращают на себя внимание, теряя свой изначальный вес и становясь «сорняками».

Кульминацией «Тайнописи» является, на мой взгляд, глава о поэме Ахмадулиной «Глубокий обморок». Здесь тема смерти и воскресения – это уже не только библейские аллюзии, но и непосредственные откровения Беллы, пережившей в Кимрах клиническую смерть. Ахмадулина мучительно ищет ответ на вопрос: зачем её воскресили, зачем ей дана отсрочка? И постепенно приходит к выводу: ей «велено» уйти от солипсического «Я» к животворящему состраданию. В Ахмадулиной постепенно совершается духовный переворот. Хотя она, по выражению Бориса Мессерера, «никогда не религиозничала», она оказалась именно тем поэтом из когорты великих шестидесятников, через которого религиозная символика «проговаривалась» в поэзии.

Ещё со студенческой скамьи Вере запомнились строки Беллы: *«Нет, я ценю единственность предмета, / вы знаете, о чём веду я речь...»*. А потом, уже при личном знакомстве, Ахмадулина и саму Веру охарактеризовала как единственную и ни на кого не похожую – даже в своих юношеских стихотворениях. И это – примечательная характеристика. Стало быть, «Тайнопись» – книга единственной о единственной.

Главное открытие Веры Зубаревой заключается в том, что в последние десятилетия своего творческого пути Белла Ахмадулина занималась поисками Присутствия в своём творчестве. В чём это выражалось? Дневниковость стихов Ахмадулиной напрямую связана с датами церковного календаря и датами из жизни великих поэтов. Зубарева анализирует множество дат, ассоциаций, деталей – и приходит к очевидному для себя (и для нас, читателей) выводу, что библейский контекст в лирике Ахмадулиной не только существует, но и чрезвычайно важен для её понимания. Тайная гармония лучше явной. Безусловная заслуга исследований Веры Зубаревой заключается в том, что она указала нам новую оптику взгляда на творчество Беллы Ахмадулиной, показала, что и где искать. Благодарность – отличительная черта ярких людей. Многомудрая «Тайнопись» Веры Зубаревой – переходящая из рук в руки благодарность за счастье человеческого общения, за творчество, которое помогает жить.

«ЭТА МЕРА – ПО МНЕ». ЭСТЕТИЗМ И ДЕРЗНОВЕНИЕ ТАТЬЯНЫ АКСЁНОВОЙ

(Татьяна Аксёнова, Преломление света. – М., Московская городская организация Союза писателей России, 2019)

Когда я размышляю о названии новой книги Татьяны Аксёновой, я сталкиваюсь с таким явлением, как двойственность бытия. Банальное и хорошо известное понятие из мира физики, эмигрировав в область поэзии, становится ярким и небанальным. Это своего рода поэтическое «преломление» научной терминологии. Поэзия и физика шагают рука об руку, например, в таких природных явлениях, как радуга и северное сияние. Татьяна Аксёнова – женщина интеллигентная. У неё была не простая жизнь, но она сумела сохранить в себе чувство прекрасного. Татьяна пишет, в основном, «о высоком». Вы не

услышите в её стихах подробностей быта, серых будней – того, что не возвышает душу, а, наоборот, приземляет её. Книга «Преломление света» представляет дарование поэта в динамическом разнообразии. Изначальный свет, бытующий в душе человека, преломляется по мере преодоления им ступеней судьбы. И, преображённый, является нам в энергетичном напитке стихотворных строк.

Татьяна Аксёнова, иногда прибавляющая к своей фамилии имя своего прадеда, француза Жан-Бернара, великолепно читает свои стихи, виртуозно владеет слогом. Яркая, экспансивная брюнетка. Она умеет наполнять слова недюжинной энергетикой, отзвуки которой слышатся в её голосе даже тогда, когда она просто с вами говорит о чём-то постороннем или потустороннем. Татьяна Аксёнова – поэт «цветаевской» закалки и закваски. Стало уже привычным делить поэтов женского пола на «ахматовскую» и «цветаевскую» линии. При этом бросается в глаза, что поэтесс, тяготеющих по стилистике произведений и образу мыслей к Марине Цветаевой, в литературе на порядок меньше. Цветаевский темперамент редок и опасен для его обладательниц. Тем ценнее для нас одинокие представительницы прекрасной ярости, «ни в чем не знающие мерь», живущие взахлёб и часто вразнос. Особо выделяется в книге стихотворение, написанное Аксёновой от имени Цветаевой. Такое «нахальство» оставляет глубокий след в душе читателя: помимо дерзновения, в стихах всё решает качество изложения. Трудно, говоря от имени великих, не скатиться на фальшь. Мне кажется, Татьяне эта «авантюра» удалась, хотя она многим рисковала, многое поставила на кон. «Горит на небе новая звезда – её зажгли, конечно, хулиганы», – писал Валентин Гафт. Татьяна Аксёнова порой предстает в своих стихах вот таким хулиганом, в женском обличье.

*Закатилась звезда его:
И певцом, и во сне...
Я – Марина Цветаева.
Эта мера – по мне.*

*Эта мера безмерная –
Что колодец без дна.
Я давно – суевренная,
И подавно – одна*

*Средь созвездий затеряна,
Ярче прочих горю!..
Райнер, я не уверена,
Что с тобой говорю...*

*Заклинаю звезду твою,
Простираю лучи –
Обнимаю, как думаю.
Только ты – не молчи!*

*Будь мне добрым советчиком,
Другом – больше! – родным
Братом, мужем невенчанном,
Эхом – долгим, как дым*

*От пожарщица горнего,
Что в чистилище – лют...
Райнер, вытъем отборного,
Ибо там не нальют!..*

*Я одного из ста его
Поцелую в уста.
Я – Марина Цветаева:
Мне остаться – отстать...*



*Знаю, меркой надгробною
Не измерить цветка –
Даже формулу пробную
За Творца не соткать.*

*Этот мир – он – изначальный.
В нём, кто мёртвый – живой...
Шлю письмо тебе – с нарочным:
Со своей головой.*

Стихотворная переписка Марины Цветаевой с Рильке справедливо считается одной из вершин мировой поэзии XX века. И трудно было даже помыслить о том, что кто-то отважится войти в этот исторический контекст со своим голосом, как это сделала Татьяна Аксёнова. Слишком велик риск опростоволоситься в очном противостоянии с двумя признанными гениями. Но Татьяна Аксёнова справилась со своей сверхзадачей. А победителей, как известно, не судят. Справедливости ради замечу, что стихов такого уровня в книге немного.

Поэзия, согласно Аксёновой, – своего рода заповедник. Книга «Преломление света» много и подробно рассказывает о жизни и деятельности таких поэтов, как Сергей Есенин, Иннокентий Анненский, Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Георгий Иванов, Марина Цветаева, Райнер Мария Рильке, Осип Мандельштам, Тарас Шевченко, Александр Блок, Александр Пушкин... Но не только поэзия интересна Татьяне Аксёновой. Среди её персонажей – и юный Моцарт, встречающийся с Гёте, и композитор Алябьев, и танцовщицы Анна Павлова и Айседора Дункан... Мне нравятся поэты, которые много на себя берут, не боятся взвалить на плечи тяжесть не только внутреннего, но и внешнего мира. При всём при том, в лирике Аксёновой чувствуется запас неистраченной доброты и нежности. Русская женщина с французской внешностью и темпераментом, она, безусловно, не может не писать о Франции. Об этом свидетельствуют такие стихи, как «Эйфелевой башне», «В Нотр-Дам», «По весне в Люксембургском саду», «Рижанка-парижанка» и ряд других. Человек открытый и жизнерадостный, Татьяна Аксёнова много путешествует. В книге «Преломление света» представлены стихи, навеянные поездками в Болгарию и на Украину. Периодически у Татьяны прорывается некая «советскость» мышления. Недостаток это или достоинство – решайте сами.

С Цветаевой Аксёнову роднит ещё и трепетное внимание к слову в звуке. Она читает свои стихи не хуже наших знаменитых шестидесятников – звонко, напористо, элегантно, артистично. Она – прирождённая актриса. Хотя, рискну предположить, стихи Аксёновой пишутся ради самих себя, а не ради грядущего прочтения на сцене. Это и сообщает им взыскующее себя качество. Много стихов, вошедших в книгу, навеяно русскими народными, фольклорными мотивами. Это ещё одна из граней поэтического таланта Татьяны Аксёновой. В её мировоззрении добро и зло равновелики и побеждают попеременно. А закончить свой рассказ о новой книге Татьяны Аксёновой мне хочется вот этими негромкими стихами:

*Улеглась дорожная шумиха.
Выкопал картошку стройотряд.
Кромкой поля, траурно и тихо,
Дамики безлюдные стоят...*

*Остывают комья чернозёма,
Диких уток тянется строка
По реке тяжёлой, незнакомой.
(Скользко на мостках, наверхья...)*

*А вчера она была июню,
А вчера журчали соловьи,
Щедры раскрывали надо мною
Облака объятия свои!..*

*А сегодня – руки растираю
Над костром, глотающим туман.
Без конца как будто жизнь, без края,
И за кромкой неба – закрома...*

*Улеглась дорожная тревога.
Никаких гостей навеселе...
Буду клубни печь за-ради Бога
На древесно-травяной золе!*

*Выйдет чей-то пёс из-за бурьяна,
Весь в репьях, и сядет у огня.
Нынче звёзды как-то слёзно-пьяно,
С сожаленьем, смотрят на меня...*

ВІТА NUOVA ПОЭТА АННЫ МАРКИНОЙ

(Анна Маркина, Сиррекот, или Зефировая гора. – М., Стеклограф, 2019)

Я давно слышал о том, что Анна Маркина пробует себя в прозе. Проза – жанр далеко не молниеносный. Пока у тебя не выйдет книга, всё долго пишется «в стол». В глазах читателей ты рождаешься как прозаик только с выходом первой книги. Собственно говоря, проза не является для поэта чем-то из ряда вон выходящим. Если мы возьмём наших классиков, проще перечислить тех, кто прозу не писал – их намного меньше. Проза Анны Маркиной выделяется тем, что это детская проза. Наверное, в каждом из нас, в той или иной степени, «спит» детский писатель. И вот – как пела «Машина времени», новый поворот. «Сиррекот». Или «Зефировая Гора».

К этой удивительной книге написано сразу шесть (!) предисловий. Наверное, это рекорд, достойный книги Гиннеса. Высказались художник книги Александр Прокофьев, Надя Делаланд, Борис Кутенков, Евгения Джен Баранова, Дана Курская и сама Анна Маркина. Эти же люди потом разыграли в лицах сценки из книги на её презентации. «Зефировая гора», в которой так много говорится о дружбе, объединила людей с первых мгновений своей жизни.

Сказка Анны Маркиной – о преобразовании жизни, переформатировании личности, об относительности всего на свете. «Человек есть мера вещей» – говорил древнегреческий софист Протагор. Что он имел в виду? Очевидно то, что **любой** человек по своей прихоти устанавливает собственную шкалу ценностей. От того, что именно мы считаем самым важным, зависит наша судьба. Люди отличаются друг от друга тем, что считают самыми важными на свете совершенно разные вещи.

Сказка Маркиной – о понимании. Дружба – это не только внимание к человеку и преданность ему, но и взаимопонимание. Вот удивительный абзац из «Сиррекота». *«Это здорово, когда человек перестаёт быть чужим. Иногда достаточно послушать его пять минут, или посмотреть с ним на бабочку, или сыграть в шахматы. А иногда недостаточно и всей жизни, чтобы преодолеть расстояние в одну историю, одну бабочку, одну партию в шахматы».* Сказка Маркиной – о преобразовании «чужого» в «своё». О поисках единомышленников. Дружба и любовь у Анны почти не отличаются друг от друга по степени самоотверженности. Почитайте притчу о маленьком деревце, отдавшем жизнь за человека.

Сиррекот – звучит как «мессир и кот», напомнив мне «Мастера и Маргариту». На самом деле это аббревиатура, или, как нынче модно говорить, «слово-кентавр». Наполовину – кот, а ещё наполовину – крокодил сиреневого цвета. Казалось бы, настоящее чуднище. Которое «обло, озорно, стозевно» и т.п. Но Сиррекот, возможно, самый добрый из всех персонажей сказки. Анна Маркина широко использует известный ещё со времён «Шехерезады» и «Золотого осла» приём рассказа в рассказе. А сама структура сказки чем-то напоминает «Маленького принца». Только Анна усложнила внутреннюю композицию. И произведение от этого только выиграло. Антуану де Сент-Экзюперидеже в голову не приходило добавить к «Маленькому принцу» притчи из своей «Цитадели», а в заключении – дать ещё и стихи, написанные главным героем. Всё это есть в «Зефировой горе» Анны Маркиной. Представляете, как было бы здорово, если бы Маленький Принц оставил нам ещё и несколько своих стихотворений!



«Зефирная Гора» – это своеобразный «Изумрудный город», куда дорогой трудной идут герои сказки. Помните, в «Волшебнике Изумрудного города» трусливый Лев шёл к Гудвину за смелостью, Железный Дровосек – за пульсирующим сердцем взамен железного, а соломенный Страшила – за настоящими мозгами. У Маркиной каждому из героев, которые отправляются на Зефирную гору, тоже чего-то не хватает. Дрофа никак не может подняться в воздух, мудрому мышонку не хватает белого хлеба. Изысканному жирафу (аллюзия к африканским стихам Гумилёва) не нравится цвет его кожи, Сиррекот никак не может найти своих родителей. И вся это пёстрая компания отправляется в долгий и трудный путь на Зефирную гору. Место, которое одновременно везде и нигде. Главное – держать в уме Путь, с которого ни в коем случае нельзя сворачивать. А Зефирная гора – не более чем условная точка. Эверест, который у каждого – свой. То, что герои один за другим выпадают из команды путешественников, находя своё личное счастье – бесспорная находка автора. Нашёл себя – сразу становишься сильным. И можешь спокойно уйти в самостоятельное плавание.

Каждая новелла «Сиррекота» – отдельное произведение искусства. Это настоящие притчи! Помните, Иисус Христос часто разговаривал с людьми притчами. Притчи Анны Маркиной – это маленькие новеллы, которые рассказывают друг другу герои сказки. Запомнилась притча о продавце палочек. Продавать палочки, «вдохивать» покупателям призрачное или вообще не существующее – тоже талант. Но как обедняет душу человека такое «призвание»! Сейчас «продавцы палочек» – повсюду. Это приносит доход. А поэзия дохода не приносит. Язык Анны Маркиной точен и афористичен. *«То, что ты не можешь бросить, приходится нести»*. *«Любовь – это когда ты помогаешь кому-то найти в себе счастье»*. Замечательные афоризмы!

Сказка Анны идёт по пограничной полосе между детским и взрослым сознанием. Много места уделено спорам о настоящем и профанном. Это, наверное, уже не совсем «детская» тема. Хотя дети тоже ведь наперебой спорят, настоящий ли Дед Мороз, настоящий ли Серый Волк. Иногда повествование у Маркиной доходит до гротеска, до сарказма:

- *Вы ненастоящий художник, – крикнул прохожий.*
- *Это вы ненастоящий прохожий, – крикнул художник.*

У Анны Маркиной – отменное чувство юмора. Её сказка – это не противостояние детского и взрослого сознания, как многим может показаться. Это «поход» поэзии против стереотипов и прагматизма. Против мещанства и пошлости (мечта о втором телевизоре). И в этом «Сиррекот», конечно же, родствен «Маленькому принцу». Сказка повествует о встречах, которые способны перевернуть всю жизнь. О крепкой дружбе и о важности уверенности в себе. Особенно хорошо Анне Маркиной удались диалоги, поэтому у сказки может быть счастливая сценическая судьба. Анна влетает в повествование вторым планом ещё и сатиру на наше писательское сообщество. Заказы издательств на рассказы о свиньях и, особенно, о диванных ножках – это и смешно, и грустно. Безусловно, это гротеск. Но в каждой шутке, как говорят в Одессе, есть доля шутки. Анна с теплотой рассказывает о своих детских мечтах, которые потом плавно перетекали во взрослую жизнь. В детстве она мечтала надевать носки всем людям, которые замерзают зимой на остановках. Ей казалось, что это очень важная и нужная людям профессия. «Зефирная гора» – это и есть, в переносном смысле, «тёплые носки» всем страждущим. Успех «Сиррекота» по праву может разделить с Анной Маркиной художник Александр Прокофьев. Рисунки в детской книге важны почти так же, как и сам текст.

В образе Сиррекота Анна рассказала нам о боли «полукровок» – как их нигде не принимают, как им не хватает любви. Густота контекстов «Сиррекота» настолько велика, что мне доставило истинное удовольствие читать эту повесть и писать о ней. У сказки есть удивительная эмоциональная наполненность. Сопереживаешь героям «на полную катушку»! Порой наворачиваются слёзы. Рецензенту всегда трудно быть конгенитальным автору. Поэтому берите, друзья, книжку – и приступайте к чтению. Мамы и папы, бабушки и дедушки. И, конечно, мальчики и девочки, которые уже научились читать. Эта сказка объединяет людей разного возраста и способна стать национальным достоянием.

РИФМЫ НЕИСТОВОЙ РИММЫ

(Тансия Вечерина, Лола Звонарёва, Труды и дни Риммы Казаковой: «Отечество, работа и любовь...» – М., «Academia», 2018)

Полифоничная биографическая повесть Лолы Звонарёвой и Тانسии Вечериной рассказывает нам о жизни яркого поэта-шестидесятника Риммы Казаковой. Её выход в свет приурочен к десятилетию ухода из жизни известной писательницы. Жизнь незаурядного человека как увлекательное путешествие длиною в судьбу – так преподносят свою книгу авторы. Римма Казакова – одна из тех, кто творил послесталинскую «оттепель». Книга называется «Труды и дни», по аналогии с произведением второго (после Гомера) из дошедших до нас древнегреческих писателей – Гесиода. Тانسия Вечерина – подруга Риммы Казаковой ещё со студенческой скамьи. Мне представляется очень важным для повествования, что однажды Казакова спасла Тансию жизнь. Врач, оперируя Тансию по поводу аппендицита, оставила у пациентки в брюшной полости салфетку. Развился перитонит. И только решительные действия Риммы Казаковой предотвратили непоправимое. И данная книга – благодарность подруги за то своё давнее спасение. Вся жизнь – благодарность.

То, что повествование ведётся сразу в двух плоскостях – биографической и литературоведческой, придаёт книге Вечериной и Звонарёвой особое звучание. Появляется трогательность, не свойственная обычно сугубо биографическим или литературоведческим работам. Линия судьбы и линия творчества Риссы Казаковой – две параллельные линии, которые постоянно пересекаются. Возьмусь утверждать: человек, прочитавший книгу «Труды и дни Риммы Казаковой», при необходимости легко сможет сделать увлекательный доклад по жизни знаменитой поэтессы. Отсчёт творческой биографии Казаковой можно вести с того момента, когда она, маленькая девочка, написала стихотворение отцу на фронт:

*И я жду того главного дня,
когда немцев прогоним проклятых.
Ты придёшь, поцелуешь меня,
и обнимешь и маму, и брата.*

Такая поэзия идёт, прежде всего, не от образного мышления, а просто от мышления в рифму. Зато у неё нет никаких тематических преград – она легко повествует обо всём на свете от первого лица. Такие стихи проще переводить на другие языки. Мы видим, что некоторые особенности стиля Риммы Казаковой проявляются уже в её детских стихотворениях. Русский народ в основной своей массе предпочитает всё-таки стихи не метафорические, а разговорные. Поэзия Казаковой, по её собственным словам, это «думание напрямик»: *«из первых книг, из первых книг, / которых позабыть не смею, / училась думать напрямик / и по-другому не сумею»*. Но и камерная лирика, и поэтическая публицистика оказались востребованными временем. У Казаковой настолько сочный, точный язык, что можно и не заметить отсутствие метафор. Зато такие стихи, хотя и не фонтанируют скрытыми смыслами, не вызывают трудностей в абсолютном их понимании.

*Приснись мне, а то я уже забываю,
Что надо любить тебя и беречь,
Приснись, не сердись! Я ведь тоже живая...
Приснись, прикоснись, можешь рядом прилечь...
Приснись мне усталым, покорным, тяжёлым,
Приснись, как горячему грезится лёд...
Как снятся мужья своим брошенным женам,
Как матери – сын, а ребёнку – полёт.
И вот я ложусь. Опускаю ресницы,
Считаю до сотни – и падаю вниз...
Скажи, почему ты не хочешь присниться?
А может, я sny забываю... Приснись...*

Книга Вечериной и Звонарёвой – очень подробная. Ничего не упущено, всё более-менее важные вехи жизни Риммы Казаковой показаны выпукло и динамично. Слава летела к Римме Казаковой со всех сторон. Трудно представить, чтобы её литературная судьба каким-то непостижимым образом не состоялась.



Даже отъезд из Ленинграда на Дальний Восток, в сущности, тоже лёг в её творческую копилку. В юности, когда сил много, хорошо ставить перед собой большие задачи, не бояться испытать себя на прочность, окунув в непривычную среду. Николай Доризо, Николай Старшинов, Евгений Евтушенко, Даниил Гранин, Александр Твардовский приняли самое непосредственное участие в судьбе молодой поэтессы. Её известность ширилась. Вот что написал о ней Кирилл Ковальджи, который был неизменно чуток к чужим дарованиям: «Имя Риммы Казаковой неотделимо от лёгкой ауры легендарности. Ворвалась в шумную компанию шестидесятников откуда-то с Дальнего Востока. Произвела фурор: молодая, красивая, заводная, талантливая – чёрт в юбке. Кажется, успех пришёл к ней сразу – её окатило жаркой волной тогдашней всеобщей любви к поэзии. И на гребне этой горячей волны она чувствовала себя как рыба в воде. Лёгкая на подъём, весёлая, щедрая, нестоицимая. И не без привкуса авантюриности. Её победоносное счастливое самоутверждение сродни евтущенковскому – оно совпало с мироощущением первого послесталинского молодого поколения. Стихи Риммы Казаковой звенели – отлочно-личные, узнаваемые и одновременно – поколенческие, наши, шестидесятнические».

*Быть женщиной – что это значит?
Какою тайною владеть?
Вот женщина. Но ты незрячий.
Тебе её не разглядеть.
Вот женщина. Но ты незрячий.
Ни в чём не виноват, незряч!
А женщина себя назначит,
как хворому лекарство – врач.
И если женщина приходит,
себе единственно верна,
она приходит – как проходит
чума, блокада и война.
И если женщина приходит
и о себе заводит речь,
она, как провод, ток проводит,
чтоб над тобою свет зажечь.
И если женщина приходит,
чтоб оторвать тебя от дел,
она тебя к тебе приводит.
О, как ты этого хотел!
Но если женщина уходит,
побито голову неся,
то всё равно с собой уводит
бесповоротно всё и вся.
И ты, тот, истинный, тот, лучший,
ты тоже – там, в том далеке,
зажат, как бесполезный ключик,
в её печальном кулачке.
Она в улыбку слезы прячет,
переиначит правду в ложь...
Как счастлив ты, что ты незрячий
и что потери не поймёшь.*

Сам я не был лично знаком с Риммой Казаковой. Однако выступал в Мирном, Нерюнгри, Якутске, других городах и странах, в которых побывала поэтесса. Бывал в Монголии, Азербайджане, Белоруссии. Какие-то моменты из творческой жизни шестидесятников совпадают с теми, которые были у нас уже в восьмидесятых. В частности, «голосовой самиздат». Неподцензурные стихи мы старались не печатать, а читать с эстрады или петь. В книге Вечеринной и Звонарёвой много цитат из творчества Риммы Фёдоровны. Она подробно писала о своих поступках и их мотивах. Поэтому рассказывать о ней лучше всего её же собственными строчками.

*Перестрадаешь – поймёшь.
Станешь добрей и сильнее.
Силу на горе помножь –
И не расстанешься с нею.
Перестрадаешь – поймёшь.
Хоть велика будет плата.
Что неприемлема ложь,
как бы ни ранила правда.*

*... перестрадаю, пойму.
Всё, что сжигало. Сжигано.
Но никому, никому –
Этого не пожелаю.*

Читая книгу о Римме Казаковой, словно бы пролистываешь от начала до конца историю советской страны. От сталинских времён до перестройки и рубежа второго тысячелетия. Конечно, трудно выдержать трёхсотстраничную биографию на одном дыхании. Но местами книга пробирает до дрожи. Например, там, где идёт рассказ о том, как писательница вылечила от наркомании своего сына. В книге много неожиданных, малоизвестных фактов из жизни Казаковой. Римма Фёдоровна была наполовину еврейка. И сегодня об этом уже можно говорить открыто, не боясь сглазить её репутацию. Казакова замечательно перевела на русский язык «Гум-балалайку». После перестройки, уже в зрелом возрасте, Римма Фёдоровна крестилась. Она получила церковное имя «Римма». В православной традиции «Римма» было мужским именем. Так звали одного из раннехристианских мучеников.

Многие стихи Казаковой стали популярными песнями: «Я тобой переболею», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Безответная любовь». Песни на её стихи исполняли Майя Кристалинская, Ирина Аллегрова, Александр Серов, другие звёзды эстрады. Она была очень общительной, умение дружить не покидало её до последних дней жизни. С большим удовлетворением прочёл я о том, как она помогала в последние свои дни моему другу Льву Болдову. Книга Вечериной и Звонарёвой сделала, казалось бы, невозможное: я полюбил стихи Риммы Казаковой, «моцартовскую» природу её таланта.

«Я НА ЗЕМЛЕ СТОЮ ДВУМЯ НОГАМИ...»

(Ольга Харламова, Утренний кофе. – М., У Никитских ворот, 2019)

Ольгу Харламову я знаю давно, ещё по московским литературным салонам 90-х годов прошлого века. Она уже тогда писала ярко, талантливо, истоиво. Обычно это были стихи о приливах и отливах огненного моря страсти. С тех пор Ольга выросла как поэт. Теперь она уже сама ведёт свой салон в Центральном Доме Литераторов. Увидела свет её новая книга стихов – «Утренний кофе». Кофейная душа! Тут сплелись и утренняя бодрость, и вечерние гадания на кофейной гуще, и «кофе двоём» в любое время суток. Но не кофе единым сыт человек! В книге много народных перепевов, связанных с традициями, обычаями, верованиями. Человек из народа, Ольга Харламова не отделяет себя от простых людей. Вместе с тем, Харламова – коренная москвичка. И Москва опозтизирована в её строчках. Московские дворики, Сретенка, Нескучный Сад, Арбат – всё это присутствует в её лирике.

*Скучно в Нескучном.
Аллеи пусты,
Голая зябнет эстрада.
Осень, своей не стыдясь наготы,
Бродит, где надо-не надо.*

*Ищут – не сыщут предпраздничный ряд
золота – вросьуть и слиткам,
праздничный кубок в цвет янтаря
пьяным наполнен напитком.*



Порой, на мой взгляд, поэту не хватает внимательности при выборе эпитетов: в последней строфе два раза подряд идёт фактически одно и то же слово – «праздничный», «предпраздничный». Немного смущает меня и фраза «кубок в цвет янтаря». Правильней было бы сказать «кубок цвета янтаря». Но картинка впечатляет, интонация выбрана верно. Праздник и увядание мирно соседствуют в зябком осеннем пространстве. А, может быть, так и задумано автором – два раза повторить однокоренное слово?

Ольга Харламова сполна наделена даром лирического переживания. Поэзия – возможно, лучший способ поведать о себе глубинную правду; рассказать о том, как лики живой природы отражаются в душе человека. Книга «Утренний кофе» – ровная, добротная, так сразу и не выберешь лучшее – или, наоборот, не совсем удавшееся. Но я попытаюсь. Вот, например, отличные стихи:

*Никогда ни о чём не жалею.
И себе, и другим признаюсь,
что от красного цвета жмелею,
что любовь различаю на вкус.*

*Я люблю вязкий привкус граната,
спелой вишни горчащую сласть,
цвет звезды, под которой когда-то
в предпраздальный апрель родилась.*

*Что с весны до весны в мире этом,
отмечая рассвет и закат,
всё влюбляюсь то в зиму, то в лето,
в ночь осеннюю жду звездопад.*

*Что погоду люблю в непогоду,
свет в окошке – как путник во мгле.
И ещё я люблю – не свободу,
а привязанность к этой земле.*

Если новатор вполне может наплевать на частности (рифму, точность употребляемых слов и т.п.), то автор, пишущий в традиционной манере, на мой взгляд, должен подходить к своим произведениям ответственно и скрупулёзно. В данном стихотворении Ольге Харламовой это удалось.

Книга «Утренний кофе» пестрит разнообразием. Выделяется цикл стихов, написанных от имени животных – «Монолог дворовой кошки», «Монолог дворовой собаки». С лёгкой руки Владимира Семёновича Высоцкого многие поэты стали работать в форме «монологов» – повествования от лица животного или даже неодушевлённого предмета. В этом же образном ряду обращает на себя внимание стихотворение «Микрофон».

*Я заклинаю змея.
Смотрю в гортань ему,
от ужаса немея,
на связки резко жму.
Змей выжидает подло,
когда открою рот,
петлёй мне сдавит горло
и голос заберёт.
Что как издаст шипенье?
Но в тот же самый миг
змея кольчатые звенья
совьёт у ног моих.
Из недр души пробьётся
расплавленный металл –
на гребне всех эмоций
мой голос хлынет в зал.*

Такие стихи, как «Микрофон», показывают автора с неожиданной стороны. Впрочем, Ольга всегда предпочитала перформансы публикациям в прессе. И, может быть, напрасно: чтение вслух не предъявляет к поэту повышенных требований. Достаточно иметь хорошо поставленный голос. А в самом тексте можно порой и «схалтурить», и просто не заметить мелких погрешностей, которые потом повлияют на общее впечатление от изданной книги.

Ольга Харламова – замечательный подвижник. Она помогает молодым писателям, она – человек, глубоко преданный поэзии. Земная женщина, твёрдо стоящая ногами на земле. Это не мешает ей мечтать, творить волшебство и быть счастливой. Открытость, доброта, умение сопереживать чужому горю – важные душевные качества, присущие Ольге Харламовой. Всё это можно увидеть в её новой книге «Утренний кофе».

«СПЕШУ В СЕБЯ КОРНЯМИ ПРОРАСТИ»

(Татьяна Кайсарова, *Созвучье снов. Стихотворения. – М., Стеклограф, 2019*)

Стихи Татьяны Кайсаровой, которые вошли в книгу «Созвучье снов», посвящены, в основном, «науке страсти нежной, которую воспел Назон». Я рассматриваю это не как трафаретность тематики, а как естественное лирическое состояние поэта. Человек, который пребывает в состоянии любви, всё время занят самопознанием. Он хочет знать всё о себе и о любимом. Глубокое чувство создаёт благодатную почву для творчества. Тот, кто осенён любовью, не только стремится к прекрасному, но и держит себя в форме, «готов к труду и обороне». «Она – волна, струна, горячий лёд», – шепчет Татьяна Кайсарова. Любовь концентрирует человека на своём предмете, но в этом напряжённом внимании расцветает целая вселенная. Любящий дарит любимому всё, что способен объять мысленным взором. И, когда чувства взаимны, это сосуд из двух сообщающихся вселенных. А вот неразделённая любовь – всегда драма.

*В этой комнате тесно-просторной,
в этой гамме серебряно-чёрной,
в этой сохнущей влаге глотка
свят минуты, секунды, века.*

*В лабиринтах пятнистых окраин,
где восторг покаянию равен,
мы ютимся на краюшке сна,
и невнятная речь не вольна,*

*не равна, не замена молчанью –
так дельфийские мантры звучали,
и метался пророческий гул
по губам и по впадинам скул.*

*Ночь искривлась, летела земля,
падал тульс, доходя до нуля.
А Всевышний глядел из окна –
ведь любовь только Богу видна.*

Лирику Кайсаровой определяет триада: лирическая героиня – её двойник – её возлюбленный. Двойник – это существо, которое приходит к героине с иными взглядами на жизнь и со своими особыми мнениями. Это внутренний диалог лирической героини с самой собой. Двойник постоянно спорит с женщиной, не соглашается, убеждает. Двойник – это медиум, который помогает установить связь как с «живыми», так и с «ушедшими» героями стихотворений (порой – они просто уходят в другую жизнь). Для Татьяны Кайсаровой любовь – это священный Грааль, «медленное время». В её лирике нет «грязи мира», которая проникает порой даже в сердечную лирику. У неё бьёт из сердца чистый родник, её чувства светлы и прозрачны. «Сердце мифоточит» – говорит Кайсарова. У Татьяны – большой запас знаний о мире, и всё это богатство она вылетает в свои стихотворения.



*Так непривычно – по ступеням вниз,
по крамкам рифм твоих – ко дну Аида.
Глухие звуки – ни теней, ни лиц.
Двойник, мне страшно. Не таи обиды.*

*Я выбрала, я плачу, я плачу
слезами, тёмной горечью, утратой,
случайной встречи вымученной датой,
и... неповинной шеей – палачу.*

*Послышалось или звонили в дверь?
Встречай. Она к тебе, твоя отрада!
А я открою счёт своих потерь.
Хранитель, слышишь, утешать не надо.*

*Спешу в себя корнями прорастаи,
и, восходя над внешним и тревожным,
немыслимое вслух произнести.
Ты думаешь, что это невозможно?*

*Но всё возможно. В этом – жизни суть!
Попробуйте оспорить кто-нибудь.*

Меня зацепило и не отпускало короткое стихотворение Кайсаровой «Дуэль». Дуэль – это стихи о «поединке» поэта и человека... со своей страной. Человек не всегда и не во всём соответствует духу своей родины. Мы воспринимаем Родину как живое существо со своим потоком сознания. Сейчас нет у поэта своего Дантеса или Мартынова. Но порой их успешно замещает родное государство. Мне импонирует нестандартное мышление Кайсаровой. Я завидую белой завистью автору, которому приходят в голову такие неожиданные, развёрнутые образы.

ДУЭЛЬ

*Сходимся. Иду к тебе навстречу,
Родина, и выстрел – за тобой.
Небо опускается на плечи,
И туман сгущается седой.
Уши заложило, словно ватой.
Твой прицельный залп неотвратим!*

.....
*И души дымок голубоватый
Хочет слиться с небом голубым.*

Боюсь даже подумать, насколько глубоко простирается талантливая догадка Татьяны Кайсаровой. Допустим, Родина – это всё-таки не государство. Но всё равно она так плотно сжимает нас в своих объятиях, что трудно из них вырваться. Вырваться из векового круга традиций и верований. Для меня важно, что Татьяна Кайсарова не замечена в либеральных поползновениях по отношению к отчизне, не критикует она и государство. И вдруг – такая удивительная лирика.

Стихи Татьяны Кайсаровой – сугубо «авторское» видение. Лирическое «Я» Татьяны очень активно; всё подаётся сквозь призму личного переживания. И, конечно, повествует она не только о любви.

*Забавно с высоты глядеть на мир!
О, собеседник мой, Вильям Шекспир,
«Быть иль не быть?» – вопрос совсем простой –
нет ничего за вечной пустотой!*

Кайсарова творит «*поэзии таинственный обряд, из ряда заклинаний, тайн и магий*». В ней сливаются «*внезапная зрелость*» и «*бесшабашность ребёнка*». Душа поэта дуалистична, и это образует пространство между мирами. «*Может быть, в эту ночь я навеки с собою прощаюсь, может быть, в этот миг я навеки с собой остаюсь*». Так и движется душа поэта в извечном броуновском движении – от себя и до себя, раздвигая внутреннее пространство по голосу памяти.

*Когда-нибудь в ином предместье Бога
мы будем живы. Живы ли? – Не суть...
Между мирами узкая протока
нас вынесет с тобой куда-нибудь.*

.....
*Остынет чай, растает звёздный лёд,
устанут волны биться у порога,
и даже птица певшая замрёт
чтобы услышать тихий голос Бога.*

«ПАМЯТЬ – МОЯ ЛАГУНА». ПУШКИНСКАЯ ЛИРА АЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИКА

*(Александр Мельник, Поэталамус. Книга стихотворений. –
Бельгия, Льеж, Maison de la Poesie d'Amay, 2018)*

Ловлю себя на мысли, что у оригинальности многих поэтов двадцать первого века – гибридная природа. Что это значит? Есть, допустим «наше всё» – Александр Сергеевич Пушкин. И во многих с детства заложена «программа» подражания Пушкину как вневременному гению русской души. Но, вырастая и развиваясь, будущий поэт, уже имея «за пазухой» Пушкина, начинает ориентироваться ещё на каких-то поэтов, соприродных его таланту. И случается так, что в одной душе соединяются несопоставимые прежде величины. Вот Александр Павлович Тимофеевский, например, незаметно для себя самого словно бы «скрестил», по-мичурински, у себя в душе Пушкина с Хлебниковым. И это дало неожиданный результат! Конечно, всё это происходит в душе поэта не нарочито. Это не видимые глазу постороннего человека внутренние процессы. Наша сущность ищет в поэзии других авторов родственную душу. Пушкин и обэриуты, Пушкин и Бродский, Пушкин и постмодернисты – вот только несколько вариантов такого нетривиального «скрепчивания».

О «гибридной» сущности природы поэта я размышлял, читая новую книгу Александра Мельника. Какой век на дворе, такие и поэты. Людей, которые занимались бы исключительно собственной лирикой, собственной персоной, с каждым годом всё меньше. Александр Мельник – доктор географических наук, литературный деятель, предприниматель, неутомимый путешественник. Как справиться с таким обширным полем деятельности – и при этом качественно писать? К счастью, стихи не требуют, подобно шахматам, долгого сидения. Пришло, записал – и ты свободен. Может быть, просмотришь написанное чуть погодя, поправишь шире слов. И, конечно, здорово выручает современного поэта пушкинская стихия. Но одним Пушкиным тут не обойдёшься – как-никак, на дворе уже XXI век. А вот, например, Пушкин плюс Кибиров – гораздо веселее и неожиданнее! Постмодернизм – это «полезная для поэзии болезнь» переходного времени. Вроде бы уже переболели... Но что я часто наблюдаю в поэзии настоящего времени? Постмодернизм как лидирующее течение – ушёл, а вот приёмы, которые составили его славу (центоны, стёб) – остались. Более того, происходит сращивание «традиционной» лирики и постмодернистской. Это хорошо наблюдается и в новой книге Александра Мельника «Поэталамус». Подобно многим современным авторам, Мельник широко использует центоны со встроеной в них игрой слов:

*Назорей, ты её не буди –
отравляйся в дорогу один,
к той звезде, что горит впереди
и мерцает из чёрных глубин.*

А вот – гротескные, пародийные стихи об эмиграции:



ПЛАЧ ЭМИГРАНТА

*здоровья нет стезя запутана
из-за дождей погас очаг
я пью за родину за путина
и за красавицу собчак*

*потом встаню и нефрикаянню
хожу по тесной конуре
в углу биткоины-биткаины
пылятся в мусорном ведре*

*тоска вошла сидит занозою
наскучил муторный равель
туда туда где под берёзою
о щах задумался щавель*

*зачем ты жизнь такая сифая
сгубила жадность чувака
я снова пью теперь за сифию
и за победу чвк*

Думаю, постмодернисты и концептуалисты конца XX-го века внесли изрядную лепту в становление поэтики Александра. Но «изначальный» Пушкин всё-таки оказался круче и «прихлопнул» собой авангардистов конца прошлого века.

*В какую прорву гиблые ветра
загонят завтра душу безвозвратно?
Как ни крути – пора, мой друг, пора
задуматься о часе предзакатном.*

*Не всё стоять беспечно на юру,
от грёз пуская розовые слюни.
Как говорится, весь я не умру,
но стыдно мне за прожитое втуне...*

И в двадцать первом веке поэты по-прежнему хотят писать по-пушкински. Охватывать пространство своей души единым потоком слов, образов, эпитетов и метафор. Такова и поэзия Александра Мельника. Даниил Чкония пишет в предисловии к книге о «счастливой нечаянности» поэтического дара Александра. Мельник – прирожденный звуковик. Ему одинаково хорошо удаются и рассказ в стихах («Заложник столичной цикуты...»), и традиционная лирика. В стихах Александра много иронии, а ещё больше – самоиронии. Уверенный в себе человек не боится пошутить над самим собой, а то и адресовать себе какие-нибудь убийственно-саркастические строки. Юмор у Мельника часто идёт вперемешку со слезами. Когда он говорит: «я поэт от сохи», в этом нет позы или лукавства. Александр – рабочий человек, трудолюбив, «self-made man». Это два полюса, два сообщающихся сосуда души поэта – вдохновение и работоспособность. Он не боится «перетрудиться». Труда на благо других никогда не бывает слишком много. Поэтому именно Мельник – организатор фестивалей «Эмигрантской лиры». Именно он, а не кто-нибудь другой поставил амбициозную задачу объединить под крылом журнала и фестиваля весь русскоязычный эмигрантский мир. Александр и хорош, и естествен в этом амплуа. Но мы немного отвлеклись от его творчества. Александр щедро делится с нами своей биографией. «Идешь лицом назад, смотря на то, что было», – пишет он. Меня подкупает в Мельнике цельность того, чем он занимается по жизни – а занимается он очень многим. И ничто не кажется глазу наблюдателя чужеродным, наносным. Это здоровая амбициозность – без пафоса, без самовыпячивания. Александр – очень скромный человек. И поэзия органично вписывается в поле его деятельности. Не случайно новая книга Мельника называется «Поэталамус». Такой неологизм для обозначения части мозга, ответственной за поэзию, придумал сам Александр.

*Поэталамус – место в черепке
с температурой таяния воска,
откуда строчки льются по строке
и заполняют низменности мозга,
в которых вечно хлам и тарарам,
вот почему я, движимый подкоркой,
то, как свеча, горю по вечерам,
то занимаюсь будничной уборкой.*

Поэзия сопровождала Александра и в его прежней бродячей жизни геодезиста, ещё в советские времена. Тогда же, наверное, развилась в нём и страсть к путешествиям. Вот, например, какую прекрасную лирику привёз Александр из Пятигорска. Всё это тоже есть в «Поэталамусе»:

*Маша, Машенька, Маишук,
над тобой луна, как жук,
улетает тихо в осень.
Ночь темна, а ты одна
посреди уснувших сосен –
одинока и грустна.
Хмурый муж-фуникулёф
спит в каморке по-над лесом.
Я люблю тебя, как вор,
как стареющий повеса,
подавив сердечный стук –
Маша, Машенька, Маишук...*

Поэт обращается к знаменитой «лермонтовской» горе как к любимой женщине. У Александра – здоровая мужская сущность, ему свойствен неизбывный интерес к женской красоте. Это питает в его системе взглядов не только эстетику, но и философию. «Трение тел благоприятствует горению, горение – жизни, жизнь – смерти...». Мне кажется, за последнее десятилетие поэтическое мастерство Александра Мельника значительно выросло. Наверное, выросло и моё понимание его стилистики, его манеры письма. Пожалуй, самое часто употребляемое слово в «Поэталамусе» – «вышний». То, что в вышине, противоположно низинному и, как выразился Ницше, «человеческому, слишком человеческому». Туда и стремится неприкаянная душа поэта. И, напоследок, чистая лирика от Александра Мельника. Любовь к жизни и любовь к женщине. Кстати, Александр – прекрасный семьянин.

*Муха жужжит в бокале – надо бы в магазин...
Помнишь, как на Байкале буйствовал баргузин?
Спрячешься в зимовьюшке – водка давно не в масть,
проще из верной кружки чаю напитокъ власть.*

*Полевику-бродяге вечером не впервой
жизнь доверять бумаге и находить с лихвой
музыку в скрипе крыши, в треске внутри печи.
Время неровно дышит к отблеску той свечи –*

*гонит к нему, как гунна к вспомнившейся степи.
Память – моя лагуна... Милая, ты не спи.
Помнишь, как мы с тобою дружно, не без труда,
крепости брали с бою, сделанные из льда?*

*Плачешь? А я не буду. Прошлое – пустяки.
Хлынула сквозь запруду толща былой реки
и, совершив по руслу бешеный марш-бросок,
сквозь многолетний мусор тихо ушла в песок.*

*Звёздная ночь в оконце – тихая благодать.
Что мне в годичных кольцах счастье своё искать?
Кроной развину небо, в вышних сгорю огнях.
...Милая, спи, а мне бы в рифму да о корнях.*

«ШШКАФ»

ВАЛЕРИЙ ГАЕВСКИЙ
ЮЛИАННА ОРЛОВА

ДОБРО С ХОРОШЕЙ ПАМЯТЬЮ ПРОТИВ РАЙСКОЙ НЕВИННОСТИ

(О повести Марины Матвеевой «Асуров рай». Севастополь: Колорит, 2019)

Добро обязательно должно победить зло.

Поставить на колени, поглумиться и зверски убить.

Летучий афоризм (из Интернета)

Один из авторов этой рецензии когда-то уже переживал моральную драму поиска ответа на *вопрос противостояния богов и демонов*. Даже природа этих слов кажется различной, не говоря уж о смысловом наполнении, но слова эти за много веков культурных битв обрели в сознании людей устоявшийся смысл, который прочно вызывает в воображении образы двух существ, совершенно враждебных друг другу. И все эпитеты зла, коварства, беспощадности, кровожадности, подлости, хищности при этом превращают образ демона в могуче-уродливое, тёмно-лоснящееся создание под чёрными тучами или объятые адским пламенем... Это, что называется, архетип имиджа... или имидж архетипа.

Обычному человеку этого вполне достаёт, то есть для его и левого, и правого полушария такая информация кажется визуализированной правдой. Да, нужно добавить, что за «правдой» стоят, как правило, художественные представления предков, не очень или очень далёких, стоят сказки, религиозные страшилки, мистические картинки (если попадались) акцентированных художников вроде Вальехо (совсем не обязательно Врубеля) и ещё что-то... Пусть каждый дополнит свою копилку.

Но вот когда мы начинаем раскапывать историю противостояния богов и демонов в разных мифологиях и всплывают их настоящие, древние самоназвания, например «дэв» и «асур», «див» и

«ахур», «деос» и «даймон» и так далее, привычные и устоявшиеся картинки начинают плыть... А если мы ещё при этом углубляемся в тему, прибегаем к источникам и собственным ненавязанным суждениям – картина меняется и в ней неизбежно возникает вопрос: *а так ли всё было, как это подают критические академические школы мифологического исследования?*

Оставим в стороне греческую мифологию, в которой демоны, например, не тождественны титанам, мифологию, в которой есть понятие «старшие братья» (или поколения) богов, уступивших в битве власть над миром своим «младшим» – реформаторам во главе с Зевсом.

Обратимся к авестийской (зороастрийской) и индийской мифологиям, где антиномия «дэвы» – «асуры» более чем очевидна, где она формально постулирована, причём с полной заменой одних другими, этакой вывороткой, поляризацией качеств, достоинств, способностей и верительных грамот. Злыдни асуры в индийских мифах становятся воплощением высших добродетелей в иранских мифах (ахуры), а справедливые «чесноки» дэвы (дивы) у индусов – у иранцев чистое порождение мрака и зла. Загадку этого перевёртыша нам давно пытаются объяснить с позиции древнего историко-культурного противостояния, причём между родственными арийскими племенами... Можно пуститься в рассуждения о том, что только войны племён, их битвы за территорию и ареалы



обитания привели к таким объективным религиозным результатам. Асурианский культ огня окреп в Иране, а арии Индии, изрядно перемешавшись (хотя это совершенно не так) с местными дравидами (у которых торжествовал, кстати, культ Кали и несколько ограниченный культ Рудры), выбрали для себя триаду Брахма-Шива-Вишну, расслоили общество по кастам и... *Но это обычный взгляд.*

А вот другой...

Всё дело в страстях, в их переходчивости. Всё дело в том, что и боги, и асуры, а позднее и люди приняли другой культ – *культ вселенской изгры под названием лила*. Страсти (как двигатель жизни и развития) имеют сложную, смешанную природу, в которой уживаются противоположности, и если наступает какая-то доминанта, то не обязательно она выразится в добродетели, она может поляризоваться и в порок. Говорить о первоначальном добродетельном мировоззрении богов, увы, не приходится, поскольку в ходу у высших существ оказались и хитрость, и обман, и коварство, и жестокость, и даже некоторая санкционированная подлость.

Вспомним пураны. Характерный древнеиндийский миф о пахтании океана и добыче напитка бессмертия – амриты. При этом благоденствовали дэвы и асуры в своих мирах, почитали мудрость и стремились к совершенствованию одинаково, но вот чего-то не хватало, прежде всего, богам... Тогда-то дэвы наметили великую цель и договорились с асурами о совместной работе, срок которой растянулся на тысячу лет. То есть тысячу лет они трудились бок о бок, а когда вспахтанный океан (разумеется, речь идёт о вселенском эфирном океане) раскрылся и драгоценный напиток явил себя – боги обманули асуров, забрав амриту себе.

Только демон Раху успел попробовать напиток, но пока он пил его, коварные боги успели отсечь ему голову, так что бессмертной осталась только одна голова, а тело поринуло в бездну...

Вот вам и лила... Но лила на этом не остановилась.

Возмущённые асуры пошли войной на богов и, несмотря на всё сопротивление последних, уже готовы были и могли одержать победу. Тогда смятенный паникой и сокрушенный Индра призвал на помощь разрушителя миров махадэва Шиву. И только Шива своим сверхоружием разрушил летающий город асуров – гениальное творение Майи, этакого Теслы его мира.

Что же вменялось дэвам в вину асурам? Согласно писаниям, а точнее, морали, которую брахманы вложили в уста «добродетельных» захватчиков, – *нескончаемый демонический эгоизм, само-*

любование и приверженность к страстям.

Но лила продолжалась и продолжается до сих пор, хотя боги и демоны не кажут себя в очевидности, а скорей всего, перешли в тонкие планы бытия, сменили инструменты воздействия на нас и друг на друга. То ли закон кармы их образумил, то ли... С этим вопросом нам ещё предстоит разобраться...

Тем не менее в индийском божественном пантеоне в числе знаковых оказались и прижились настоящие демонобоги, дэвасуры – Савитар, Агни, Митра, Варуна, Вайю, Сурья и другие «страстолюбцы». Любопытно, что Митра (буквально с авестийского «дружба», «союз») вошёл в иранский пантеон как один из высших богов-законодателей, а Агни заполнил собой ритуальные чаши в зороастрийских храмах на века...

Теперь, очертив этот космос представлений о смешанной природе страстей на всех уровнях, включая и людей, мы перейдём к волнующему нас произведению...

Перед нами образец мифологической фэнтези, укладывающийся в каноны жанра, в том числе по критерию творческого переосмысления мифа изначального. В своё время дуэт Генри Лайон Олди в «Чёрном баламуте» предложил неклассический взгляд на божественно-политическую подоплёку «Махабхараты»; Марина Матвеева созвучна подобной коррекции смыслов (ни в коем случае не подражая Олди), и финал произведения даёт понять, что оно описывает инкарнационную предысторию одного из махабхаратских героев.

В «небесной политике» Марины Матвеевой дела глобальные замешаны на эмоциях (страстях), и этим боги (традиционно для фэнтези) поразительно схожи с людьми. Даже можно сказать, *боги гипертрофированно человечны в подверженности эмоциям*, потому что если человек способен обуздать ревность, зависть или жажду мести через оглядку на некие высшие принципы или высшую справедливость, то боги верят, что мир вращается вокруг них (ну, или, по крайней мере, очень убедительно в этом самообманываются («Мы уверяем себя, что наказываем грешников, помогаем им отработать карму, очистить душу... и этим оправдываем чудовищные...»)), поэтому их наименее лицеприятные проявления характера не ограничиваются ничем, кроме собственной жестокой фантазии.

Асуры с присущей им, по марининой версии, непосредственностью определяют своих антиподов просто как расу существ Вселенной. Они не создали ни законов кармы, ни законов физики, ни другие расы («ИМ не из чего». Вспоминается анекдот, когда Бог говорит человеку, собравшемуся из глины создать другого человека: «Постой! Это **моя**

глина»). Асурово отношение к Богам однозначно: обманщики, владеющие лишь майей.

Дэвово же отношение к асурам – неразумные животные, воплощение всех несовершенств мира.

И, как это и бывает в жизни, истина лежит где-то посередине.

Дэвы, помимо магически-креационистских сил и космических знаний (отнюдь не одной только майи), наделены... смертностью, так же как и «мало живущие» – крошечные люди. Последние представляют особую ценность для просвещённых и могущественных дэвов, питая их своим поклонением. На стремлении удержать этот источник нематериальной пищи и строится приснопечальная политика, приближающаяся к космогонии – на уровне, доступном дэвам.

Есть у них «божественная идея фикс»: достижение совершенства. Известно, какую важную роль в индуизме играет очищение от греха и несовершенств (доставшееся в наследство также буддизму). Дэвы чтят закон кармы (так и хочется связвить: как Остап Бендер чтит Уголовный кодекс, ибо позволяют они себе такие поступки, какие для людишек считаются самыми настоящими грехами). Однако над законом кармы у дэвов тоже есть определённая миропорядковая власть: убийство дэва – больший грех, чем убийство, скажем, человека; ну а убийство асура – это и вовсе подвиг. Риши Дурваса, как основной разъяснитель мифологического мироустройства в повести, объясняет, что корень конфликта богов и демонов – в следовании Новым Законам, предписывающим ни много ни мало – разделение полов.

Получается, что в *статьи преступлений* (несовершенств) попали некоторые качества и поступки даже не столько за их объективную вредоносность для космоса, сколько за то, что они присущи единственной расе, которая не стала сотрудничать с новыми авторитетами и жить по новым законам.

Нет, с законодательством во вселенной, захваченной дэвами, явно не всё беспристрастно и прозрачно, и лобби налицо. Вновь обратимся к «Махабхарате»: альянс Пандавов и Кришны сотоварищи то и дело использует серые политтехнологии или же откровенный обман. Вернёмся к ране нами «отставленной в сторону» войне титанов и олимпийцев: «хорошие парни» тоже побеждают исключительно хитростью, но... история – это рапорт победителя. Пусть Небесный Ловец и не дэв, но он давно уже принял их мировоззрение, и философию, и статьи кодексов.

Итак, вернёмся к достижению совершенства. Если с морально-этическим совершенством дэвы, по всей видимости, поступают по принципу «карма

что дышло...», то совершенство физическое доведено у них до уровня хорошо проработанной евгеники, генной инженерии и пластической хирургии – конечно, в их божественно-метафизических техниках и в иных терминах. Крайне важно, чтобы в генетически совершенное дэвово тело вселилась совершенно праведная душа. Это идеал, и дэвы убеждают всех прочих существ, что обладают однородными душами, чистыми от кармы и никогда не воплощавшимися. *«...Только и делают, что лгут всем Мирам, и лгут так, что сами уже давно верят в свою ложь».*

И – как это по-человечески: в несовершенстве новорождённого виновата, конечно, жена. Ну не с руки ведь Сурье самому себя отправлять в изгнание. Да и невдомёк ему, что это ЕГО, а не его супругу дэви Криттику проклял Дурваса... Воистину, мы, люди, все страсти и несправедливости богов унаследовали, восприняв лилу!

Что же асуры? Прежде всего, их можно охарактеризовать свободолобием, доведённым до абсолюта – вплоть до свободы от лишней, по их мнению, информации, свободы от истории и генеалогии. Хотя они ведают азы своей природы и твёрдо соблюдают внутрисрасовую мораль: *«Асуры никогда не убивают своих! Мы не воюем между собой, как дэвы и люди! <...> Мы не соперничаем за золото... ни за земли, ни за женщин, ни за прочую шелуху... мы не предаём своих братьев и сестёр...».* Правда, понятия «братья» и «сёстры» у них переходчивы из-за андрогинной сущности и возможности произвольно жить то в одной форме, то в другой...

Они – *более древняя раса, чем дэвы*, и являются воплощением жизненной силы миров и крови Вселенной. Их питают магмы и ядра планет, дают им стойкость, способность телепортироваться и – информацию. Можно было бы в терминах библейской мифологии назвать это асуровым первородным грехом, поскольку они *заклеймены своими врождёнными качествами*, но первородный грех – это познание Добра и Зла, а асуры Марины Матвеевой абсолютно лишены понятия об этой дихотомии. Ведь если дэвы обладают непрерывающейся памятью о пребывании своих душ во всех телах, меняемых как перчатки; если люди теряют память при инкарнации в новое тело – то асуры забывают событие, едва оно завершилось. Существа без памяти, без опыта, застывшие на уровне житейских знаний 5-летнего ребёнка (при вполне «взрослой» страстности).

Воспоминания у них – общие, коллективный разум, сосредоточенный в Нараке – аду, сиречь ядрах и мантиях планет. Открытым остаётся вопрос: *эволюционирует ли этот коллективный разум,*



накапливая и сохраняя переживания индивидуумов. Некоторые моменты в повести могут быть так истолкованы. По крайней мере, откуда-то у главного героя, Наракасуры (имя, данное людьми за особую жестокость и святотатство), *всплывает фронтальное понимание природы дэвов*. Получается, что сознание планет постепенно открывает своим детям новые кванты используемой информации, словно сервер с ограниченными правами доступа.

Ну а между богами и демонами – люди Двапара-юги, простые и не очень, что и веруют, и знают о карме и реинкарнации. Люди, которых можно убивать как надоедливых мух и которым можно подобрать божественного младенца, в чью душу «подмешан» мятежный асура. Тот самый, что в очередной раз обрёл коллективную память и за это поплатился – вкупе со всеми прочими своими грехами. Здесь и милосердие к человеку, уязвившее его гордость, и убийство телесной оболочки Шакти, как мы прихлопываем насекомых просто из брезгливости, и доверчивое незнание дэвовых законов, которое, совершенно предсказуемо, не освобождает от ответственности.

И вот когда на земле оказывается необыкновенный ребёнок, судьбу которого старательно планируют наконец отмщённая Шакти и её брат (по нашему предположению, это один из многочисленных сыновей Дакши), – невольно становится страшно от осознания: души могут приходиться в мир по чьему-то произволу и *невидимые создания могут назначать нам роковую любовь, ловушки чести и проклятия*.

Несколько слов стоит сказать о языке «Асуравая».

Язык повести весьма богат, эмоционально насыщен, описания в ключевых сценах динамичны, образно ёмки и художественно ярко инкрустированы, что *делает повествование языково увлекательным*, даже при обилии слов: имён и понятий, взятых из индийской культуры. Это несравненная ценность текста, как и представленный в книге глоссарий, расширяющий наш культурный опыт точными определениями и отсылками. Рассуждения главного героя, как мы предполагаем, во многом отвечают мыслям самого автора. Они ироничны. Чего стоит аллитерация, возникшая в голове Наракасуры после беседы с Дурвасой: «брахман» – «бракман» (бракованный человек)! Да, в этой игре

слов между двумя родственными языками: русским и санскритом – проскальзывают иногда колючие искры авторской насмешливости, но они не становятся самоцелью, а скорей воспринимаются как *прихотливые мазки сознания*, ищущего истину. Вспомним практику коанов или дзен-буддизма, в которой работают принципы двойного отрицания отрицания или размышлений в духе оксюморонов. Как бы то ни было, даже если автор в других своих текстах и проговаривается о присутствии ей агностицизма, в данном произведении это совершенно не показано. Напротив, *субъективное даётся как ключ*, как некая метафизическая отмычка к познанию мира. Таков вообще путь поэтов, путь бунтарей.

И в целом «Асуров рай» – бунтарская повесть, *где читательское воображение не присмирет*, как, скажем, после чтения иных вариантов «божественных комедий», каковых в литературе было предостаточно во все века. Здесь эмоциональная сфера поднимает моральную, а та, в свою очередь, подтягивает философскую. Все они вместе ставят даже не культурологические, а *космологические вопросы*. Адресуются к Творению, к парадоксам или даже противоречиям его пресловутой иерархии, которую мы, люди, наследуем в своих мирах, часто и безосновательно подменяя одних другими: негодаев называя героями, а героев опуская до негодаев, словно и впрямь живём в перевёрнутом мире.

Эта книга не только о стародавних временах и мифических чудесах. И не только о бессмертии и переселениях душ. Она о нас, о нашем метафорическом очеловечивании огромного, яркого и опасного мира, который пытались осмыслить наши предки – и не намного с большим успехом осмысливают современники.

Откуда мы приходим? Куда уходим? Память – это благо или зло? Кто на самом деле ездит по небу в огненной колеснице? Умеют ли звёзды страдать? Преступен ли тот, кто не ведает, что творит?

Автор не поучает и не разграничивает добродетель и порок, тем самым несколько отступая от канонов фэнтези. *Книга оставляет читателя с долгими размышлениями*, наедине с собственной памятью, может быть, с желанием никогда не разлучаться с любимым человеком, даже через смерть. Самым разным болевым точкам и размышленческим магиям есть место в обширном, сакрализованном и беспощадном мире Марины Матвеевой.

АРСЕН МИРЗАЕВ

ОДУХОТВОРЕНИЕ ЖИЗНЬЮ

отклик на книгу Э. Ахадова «Облако воспоминаний»

С тем, что делает в стихах и прозе Эльдар Алихасович Ахадов, я познакомился давно, сорок лет назад. Больше – и дольше – я знаю, конечно, стихи Эльдара. Писал он всегда много. Особенно в юности. Как-то он заявил с совершенно серьезным выражением лица (но, вероятно, всё же не совсем всерьёз): «Мне исполнилось 22 года. И я написал 22 килограмма стихов...». Огорошил пиитов, членов ЛИТО Ленинградского Горного института, и ушёл. Как говорится, «хотите верьте, хотите нет». А ещё лет сто назад было такое присловье: «Не веришь – прими за сказку». За сказку и принимали. За сказку многое выдавал и сам автор, ибо он по природе своей не только лирик и романтик, но и сказочник. И различных сказок, сказочных (волшебных) историй и сказов у него предостаточно.

Вот и в новую книгу Ахадова попали и сказки как таковые, и мифы различных северных народов, и различные истории, в которых невозможно понять – была это или же фантазия чистой воды, и определить, что же это такое – лирическое эссе или стихотворение в прозе. Вот, к примеру, фрагмент рассказа «В далёкой северной стране»:

«В одной далёкой-предалёкой северной стране, где всю осень и всю весну над заснеженной землёй сияет второе солнце, а нескончаемой зимней звёздно-морозной ночью молчаливое небо полыхает всеми цветами радуги, живут маленькие человечки сихиртя. Там, посреди бескрайней тундры, из одиноких ледяных холмов по древнему обычаю каждый день они выводят на прогулку покрытых рыжевато-коричневой длинной шерстью мамонтов с очами сияющими, как летящие голоса журавлиного клина.

– Что это: легенда, миф, сказка?..

Начальный рассказ «Облака воспоминаний» несколько обескураживает и сбивает с толку. Этот текст под названием «Настя» – о войне, вернее о людях, мужчине и женщине, которые во время Великой Отечественной потеряли свои семьи, лишились всех родных и близких. Их объединило горе. Но хотелось хоть немного и радости. А какая же радость без детей? – Своих не было (вероятно, уже и не могло быть). И они решили взять ребёнка из приюта. Героине рассказа приглянулась одна девочка, Настя. Только к ней лежало её сердце.

Но у Насти был ещё младший брат, с которым она никак не соглашалась расстаться. А время очень тяжёлое, двоих не прокормить. Да и как мужу объявить, что в семье будет ещё два лишних рта?.. Пришлось применить «фактор внезапности». Ольга привела детей домой и спрятала их за занавеской на печке. Когда вернулся с работы Андрей, дети вдруг выскочили из своего укрытия с криками «Папа, папа, наконец, ты нас нашёл!» – Это оказались его родные дети.

Рассказ пронзительный, что в пересказе, разумеется, не передать. Без слёз читать невозможно (во всяком случае, мне их сдержать не удалось). Но я подумал, пробежавшись по оглавлению и увидев, насколько разнородна книга по составу: тут и рассказы о Крайнем Севере, и бытовые зарисовки, и лирические очерки, описания природы и различных природных явлений, и портреты мужчин и женщин, встреченных лирическим героем «Облака...» в разные годы – геодезистов, топографов, геологов, охотников, рыбаков, экологов, врачей... – я решил, что автор, возможно, поспешил, не дал себе время поразмыслить над структурой книги, и поэтому объединил вещи столь разные и по форме, и по духу, и по стилю, и по содержанию.

Но это было лишь первоначальное впечатление. С постепенным погружением в книгу я начал понимать, что, во-первых, резких переходов от одной темы к другой в книге нет. После «Насти» следует ещё один «военный» текст – «Война кончилась», основанный на воспоминаниях о войне мамы героя, затем автор (в рассказе «Харам») перебрасывает мостик уже ближе к нашим временам, повествуя о приключении героя в Таджикистане: попав в лапы головорезов-моджахедов, которые хотели сделать его рабом и выгодно продать в Афганистан, он стал вдруг, от ужаса и безысходности, читать наизусть свои стихи, и ошеломлённые моджахеды отнеслись к нему как к дервишу: напоили-накормили и отпустили с миром. Далее идёт уже «мирная» тема: «Тишина», – о необычной судьбе высокопоставленного советского служащего и его сына. Следом – пронизанный солнцем и светом рассказ «Нинико». Герой повествования путешествует на катере по Куре, знакомится, благодаря экскурсоводу – чудесной девушке



Нине – с Тбилиси, и с неизбежностью влюбляется и в Нинико, и в этот удивительный город. «Три поросёнка» посвящены подросткам, это рассказ о верности идеалам юности, стойкости и мужестве совсем ещё молодых людей, но уже состоявшихся и настоящих. На мой взгляд, один из лучших текстов в книге.

Потом, вперемешку (но в этом переплетении есть своя логика), следуют рассказы о самом разном: о людях Севера – полярниках, тундровиках; о том, какие необыкновенные явления можно там наблюдать («Три солнца», «Красная тундра», «Летающая земля», «Волшебные розы тундры» и др.), каких удивительных зверей и птиц приходилось встречать героям книги. И о многом, многом другом.

Эльдар Ахатов не изменяет своему предназначению во всех предыдущих своих текстах:

стихотворениях, поэмах, рассказах, прозе для детей и т.п. Верен себе он остаётся и в «Облаке воспоминаний». И в любом природном явлении, в любом человеке, встреченном им на своем пути, он видит главное: то, благодаря чему он моментально влюбляется в увиденное, услышанное, почувствованное, распознанное, – будь то дорога, озеро, лес, тундра, море, роза, облако, дерево, зверь, человек. Всё – живое. Всё – одухотворено.

Такова особенность поэтического видения мира автора, благодаря которой он передаёт свою любовь ко всему живому на земле, «море любви». Эльдар делится с нами, читателями, своим *облаком воспоминаний*. Оно, это облако, – цветное. Каждый рассказ добавляет в него свою – особенную – краску.

Именно поэтому каждый из них необходим и каждый – на своем месте.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 26.08.2019 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,13
Зам. 1442. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17